Арх. №15
Раз.15 – 17/IV 50 г.

ГЕРОИЗМ РЕВОЛЮЦИИ

Львів. Бібліотека
АН. УРСР
11.737

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ
ХРЕСТОМАТИЯ XIX и XX ВЕКОВ

Составил Л. Н. ВОЙТОЛОВСКИЙ

68369

ПАРИЖСКАЯ КОММУНА — ОКТЯБРЬ

1871—1917

Св. ст. кни. Гл. СССР-1948 р. 7.IV
1948
БИБЛІОТЕКА
НАУК. ТОВ. ІМ. ШЕВЧЕНКА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА

Ш5(2=Р)я72-3+Т3(4Фр)521я72-3
Т3(2)5я72-3
Т3(2)711я72-3

Львівська державна наукова бібліотека
№ 6812

Гиз. № 7717. Главлит. № 24665. Москва. Напеч. 7.000 экз.

Госиздат. 1-я Образцовая типография. Москва, Пятницкая, 71.

СОДЕРЖАНИЕ.

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ.

1871 г.

Парижская Коммуна.

	Стр.
Предисловие к отделу первому	7
А. Арну. Провозглашение республики	9
Э. Лиссагарэ. Провозглашение Коммуны	13
А. Арну. В книге истории началась новая глава	14
В. Гюго. На баррикаде	16
Л. Мишель. Смерть Флуранса	17
А. Арну. Две грани Парижской Коммуны. Делеклюз и Варлен	23
П. и В. Маргерит. Гибель Коммуны	25
А. Крайский. Памяти Коммуны	32

ОТДЕЛ ВТОРОЙ.

Семидесятники.

Предисловие к отделу второму	37
В. Г. Короленко. Революционное народничество	41
Речь рабочего *П. А. Алексеева* на процессе 50-ти	44
Петру Алексееву	47
Стихотворения *Н. А. Некрасова* (к делу 50-ти)	48
Степняк (Кравчинский). Из «воспоминаний о деле 50-ти»	48
Речь *Мышкина* на процессе 193-х	49
В. Г. Короленко. о процессе 193-х. (Отрывок из «Истории моего современника».)	56
Убийство Мезенцева.—Второй арест.—В третьем отделении	63
А. Ольхин. На смерть Мезенцева	68
И. Тургенев. Порог	72
Н. Г. Чернышевский. Четвертый сон Веры Павловны	72
Речь *Бардиной* на процессе 50-ти	86
В. Фигнер. Последнее слово на суде	91
В. Ленин. О корифеях 70-ых годов	96
Л. Войтоловский. Из биографии В. Г. Короленко	97
С. Степняк (Кравчинский). На царя!	108
Л. Столпянский. Первомартовцы	114
Л. Столпянский. Халтурин в царском дворце	115
Ю. Стеклов. Взрыв Зимнего дворца	117
Ю. Стеклов. Убийство прокурора Стерельникова и смерть Халтурина	125
Заявление *А. И. Желябова* прокурору Петербургской судебной палаты	131
Джордж Кеннан. Русская политическая тюрьма—Петропавловская крепость	131
В. Фигнер. Цветок в тюрьме	145
Я. Полонский. Узница	145

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ.

1905 г.

Стр.

Предисловие к отделу третьему . . . 149
Н. Ленин. Революционный авантюризм . . . 151
«Бой за правду» (рассказ *рабочего* о стачке 1896 г.) . . . 159
А. Немоевский. Летучка. Рассказ . . . 161
А. Маширов-Самобытник. Девятое января . . . 164
М. Горький. Ко дворцу . . . 167
Д. Сверчков. 9 января 1905 г. . . . 171
Л. Троцкий. 9 января . . . 174
М. Горький. Песня о буревестнике . . . 178
Л. Троцкий. Декабрь в Москве . . . 178
Н. Норов. Декабрьское восстание . . . 186
Н. Ленин. Уроки московского восстания . . . 188
Н. Клюев. Стихотворение . . . 193
И. Ионов. Цветы казненных . . . 194

ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ.

В годы империалистической войны 1914—1917 г.г.

Марсель Мартинэ. Ты идешь сражаться . . . 197
Б. Келлерман. Орудия гремят . . . 200
Манифест Ц. К. Р. С.-Д. Р. П. (1914 г.) . . . 203
Манифест Интернациональной Социалистической Конференции в Циммервальде (Швейцария) . . . 208
Б. Келлерман. Шествие инвалидов . . . 211
Л. Троцкий. Открытое письмо Жюлю Гэду . . . 212

ОТДЕЛ ПЯТЫЙ.

Октябрь.

П. Орешин. Без царя . . . 221
Л. Троцкий. Под знаменем Коммуны . . . 223
Н. Клюев. Ленин . . . 225
Воззвание Военно-Революционного Комитета Петроградского Совета Солдатских и Рабочих Депутатов . . . 226
Л. Троцкий. Октябрьский переворот . . . 226
Демьян Бедный. Главная улица. Поэма . . . 230
Речь *Троцкого* (Из книги *Джона Рида* «10 дней, которые потрясли мир»). . . 235
В. Кириллов. Матросам . . . 236
Джон Рид. «Мой Петербург» (Из книги «10 дней, которые потрясли мир».) 237
И. Ионов. Грядущее . . . 237
А. Маширов (Самобытник). Красный цветок . . . 238
Джон Рид. На крестьянском съезде . . . 239
П. Орешин. В Москве . . . 242
Джон Рид. Похороны жертв революции. (Из книги «10 дней, которые потрясли мир».) . . . 242
В. Александровский. О незабываемом . . . 244
Л. Троцкий. Порядок из хаоса . . . 244
Л. Сосновский. «Музыка» Советов . . . 250
Малышкин. Падение Даира . . . 256
Н. Тихонов. Перекоп . . . 263
Демьян Бедный. Рабочий гимн . . . 264
Б. Келлерман. 9 ноября в Берлине . . . 267
В. Маяковский. Левый марш . . . 269
М. Герасимов. Пролетарии . . . 270
Б. Келлерман. Да здравствует братство народов . . . 271
В. Кириллов. В день первого мая . . . 276

ещо

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ

1871 г.

Парижская Коммуна

Предисловие к отделу первому.

2 сентября 1870 г. 80-тысячная парижская армия, окруженная под Седаном, сдалась в плен пруссакам. Известие об этом уже послужило сигналом к революции. 4 сентября 1870 г. народные массы ворвались в палату и заставили депутатов об'явить власть низложенной. Была провозглашена республика, образовалось правительство «национальной обороны», состоявшее из умеренных республиканцев. Естественным продолжением этого акта должно было явиться вооружение народных масс. Но буржуазия боялась вооруженных рабочих больше, чем осаждающих пруссаков. 28 января уполномоченный правительства Тьер сдал Париж пруссакам на унизительных и тяжких условиях. Вместе с тем были назначены спешные выборы с таким расчетом, чтобы не дать времени республиканцам мобилизовать свои силы. Деревня, одержимая жаждой мира во что бы то ни стало, поддерживала правительство Тьера и послало в национальное собрание около 450 заведомых реакционеров и монархистов. Естественно, что такое национальное собрание, открывшееся к тому же в Бордо, а не в Париже, снова выбрало главою правительства Тьера и свои заседания перенесло в Версаль — в 19 верстах от Парижа.

Между Версалем и Парижем немедленно началась открытая борьба. Версальские депутаты, в большинстве помещики и буржуа, поспешили опубликовать два декрета: о прекращении выдачи пособий и жалованья народной гвардии, и об удовлетворении домовладельцев, требовавших внесения платы за квартиру. Это явилось чувствительным ударом по рабочему классу Парижа, так как 4½-месячная осада Парижа вызвала приостановку большинства заводов и фабрик и породила огромные кадры безработных, живших исключительно службой в народной гвардии. Вслед за тем, не давая опомниться рабочим, версальцы приступили к разоружению народной гвардии. Разоружение началось с отнятия артиллерии. Правительственные войска 18 марта на рассвете захватили расставленные в разных местах города пушки и пытались их увезти. На выручку бросились гвардейцы и жители предместий. Солдаты отка-

зались стрелять в народ. Началось братание с гвардией, а кое-где были убиты офицеры, проявившие большую ретивость.

И тут, вместо того, чтобы использовать до конца свою победу, Центральный Комитет народной гвардии допускает ряд промахов и ошибок, вытекающих из уверенности, что с буржуазией можно будет сговориться. Народная гвардия предоставляет полную возможность войскам буржуазии уйти в Версаль, не задерживает ни Тьера, ни бегущих вслед за ним капиталистов. Ц. К. спешит назначить выборы. 28 марта в управление Парижем вступила Коммуна — правительство, в котором сидели рабочие, мелкие чиновники и малоимущая интеллигенция. Это был драгоценный опыт первой рабочей революции, давшей первое рабочее (но не социалистическое) правительство. Всех членов Коммуны было 90, из них социалистов — 23.

Время, ушедшее на выборы и организацию Коммуны, бежавшая буржуазия успела использовать для собственных успехов. Началась великая трехмесячная борьба, закончившаяся кровавым разгромом Коммуны.

История этой борьбы, вся пронизанная героическими эпизодами, представляющими великолепные художественные образы человеческого величия и трагической смерти, представлена в следующих отрывках:

А. Арну, «Провозглашение республики».

Э. Лиссагарэ, «Провозглашение Коммуны».

А. Арну, «В книге истории началась новая глава».

В. Гюго, «На баррикаде».

Луиза Мишель, «Смерть Флуранса».

П. и В. Маргерит, «Гибель Коммуны».

А. Арну, «Делеклюз и Варлен».

А. Крайский, «Памяти Коммуны».

Провозглашение республики.

На другой день все добросовестно собрались. Вооруженная национальная гвардия наводнила Бурбонский дворец и провозгласила республику. Было воскресенье. Сияло солнце. Многочисленная и радостная толпа разряженных женщин и детей наполняла улицы, бульвары, сады и скверы.

Чувство удовлетворения было написано на всех лицах. Люди, совершенно незнакомые, жали друг другу руки и обнимались. Лавочники, приставив лестницы, топорами срывали с наружных стен лавок золотые орлы и гипсовые медали, с изображением бюста Наполеона III, которыми они некогда украшали свои вывески.

Это не была революция, это было народное празднество. Не было ни одного насильственного действия, ни одного гневного движения. Весь народ вздохнул с облегчением и глядел на окружающее радостно и свободно, как человек, очнувшийся от страшного кошмара, видя дружеские лица у изголовья, понимая, что скверный сон прошел.

Были слышны только слова надежды, героические обеты, клятвы верности. Толпа взывала к республике, как к талисману, который должен был спасти ее от всех опасностей, дать ей энергию и могущество, чтоб разрушить все препятствия.

Об Империи не говорили вовсе; мне даже кажется, о ней вовсе не думали. Империя — это было прошлое, это был позор, это была смерть; парижский народ, с тою удивительной способностью, которая составляет его величие и губит его, жил уже будущим; опьяненные своим чистым идеалом, рассуждая со всем пылом своего сердца, которое было слишком полно великодушием, благородными желаниями и бессознательным героизмом для того, чтобы ненависть нашла там место.

Но оставим поскорее эту грязь и выйдем на улицу. Там великий народ, который голодает и мерзнет, но предпочитает лучше погибнуть под развалинами Парижа, чем изменить своему долгу.

Весь мир знает Париж, этот город роскоши, света и удовольствий, который Галифэ, находясь в деревне Манрию, называл публичным домом.

Блестящий, великий, шумный и веселый.

Богатства целого мира собираются там, как бы для свидания.

Есть города более обширные, более кокетливые, лучше расположенные, с хорошим климатом, где небо чисто, а природа и искусство более нежны, — но нет второго Парижа.

Это необ'ятная лаборатория французской мысли, лихорадочного ума, чуткого и нервного народа, история которого идет удивительными скачками, сопровождаемыми ужасными поражениями. Этот народ, подымаясь, снова падая и возобновляя опять свой полет, каждый раз, когда выпрямляется во весь рост, отмечает целыми потоками своей благородной крови новый этап в стремлении человечества к прогрессу. Есть что-то волшебное в этих внезапных переменах. Вчера — город королевской забавы; сегодня — арена патриотического долга; завтра — это революционный вулкан, извергающий свою энергию на старый мир, погрязший в привилегиях и несправедливости.

Нужно было видеть хоть один из этих невероятных переворотов, чтобы понять его чудное величие, его своеобразную красоту. Этот народ, которого в течение двадцати лет считали изнеженным и развращенным до мозга костей, которого знали только по дочерям его, маленьким тостушкам, по его обесчещенной магистратуре, раболепному духовенству, генералам, созданным на грудах костей второго декабря, законодательному собранию под председательством Шнейдера, смешному сенату, Гранье де Кассаньякам, де Пенэ, Тарбэ и Вилльмессанам, прокладывающим дорогу империи, — этот народ пришел в себя, очнулся и выпрямился во весь рост в несколько часов.

Париж превратился в военный лагерь, где вооруженный народ день и ночь охранял город.

На бульварах, в скверах, вдоль улиц, на самых маленьких перекрестках, где могли поместиться десять человек, граждане занимались упражнениями под открытым небом, под дождем и снегом, с настойчивым и постоянным усердием, которое ни перед чем не останавливается. И, странное дело, этот народ в своем испытании не только проявил невероятную душевную энергию, но еще более замечательную физическую крепость.

Эти люди, зачастую привыкшие к сидячему, изнеживающему, нездоровому образу жизни, или надрывающиеся над непосильным трудом чиновники, мелкие лавочники, разносчики, заводские рабочие, одни дородные и толстые, другие чересчур худые и слабые, повидимому, без затруднения проводили бессонные ночи в окопах при необычайно жестоком холоде и после двадцатичасовой смены шли отдыхать на двенадцать часов и возвращались снова веселые и живые.

Прибавим, что большинство было плохо одето; у них не было ни шинелей, ни овчин, ни соломы, как у солдат; они довольствовались блузами и ветром подбитыми брюками, полученными от щедрот правительства.

Только немногие умирали от болезней, но большинство нисколько не страдало от этого нового режима, и через короткое время, как я уже упоминал, пехота, составленная из самых молодых и сильных, представляла солидную военную силу, к удивлению публики и к отчаянию Трошю.

Ко всем этим лишениям нужно прибавить еще недостаточную и неудовлетворительную пищу.

Правительство действительно никогда не хотело серьезно приступить к разделу значительного запаса провизии, скопленной в Париже, не соглашалось поровну и бесплатно раздавать его всем гражданам, возложив часть расходов на богатых, которые могли вносить свою долю в виде налога в государственную кассу.

Благодаря этому, несостоятельные скоро были обречены на жестокую нужду.

Вот мало кому известный текст этой прокламации:

«Республиканский Союз — парижскому народу.

«Непрерывные поражения парижской армии, недостаток решительных мер, плохое руководство событиями, чередуясь с полной бездеятельностью, раздача недостаточных порций, — все, кажется, рассчитано на то, чтобы вывести из терпения.

«Между тем, народ хочет сражаться и победить.

«Противодействовать этому, — значит вызвать гражданскую войну, которой хотят избежать республиканцы.

«Перед лицом врагов, когда отечество в опасности, осажденный, изолированный Париж становится единственным вершителем своей судьбы.

«Париж волен выбрать граждан, которые сообща будут заведывать управлением и защитой. Париж должен избрать их не беспорядочным плебесцитом, а правильным голосованием.

«Республиканский Союз обращается ко всем гражданам.

«Призывает во имя общественной гибели.

«Требуйте, чтобы в 48 часов избиратели Парижа были созваны для выборов правительственного собрания из двухсот представителей, избранных пропорционально населению.

«Требуйте также, чтобы гражданин Дориан назначил комиссию для выборов».

Смутная греза Парижа была выяснена, и Париж обладал ею.

Получив независимость, он понял, чем он будет, если будет сам управлять собою.

Он мог приспособить если не свои учреждения, то хотя нравы согласно своему темпераменту, устроить жизнь согласно своим идеям, установить обстановку, соответствующую его умственному и нравственному развитию.

Но вдруг он заметил, что это относительное счастье кончается, что это видение исчезает, что этот проблеск грядущего снова скрывается.

Он внезапно понял, что ему препятствует в торжестве идеи, в моральных победах на поприще политического и социального прогресса искать утешения от поражений на поле битвы и унижений родины; он понял, что ему нельзя в будущем, путем последовательных и неограниченных реформ, завоевать вновь все, что идиотски-преступный деспотизм империи заставил его потерять.

Он вдруг понял, что он, Париж, старший сын девятнадцатого века, должен снова подчиниться закону сыновей, недоносков средних веков, собравшихся в Бордо.

Вдруг он понял, что он, могучий ум, должен быть заключен в темницу, где невежество и ученая тирания держали до настоящего времени в загоне неграмотное население деревень, руководимое попом, пресмыкающееся перед полевым стражником, представителем мэра, который является представителем префекта, подчиненного центральной власти, которая является олицетворением принципа авторитета минувшего, т.-е. силы, господствующей над правом, политического, социального и нравственного рабства, насилия, нищеты, привилегий.

Действительно, Париж, который обвиняют в том, что он управлял Францией, что он заставлял Францию исполнять его волю, был до настоящего времени рабом из рабов Франции.

Париж произвел революцию, но провинции создали правительство; революции существовали три дня или три месяца — правительство существовало 20 лет.

Париж создал июльские дни 1830 года; провинция отдалась орлеанцам и поддерживала Луи-Филиппа.

Париж создал 24 февраля и июньские дни 1848 года; провинция послала ему своих Феллу, солдат и Луи-Наполеона Бонапарта.

Париж об'являет республику; провинция отвечает ему галерами, Кавеньяком и империей.

В течение 20 лет Париж вотировал против империи, и в течение 20 лет провинция поддерживает империю выбором официальных кандидатов и двумя плебесцитами, где, как известно, оказалось поразительное большинство.

В течение этих 20 лет, в борьбе с чуждым правительством, которое насиловало его совесть, оскорбляло все его верования, парижский народ испытал участь покоренного города, отданного на произвол полицейских и шпионов Бонапарта. Пиетри вводили правильный порядок, изобрели заговоры, чтобы арестовать честных людей, арестовывали, чтобы изобретать заговоры, спускали на толпу корсиканскую сволочь, которая немилосердно била кастетами или колола шпагами прохожих, когда правительству нужно было создать подобие мятежа или увеличить жалование Лагранжу.

Париж создал 4 сентября и во второй раз провозгласил республику.

Провинция избирает Собрание Бордо, которое отказывается признать республику и открыто заявляет о своем намерении восстановить монархию.

Париж хочет войны, терпит голод и отдает свою кровь, чтобы спасти честь Франции и целость национальной территории, провинция вотирует мир, уступку пруссакам Эльзаса и Лотарингии и пять миллиардов контрибуции.

Но это еще не все.

Правительство, вышедшее из провинции, бросает вызов Парижу в самых его стенах, посылая ему, как угрозу, как оскорбление, людей, присутствие которых ему невыносимо.

Винуа, соучастник декабрьского переворота, подписавший капитуляцию 28 января, назначен губернатором.

Валентена, старого жандарма империи, ставят во главе префектуры полиции, когда Париж не желает иной полиции, кроме муниципальной и гражданской.

Орель де-Паладин, также бонапартистский генерал, отставленный Гамбеттой и подозреваемый всем миром, назначается начальником национальной гвардии в то время, как национальная армия с правом презирает генералов и армию и об'являет своим неот'емлемым правом право избрания своего главного начальника. Все, что Париж любит и желает, осмеивают и отнимают у него.

Все, что Париж защищал своею кровью в течение пяти месяцев осады, полной тревог и ужасных страданий, волочат перед ним в грязи и готовы растоптать ногами.

Никто вовсе не хочет считаться с желаниями этого великого города, в котором почти столько жителей, как в некоторых независимых государствах, который по количеству населения является 18-й частью Франции и который все считают самой просвещенной, самой умной частью родины.

Его не только лишили будущности, но не оказали даже настолько внимания, чтобы смягчить отказ и сделать возможным принять его без утешения.

Напротив, старались разбередить рану, соединив обиду с отказом в правосудии, смешать самую бесстыдную провокацию с насилиями, бить одновременно по щекам и по сердцу.

Такова история Парижа в течение 80 лет!

А. Арну.

Провозглашение Коммуны.

На следующий день двести тысяч этих «презренных» пришли в городскую думу, чтобы утвердить в должности своих избранников. Батальоны, с барабанным боем, со знаменами, украшенные фригийскими шапочками, с красной бахромой у ружей, увеличенные линейными солдатами, артиллеристами и моряками, оставшимися верными Парижу, разлились по всем улицам и по Гревской площади, как притоки одной громадной реки. Посредине городской думы, против центральной двери, выстроена большая эстрада. На ней возвышается и как бы осеняет собрание бюст Республики с красной лентой через плечо, сверкая связками красных флагов. На фронтоне развешены громадные красные щиты, возвещающие радость Франции. Сто батальонов выстраиваются перед думой со своими штыками, на которых играет солнце. Те, что не могли пробраться туда, стоят на набережных, на улице Риволи, на Севастопольском бульваре. Знамена, расставленные перед эстрадой, почти все красные, есть лишь несколько трехцветных, но и те убраны красным, — это служит символом победы народа. В то время, как батальоны выстраиваются перед зданием, раздается хоровое пение, полковая музыка гремит Марсельезу и «Chant du Depart», горнисты трубят, пушка Коммуны 92-го года дает залп на набережной.

Водворяется тишина, все готовятся слушать. На эстраду выходят члены Центрального Комитета и Коммуны с красными лентами через

плечо. Ранвье говорит: «Центральный Комитет возвращает Коммуне свои полномочия. Граждане, сердце мое переполнилось радостью, и я не могу говорить речи. Дозвольте мне лишь воздать хвалу населению Парижа, показавшего миру такой великий пример». Один из членов Центрального Комитета, брат убитого в 52-м году на улице Тикетон ребенка, — «дитя было ранено двумя пулями в голову», — читает имена выбранных. Бьют барабаны, двести тысяч голосов снова затягивают Марсельезу, не желают больше никаких речей. Ранвье едва удается уловить момент, чтобы крикнуть: «Именем народа Коммуна провозглашена!»

В ответ раздается безумный крик восторга, вырвавшийся из двухсот тысяч грудей: «Да здравствует Коммуна!». На штыках качаются кэпи солдат, знамена развеваются в воздухе. Из окон тянутся тысячи рук, машут платками. Непрерывный грохот пушек, музыка, трубные звуки, барабанный бой, — все сливается в одну величественную симфонию. Сердца трепещут, на глазах выступают слезы. Еще ни разу с 1790 г. Париж не был так потрясен в своих недрах. У худших писателей, описывающих эту сцену, казалось, в этот миг вспыхнула вера в душе.

Брюнель руководил церемониальным маршем очень хорошо; ему удалось провести в думу батальоны, горевшие желаньем приветствовать Коммуну. Перед бюстом Республики знамена склонялись, офицеры салютовали саблями, солдаты брали ружья на караул. Последние ряды прошли лишь к семи часам.

Агенты Тьера возвратились в отчаянии. «Это был, действительно, весь Париж». Центральный Комитет мог воскликнуть в порыве горячей благодарности: «Сегодня Париж раскрыл новую страницу в книге истории и вписал туда свое великое имя... Пусть версальские шпионы, шныряющие вокруг нас, расскажут своим господам, какие чувства кипят в груди всего населения. Пусть эти шпионы нарисуют им величественное зрелище, как народ вступает в свои самодержавные права».

Э. Лиссагарэ.

В книге истории началась новая глава.

Все эти граждане, выбранные частными выборами своих рот или батальонов, были известны только тем небольшим группам, чьими делегатами они являлись.

Что это за люди? Каковы они и что они хотят делать?

Какую трагедию создают эти вопросительные знаки в таких ужасных обстоятельствах?

Первый, самый просвещенный город мира, который привыкли считать авангардом цивилизации и прогресса, находится не только в неизвестности, но и в руках неизвестных.

В ратуше создалось анонимное правительство, состоящее почти исключительно из простых рабочих и мелких служащих, три четверти имен которых не были известны за пределами их улицы или конторы.

Страшен и неизвестен был вопрос о том, какой точки зрения будут они держаться.

Четвертого сентября, как и 24 февраля, имена лиц, ставших у власти, представляли, по крайней мере, известную программу.

Их знали. Их прошлое, казалось, могло отвечать за будущее. У них были прецеденты. Довольные и недовольные знали или, по крайней мере, думали, что знают, что им делать.

Но эта анонимная диктатура, — каково, повторяю, было ее содержание?

Это с первого дня было характерной чертой революции 18 марта.

В ратуше были люди, имена которых никому не были известны, потому что они имели только одно имя —

Народ!

Традиция была нарушена.

Нечто неожиданное произошло в мире.

Там не было ни одного члена правящих классов.

Вспыхнула революция, которая не была представлена ни адвокатом, ни депутатом, ни журналистом, ни генералом.

Вместо них, рудокоп из Крезо, переплетчик, повар и т. д.

Подобное событие в Париже, повторяю, представляло положение никогда ранее не имевшее места.

В книге истории перевернули страницу: началась новая глава.

«Нежное и ясное солнце, золотящее жерла пушек, запах букетов, трепетание знамен, рокот революции, которая идет, тихая и прекрасная, как голубая река, содрогания, отблески, гром медных труб, отсвет бронзы, пламенные надежды, благоухание славы победной республиканской армии — было от чего упиться гордостью и радостью.

«О, великий Париж!

«Трусы, мы уже говорили, что нужно покинуть тебя, удалиться от твоих предместий, которые считали мертвыми!

«Прости, отечество славы, город-избавитель, очаг революции!

«Что бы ни случилось, будем ли мы завтра побеждены, или должны умереть, наше поколение утешено. Мы вознаграждены за двадцать лет поражений и тоски.

«Горнисты, наполните звуками воздух; барабанщики, бейте поход!

«Обними меня, товарищ, твои волосы так же седы, как мои!

«И ты, мальчуган, игравший в шарики за баррикадами,—или сюда, чтобы я мог и тебя обнять.

«18 марта прекрасно сохраняю тебя, шалунишка! И, может быть, как и мы, ты вырастешь среди тумана, будешь валяться в грязи, кататься в крови, издыхать от голода и стыда, изнывать в невыразимой скорби бесчестия!

«Конец!

«Мы за тебя истекали кровью и слезами. Ты примешь наше наследство. Сын бывших в отчаянии, ты будешь свободным человеком».

Я не прославляю здесь ни насилия, ни умеренности, — я прославляю здравый смысл.

Ни насилие, ни умеренность не являются принципами. Этого не бывает. Надо делать то, что нужно. Вот и все.

Никогда я не отвергну мероприятия, потому что оно кажется насильственным или потому, что оно умеренно. Я отвергну всегда то мероприятие, которое нахожу ошибочным, нелогичным, опасным, неприменимым, противоречащим преследуемой цели.

Что из того, что к этому предприятию приклеивают этикет революционного!

Мероприятие революционно не потому, что оно насильственно; оно революционно, если по своим свойствам может доставить торжество революции.

У меня не было и никогда не будет иного мерила.

Нужно было воспрепятствовать падению Парижа.

Но ни декрет о заложниках, которых у нас не было, ни аресты — такие, как они производились, ни выборы Комитета общественного спасения не могли спасти Париж.

Это было потерянное время!

С материальной точки зрения, Париж могло спасти хорошее военное руководство, которого, безусловно, не доставало.

С моральной точки зрения, Коммуну могла спасти хорошая внутренняя организация и широкие социальные реформы, которые осуществили бы на первый раз удивительную и радикальную программу современной революции, — революции, которая должна была разбить самые основы общества: капитал, привилегию, городское управление, полицию, вооруженную силу, церковь, финансы, народное образование.

Это нужно было и можно было сделать.

А. Арну.

На баррикаде.

На баррикаде, кровью залитой,
Ребенка лет двенадцати с толпой
Других бойцов солдаты захватили.
— И ты был с ними?
— Да, мы вместе были.
— Ну, так тебя мы расстрелять должны.
Жди свой черед...
Стволы поднялись рядом,
Сверкнул огонь, и пали у стены
Товарищи его по баррикадам.
— Позвольте мне, — сказал он, обратясь
К начальнику, — пойти домой проститься
С моею матерью: я ворочусь сейчас.
— А кто тебя заставит воротиться?
Ты хочешь улизнуть?
— Нет, капитан.

Львів. Бібліотека
АН. УРСР
11.737

— А где живешь ты?
— Там вон, у фонтана.
— Ну, хорошо, ступай!
Эх, капитана
Надул мальчишка. Ловок на обман! —
Смеялися солдаты меж собой.
И смешивался этот грубый смех
С предсмертным стоном и хрипеньем тех
Кто умирал, валяясь пред стеною.
Вдруг шутки смолкли. Весь отряд
Глядит, не веря: к ним назад
Ребенок осужденный смелою
Идет, приблизился к стене
И гордо им сказал:
— Вот я, стреляйте!..

В. Гюго.

Смерть Флуранса. [1])

Больше всех были обмануты солдаты, — это пушечное мясо и постоянная добыча лгунов. У всех жителей Версаля голова была набита рассказами о разбоях и о соглашении с пруссаками; благодаря этим выдумкам, армия была послушным орудием самых невероятных жестокостей. Сведения о последних минутах и смерти Флуранса были сообщены мне в прошлом году для опубликования их в этой книге Гектором Франсом, который последний видел Флуранса живым, и Амилькаром Чиприани, его товарищем по оружию и единственным свидетелем его смерти.

«Я уже накануне был с Флурансом, — говорит Гектор Франс; — он взял меня в ад'ютанты, и я присоединился к нему около ворот Майо, где были собраны для вылазки батальоны федералистов.

«Мы провели ночь без сна; на военном совете присутствовали все начальники отрядов; я вернулся с Флурансом на рассвете; федералисты стояли шпалерами; Флуранс ехал верхом. Пустились в дорогу. Когда пришли к мосту, он оказался разведенным: ни пушки, ни омнибусы, никакой экипаж не мог быть провезен. Флуранс мне сказал: — «возьмите пушки и другие снаряды и отправляйтесь кругом через другой мост».

«Надо было пройти ниже Мон-Валерьяна, который начал пальбу по корпусу Бержере, некоторые батальоны которого, направлявшиеся в Париж, я встретил.

«Я продолжал итти, восклицая: в Версаль, в Версаль! Но, не зная, по какому направлению итти — я был вынужден справиться об этом у одного служащего железной дороги. Он сказал, что не знает, но когда я приставил ему ко лбу револьвер, он показал нам дорогу. Я помчался в галоп с тремя пушками и фургонами боевых припасов, под конвоем федералистов. Артиллеристы везли пушки, и с нами была только полу-

[1]) Один из командиров армии Коммуны.

Львівська державна
наукова бібліотека
№ 6812

рота национальной гвардии, которую Флуранс дал нам для охраны; но гвардейцы не могли поспеть за пушками и отстали.

«Мы прошли мимо одного форта, который стрелял не переставая.

«Я беспрепятственно догнал Флуранса в некотором расстоянии от Шату. Он сейчас же отправил меня известить Бержере о моем прибытии и попросить его присоединиться к Флурансу.

«Тогда-то гранаты с Мон-Валерьяна дождем посыпались на Шату.

«Когда я вернулся, чтоб дать Флурансу отчет о моей миссии к Бержере, я нашел его и Чиприани среди массы офицеров и простых гвардейцев, которые, подозревая измену, осыпали их бранью. Гранаты начинали падать в деревню, и это выводило гвардейцев из себя.

«Флуранс, увидев себя предметом стольких обвинений, слез с лошади и, страшно бледный, не говоря ни слова, направился в поле; я сообщил о своих предчувствиях Чиприани и сказал ему:

— «Вы знаете его лучше меня; ступайте за ним и помешайте ему выкинуть какую-нибудь скверную штуку».

«Чиприани спешился и пошел за Флурансом, который был уже далеко.

«Я один остался верхом; вдруг разорвавшейся гранатой убило нескольких федералистов, и вся ярость остальных обратилась на меня; я был в мундире конного стрелка. Меня назвали изменником, версальцем, говоря, что меня порешат тут же. К счастью, приведенные мной артиллеристы, из которых некоторые были в форме, заступились за меня и успокоили федералистов. Все это время гранаты падали беспрерывно. Мне сказали:

— «Раз вы верхом, поезжайте посмотреть, где Флуранс».

«Я поскакал галопом в направлении, куда он скрылся.

«Проехав через несколько полей, я добрался до каких-то пустынных переулков, где увидал только старую даму, сидевшую у окна. Я спросил ее, не проезжали ли тут верхом два высших офицера национальной гвардии. Она ответила:

— « Вы ищите Флуранса? — На мой утвердительный ответ, она мне указала на закрытый со всех сторон дом. Я постучался в дверь, потом стал стучать в соседние двери, но никто не отозвался на мой стук. Я понесся галопом обратно к федералистам. На некотором расстоянии я заметил с одной стороны — корпус армии Бержере, спускавшийся с холма и возвращавшийся в Париж, с другой, гораздо дальше — версальский авангард, который приближался с величайшими предосторожностями.

«Первый крик федералистов был:

— «Где Флуранс? Что нам делать?» — Жестом я им показал на корпус Бержере и сказал:

— «Последуем за ним, надо сомкнуться». Так и было сделано. Я остался последним, отстав от всех метров на 20 и все оглядывался, поджидая Флуранса. Вскоре с полей, из кустов, через заборы, со всех сторон на нас посыпались выстрелы. Битва была проиграна, масса федералистов убита, других враги увели на расстрел, а Флуранс словно сгинул.

Гектор Франс.

Подробности, передаваемые Чиприани о последних минутах Флуранса, составляют вторую часть этой мрачной Одиссеи.

— «Меня занимает не жизнь Флуранса, — говорит Чиприани, — а его трагическая смерть. Это настоящее убийство, совершенное жандармским капитаном Демарэ. Это произошло 3-го апреля 1871 г. Коммуна Парижа решилась на массовое выступление против войск реакции, которые расстреливали федералистов, схваченных вне Парижа. Флуранс получил приказ итти в Шату и ждать там Дюваля и Бержере, которые должны были атаковать версальцев в Шатильоне и, соединившись, итти на Версаль, чтобы выгнать оттуда изменников.

«Флуранс прибыл в Шату около трех часов пополудни. Там он узнал о поражении Дюваля и Бержере у Шатильона и у моста Нейльи.

«Дюваль был взят в плен и расстрелян. Вследствие этой неудачи федералистов, положение Флуранса стало не только затруднительным, но прямо невыносимым.

«Налево от него федералисты были обращены в бегство, и, преследуя их, версальцы старались окружить нас обходным движением.

«Сзади—форт Мон-Валерьян, который благодаря легковерию Люллье попал в руки неприятеля и наносил нам большой урон.

«Необходимо было выбраться из Шату и отступить к Нантерру, иначе мы оказались бы отрезанными и запертыми, как в мышеловке; надо было сформировать вторую боевую линию, которая защитила бы нас от всяких неожиданных нападений.

«Федералисты шли целый день, они устали, изголодались; понятно, что в таком состоянии немыслимо было в три часа дня вступить в бой с врагом, ободренным успехом при Шатильоне.

«Таким образом все обстоятельства требовали отступления к Нантерру, чтобы на следующий день, при помощи свежих войск из Парижа, завладеть высотами Бюзенваля и Монтрету и двинуться к Версалю.

«Как друг Флуранса и начальник штаба колонны, я предложил этот план Флурансу и соединившимуся с нами Бержере, который его одобрил; Флуранс ответил:

— «Я не отступаю».

— «Мой друг, — сказал я, — это не отступление и еще меньше бегство; если хотите, это мера предосторожности, которая диктуется нам всеми обстоятельствами, о которых я вам уже говорил.

«Он отвечал мне утвердительным кивком головы.

«Я просил Бержере стать во главе колонны, Флуранс принял центр, а я остался, чтобы окончательно эвакуировать Шату.

«Все тронулись, и я под'ехал под своды железнодорожного моста, где только что беседовал с Бержере и Флурансом; он был все на том же месте, верхом, бледный, мрачный, молчаливый.

«На мою просьбу отправиться в путь, он ответил отказом, сошел с лошади, поручил ее стоявшим тут же национальным гвардейцам и стал расхаживать вдоль берега реки.

«Я заметил ему, что и как близкий друг, и как начальник штаба отряда я не могу и не имею права покинуть его на месте, которое скоро будет занято версальской армией, что я твердо решил не бросать его и уйти или остаться вместе с ним.

«Усталый, Флуранс растянулся на траве и крепко заснул.

«Сидя рядом с ним, я легко мог наблюдать версальских кавалеристов, гарцовавших в долине и приближающихся к Шату.

«Моей обязанностью было испробовать все, чтобы спасти друга и любимого вождя народа.

«Я разбудил его и попросил не оставаться в таком месте, где его заберут, как ребенка.

— «Ваше место не здесь, — сказал я ему, — а во главе вашей колонны. Если жизнь вам надоела, умрите завтра утром в бою, во главе людей, которые шли за вами из любви и симпатии к вам; вы говорите, что не хотите отступить; дезертирство хуже простого отступления; оставаясь здесь, вы дезертируете, или хуже — вы изменяете революции, которая ждет от вас многого.

«Флуранс встал и взял меня за руку. — Пойдем, — сказал он.

«Необходимо было спрятаться и ждать наступления ночи, а затем догнать наши войска в Нантерре.

«Сказать «пойдем» было легко, но исполнить это незаметно для версальцев, окруживших всю деревню, почти невозможно.

«Вернувшись в Шату, мы вошли в маленький домик, своего рода кабачок, под № 21, и спросили хозяйку — есть ли у нее для нас комната; она повела нас в первый этаж.

«Меблировка комнаты состояла из постели, стоявшей направо от входа, налево — комод, в середине — маленький столик.

«Флуранс, положив на комод свою саблю, револьвер, кепи, бросился в постель и заснул.

«Я сел у окна, опустил штору и стал сторожить.

«Несколько минут спустя, я разбудил Флуранса и спросил его, могу ли я послать кого-нибудь на разведки—свободна ли дорога в Нантерр.

«Он согласился. Я позвал хозяйку и спросил ее, нельзя ли кого-нибудь послать с поручением.

— «Мой муж может пойти», — сказала она.

— «Пришлите его сюда», — сказал я.

«По виду, это был крестьянин... Я попросил его разузнать, свободна ли дорога в Нантерр и обещал ему двадцать франков за хлопоты.

«Этого человека звали Лекок.

«Он ушел. Я закурил сигару и опять сел сторожить у окна.

«Через пять минут из маленькой улицы направо, выходящей на улицу Нантерр, показался подпоручик главного штаба верхом и стал внимательно глядеть в сторону нашего дома.

«Я сказал об этом Флурансу и вернулся на свой обсервационный пункт, к окну.

«Офицер исчез. Через несколько минут с той же стороны показался жандарм.

«Потом он направился к нашему дому, как человек, знающий куда он идет; перед нашим домом было незастроенное место, жандарм наклонился и с минуту посмотрел на улицу, по которой следовало человек сорок жандармов. Я подошел к Флурансу и сказал:

— «Перед домом стоят жандармы.

— «Что делать? во всяком случае не сдаваться», — сказал он.

— Их не бог знает сколько, — сказал я.

— «Сторожите у окна, а я стану у двери.

«В эту минуту снаружи послышался шум, словно кто-то пытался войти.

«Я открыл дверь и очутился лицом к лицу с жандармом, который направил на меня револьвер.

«Не дав ему времени выстрелить, я разрядил свой револьвер прямо ему в грудь.

«Раненый жандарм бросился на лестницу и стал звать своих.

«Я погнался за ними и в нижней зале наткнулся на остальных жандармов, подымавшихся по лестнице.

«Я был оглушен ударами штыков и ружейных прикладов.

«У меня была разбита голова в двух местах, проколота нога, расшиблены руки, одно ребро вдавлено, разбита грудь, изо рта, ушей и носа текла кровь, я был на половину мертв.

«Управившись таким образом со мной, жандармы пошли на верх и арестовали Флуранса. Его не узнали. Проходя мимо меня и увидав, что я лежу на полу, весь в крови, он воскликнул:

— «О, мой бедный Чиприани!

«Меня подняли и я поплелся за своим другом.

«Его арестовали при выходе из дома, а я остался на пустыре в обществе жандармов.

«Флуранса обыскали, в кармане у него оказалось письмо или депеша на имя генерала Флуранса.

«До этой минуты с ним обращались прилично, но тут сцена вдруг переменилась.

«Все стали его осыпать оскорблениями и кричать:

— «Это Флуранс! теперь он в наших руках, теперь ему не вырваться».

«Подскакал какой-то жандармский капитан. Он спросил:

— «Кто этот человек?»

— «Это Флуранс», — ответили ему дикими криками.

«Флуранс стоял, гордо выпрямившись, скрестив руки, с непокрытой прекрасной головой.

«Жандармский капитан, верхом, находился направо от Флуранса; с высоты своей лошади он спросил его резким наглым тоном:

— «Это вы, Флуранс?»

— «Да».

— «Это вы ранили моих жандармов?»

—«Нет»,— ответил Флуранс.

— «Лжец», — заорал этот негодяй и ударом сабли, нанесенным с ловкостью палача, он раскроил Флурансу череп пополам — и ускакал.

«Имя убийцы Флуранса — капитан Демарэ.

«Флуранс в ужасных судорогах метался по земле. Тогда один жандарм, смеясь, сказал:

—«Я его пристрелю»,— и, приложив дуло ружья к уху несчастного, выстрелил.

«Флуранс был неподвижен. Он умер.

«Тут я бы должен остановиться, но испытания еще не кончились.

«В Версале труп великого революционера-мыслителя ждали такие поругания, что, если бы я не видел этого собственными глазами, я бы никогда этому не поверил.

«Считаю необходимым довести читателя до Версаля, этого подлого и проклятого города, чтобы сохранить все факты до того момента, когда меня разлучили с трупом Флуранса.

«Друг мой перестал страдать, но мои страдания только начинались.

«Когда убийца Флуранса ускакал, я остался во власти жандармов, которые выли вокруг меня, как гиены.

«Меня подняли и поставили возле трупа Флуранса, чтобы расстрелять.

«Один из жандармов обратился ко мне с каким-то вопросом.

«Я отвечал ему с отвращением и на меня сейчас же посыпался град ударов и оскорблений.

«Это замедление спасло мне жизнь. Проехал какой-то жандармский подпоручик и спросил, кто я.

— «Это ад'ютант Флуранса», — ответили ему (таким образом мне стал известен мой чин).

— «Досадно, — сказал подпоручик, — его следовало убить не здесь, а в Версале».

«Обернувшись ко мне, он прибавил:

— «Свяжите хорошенько этого мерзавца. Завтра, в Версале, его расстреляют с остальной сволочью, которую мы захватили».

«Меня крепко связали, привезли тележку с навозом, положили меня туда, а на колени ко мне бросили труп Флуранса.

«Мы тронулись в Версаль, окруженные эскадронами конных жандармов.

«Известие, что везут Флуранса, дошло до Версаля раньше, чем прибыл наш кортеж.

«В воротах стоял полк солдат, которые, не зная о смерти Флуранса, приготовились меня убить.

«Мы двигались среди пьяной, жестокой черни, вопившей:

— «Смерть им, смерть!»

«В префектуре меня отвели в комнату и у ног моих положили труп Флуранса.

«Расфранченные твари, в обществе армейских офицеров, приходили, смеясь, поглядеть на труп Флуранса. Мертвый, он был не страшен. С гнусными, подлыми жестами они тыкали кончиком своих зонтиков его мозг.

«Ночью меня разлучили с окровавленными останками моего бедного дорогого друга. Меня заперли в подвал.

«Так надругались над трупом Густава Флуранса версальские бандиты.

Амилькар Чиприани.

Предвидел ли Флуранс гекатомбу после первых ужасов, совершенных версальской армией? Понимал ли он, что люди Коммуны, благородные, доверчивые энтузиасты, заранее обречены на поражение, благодаря изменам, подлой политике и лжи правительства?

Я сама шла в 61-м монмартрском батальоне и могла проверить то, в чем была раньше убеждена: в грандиозном движении вооруженной борьбы люди забывают страх смерти и страх убийства; их вдохновляет идея.

После взятия Мулино, мы пошли на форт Исси; тут ядром у одного из наших оторвало голову.

Эд и его штаб расположились в иезуитском монастыре в Исси.

Через два-три дня, к нам пришли человек двадцать женщин, между которыми были: Беатриса Эскофон, Мальвина Пулен, Мариани Фернандец, Гулле, Данге, Картье; они несли красное знамя.

При их появлении собравшиеся в форте федералисты приветствовали их поклоном.

Откликнувшись на напечатанный нами в газетах призыв, они явились ходить за ранеными и часто приносили нам взятые у убитых ружья.

Было у нас и много маркитанток: Мария Шмит, Лашет, Викторина Руши, маркитантка тюркосов Коммуны и т. д.

Я часто работала в амбулатории, но еще чаще участвовала в переходах с товарищами: начав с ними, мне не хотелось от них отставать, и, кажется, я была недурным солдатом. В рапорте официального журнала Коммуны о деле при Мулино 3-го апреля, в номере от 10-го апреля 1871 г. читаем следующее: «в рядах 61-го батальона сражалась энергичная женщина, которая убила нескольких жандармов и стражников».

Я не покидала 61-й батальон и 3-го апреля, до майской недели, была в Париже два раза по нескольку часов. Моими товарищами по оружию были охотники-артиллеристы Исси и Нейли, разведчики Монмартра.

Я знаю, как отважны были армии Коммуны и как мало дорожили своей жизнью мои друзья Эд, Ранвье, Ла-Сесилиа, Домбровский и др.

Л. Мишель.

Две грани Парижской Коммуны.

Делеклюз и Варлен.

(Отрывок из книги «Мертвецы Коммуны».)

Шапки долой! Я буду говорить о мучениках Коммуны. Сколько их было? Никому не перечесть. Кровь текла ручьями. Но что же это были за люди, которых буржуазия, точно в опьянелом неистовстве дикарей-людоедов, избивала с таким остервенением? Несколько имен всплывают на поверхности этих кровавых потоков. Присмотримся к этим людям, потому что по ним можно будет судить об остальных, о той великой безымянной массе, которая на запрос истории ответит: «имя мне народ!» Вот вам прежде всего Делеклюз, старик с белой головой; худой, с энергичными чертами лица и гордым взглядом, образец честности и бескорыстия, якобинец, точно вылитый по модели бронзовых фигур людей Конвента, которых он был последним и не наименее прекрасным

представителем в наши дни. Вся жизнь его была непрерывной борьбой за то, что он считал правом, справедливостью, истиной. Ни поражения, ни преследования, — во время империи он был сослан в Кайенну на страдания физические и нравственные,—ни годы, ничего не могло ослабить его веры и безграничной преданности. Чтобы лучше служить революции, он отказался от семейной жизни. Никогда не знал он ни сомнений, ни изнеможения, ни даже усталости. Он жил и умер без страха и упрека. Посланный сперва депутатом в нац. собрание, он был выбран затем в Коммуну и явился не колеблясь туда, куда призывал его народ. А между тем он принадлежал к поколению, проникнутому насквозь идеями единства правительственной диктатуры, исполненному веры в государство и мало знакомому с вопросами социальными. Очень скоро он должен был заметить, что дело, которому он отдавал свою жизнь, — дело Коммуны, — шло в разрез с некоторыми из наиболее дорогих ему убеждений. Но Делеклюз выше своих убеждений ставил Революцию. В этом железном человеке не было ни малейшей черты доктринера. Вот почему, хотя он и не разделял вначале всех стремлений борцов Коммуны, хотя некоторые из этих стремлений противоречили его политическим верованиям — тем не менее, нужно воздать ему справедливость: он ясно понял программу Коммуны, он соглашался с ней и принял все ее выводы со всеми их последствиями. Его симпатии не влекли его к Коммуне, но там был народ, там была его воля. И Делеклюз с твердостью стоика преклонился перед нею.

Рядом с Делеклюзом стоит столь же великий, хотя совершенно противоположный ему, Варлен — сын народа и дитя собственных дум. Он родился от бедных крестьян. На 13 или 14 году он пришел в Париж и поступил учеником к одному переплетчику. В то время он не умел ни читать, ни писать. Но у него хватило энергии самому образовать себя, урывая время от тех немногих часов отдыха, которые оставляла ему работа в мастерской.

Варлен — воплощение революции нового времени. Он весь принадлежал социализму воинствующему, и в ряду представителей последнего образ его навсегда останется одним из самых светлых, самых благородных, самых трогательных. Он начал свою революционную работу как главный деятель союза рабочих переплетного мастерства, был потом основателем первых социалистических кухмистерских в Париже и сделался, наконец, одним из первых членов и неутомимейших агитаторов и пропагандистов Интернационала во Франции. И теперь еще помнят его гордое и смелое поведение перед трибуналом империи, когда Наполеон III, убедившись, что ему не удастся обольстить Интернационал, задумал бороться с ним, чтобы уничтожить его. В редакции «Марсельезы» познакомился я в первый раз с Варленом. Никогда не забыть мне этой молодой, прекрасной головы, покрытой уже седыми волосами, этого глубокого взгляда черных глаз, этого задушевного и ровного голоса и исполненного достоинства обращения. В нем соединялось великодушие героя с меланхолией мыслителя. В Коммуне он говорил мало, а делал много, занимался сначала администрацией финансов, потом перешел в интендантство, где мог приложить во всем их размере свои организаторские способности. Когда в Париж вошли версальцы, он ге-

роически сражался до последней крайности и был взят победителями коммуны. Со связанными назад руками, измазанный грязью и кровью, покрытый плевками, он был водим по улицам Монмартра в течение двух с лишним часов, чтобы продолжить его агонию. Наконец, пуля прекратила его мучения. Он был так велик в своем бесстрашии, что даже его враги и палачи не могли не отдать ему справедливости.

Оба они, Делеклюз и Варлен, могут быть названы двумя гранями Парижской Коммуны. Делеклюз — это буржуазный якобинец, который, забыв свое происхождение, свое воспитание, свои кастовые предрассудки, соединяется с народом, чтобы вместе с ним итти на завоевание социальной свободы. Варлен — это сам юный народ, подымающий голову, овладевающий наукой, в порыве геройства отождествляющийся с Социальной Революцией, которой он — тело и кровь. Первый говорит Коммуне: «Ты справедливость». Второй возвещает удивленному миру: «Народ готов».

А. Арну.

Гибель Коммуны.

(Отрывок из романа.)

Мелкой рысцой, по дороге в Мон-Валериен, двигалась карета. Маленький человечек в очках сидел на подушках и с живым любопытством присматривался к открывшейся перед ним панораме.

За большим зеленым пятном Булонского леса вставал огромный Париж, тот Париж, которого он никогда не понимал, который ненавидел. И ненавидел он его не за восстание и мимолетное увлечение, он ненавидел в нем дух революции и прогресса. На восстание он сам намеренно толкнул полуобезумевший от моральных и материальных страданий, оскорбленный в своих законных требованиях, город. Тогда ему пришлось поспешно бежать, спасать от разгрома остатки армии, готовой перейти на сторону народа. Теперь он расправится с мятежной столицей, которая смеялась над ним, презирала его, обманула его расчеты на мир с Германией и разгадала его старческое честолюбие. Он не простит Парижу его мечты — видеть в республике торжество бедных, коренную ломку старой социальной машины, ломку ее колес, ее центрального двигателя. Желанный момент настал. Он с горячностью юноши отдался военным операциям, пользуясь своей семидесятипятилетней опытностью, своим изучением походов Наполеона. Осада кончилась удачно, благодаря его гению, вникавшему во все. Не нужно помощи пруссаков, которой он сначала думал воспользоваться. Благодаря своей лихорадочной деятельности, благодаря своему военному гению, он возьмет приступом тот самый Париж, который немцы взяли только голодом. И он сделает это на глазах самих немцев, этих надменных знатоков военного искусства, на глазах всей Франции и удивленной Европы.

Сегодня на военном Совете будет решено приступить к решительным действиям. Со злобной радостью смотрел старик на каменные громады, поднимавшиеся в золотой пыли на горизонте. С высот, залитых лучами солнца, гремела канонада. Воздух был тяжел, удушлив. Тьер улыбнулся

Сто пятьдесят тысяч человек, дисциплинированных, закаленных ежедневными стычками, раздраженных против мятежников, скоро ворвутся в город и вырежут, словно ланцетом, гнойный нарыв мятежа. Тьер, целитель общества, заранее предвкушал тот давно жданный и теперь уже неизбежный миг, когда начнется резня.

Семьдесят тысяч версальцев уже были в Париже.

Недостроенные укрепления федералистов были захвачены с тылу; восемьдесят человек попали в плен, при чем армия захватила пороховой погреб с целым лабиринтом подземных галлерей, в которых хранилось семьдесят тысяч кило пороха, миллионы патронов и тысячи гранат.

А за первыми колоннами войск надвигались все новые и новые волны солдат.

Вот выход из Булонского леса. Теперь он представляет собой лишь груду обломков. Экипаж Тьера догоняет толпу мужчин и женщин, детей и стариков в лохмотьях. Их гонят солдаты, и они идут мрачно, дрожа от отчаяния и ярости... Это первые пленные. Их сейчас расстреляют. «Развалины и ненависть—*вот все,* что оставляют после себя гражданские неурядицы» — пробормотал сухой старик. Мысль, что он— один из виновников этих развалин и этой ненависти даже и не пришла ему в голову. Его сердце не упрекало его ни в чем.

С рассветом армия двинулась вперед и почти без выстрела раскинула свою живую сеть по городу.

С улицы в улицу, с площади на площадь, при безоблачном небе, под палящими лучами солнца, при грохоте битвы и зареве пожара, несся беспощадный поток, сметая все на своем пути.

Повсюду короткие схватки, и вслед за ними массовые расстрелы. В Ла-Мюете 30 федералистов, не захотевших сдаться, лежали мертвыми у стены, где выросла теперь груда тел.

Расстреливали на улице Ранелаг, расстреливали на Монпарнасском вокзале, расстреливали и в парке Монсо, где обезоруженные гвардейцы, даже женщины, задержанные на основании какого-то списка, были поставлены перед взводом городовых и казнены. В кварталах Елисейских полей вытаскивали из домов спрятавшихся там федералистов и немедленно предавали их смерти. Лужи крови стояли в Булонском лесу, в траншеях, на железнодорожной насыпи.

Так неудержимо и медленно, как огромная бездушная машина, подвигалась вперед покорная армия.

В это время там тянулось заседание Коммуны...

Валлес председательствует. Верморель говорит. Входит бледный Бильорэ; депеша дрожит в его руке. — «Кончайте», — говорит он.

Открывает тайное заседание. После чтения депеши наступает тяжелое свинцовое молчание. Каждый из них чувствует себя раздавленным. Ухо точно слышит звон погребального колокола. Час пробил. Лица обезображиваются судорогой или покрываются смертельной бледностью. Гордость подымает их головы. Красное знамя еще может вести к победе или же стать их саваном, когда они падут, посреди пламени в лужах крови.

Рассветает. Ослепительное весеннее утро. Версальская армия осторожно подвигается вперед. Перед нею несколько недоконченных баррикад, и только на площади Согласия стоят серьезные укрепления. Делеклюз, наконец, начинает понимать, что произошло и, не боясь увеличить беспорядок, обращается к рабочим, к искренним и решительным борцам Коммуны: «Долой милитаризм. Долой штабных офицеров, расшитых галунами и золотом по всем швам. Дорогу борцам с голыми руками».

При треске начавшейся перестрелки, в то время, как некоторые, по своему личному почину, стараются оказать сопротивление надвигающейся армии, несколько членов Коммуны собираются вокруг Комитета общественного спасения. Решают разойтись по округам, где каждый должен организовать защиту, наблюдать за постройкой баррикад.

Париж напоминает опрокинутый муравейник. Одни высыпали на улицу, другие, дрожа от страха, прячутся, забиваются в неподвижные, немые дома. Париж задыхается в железных тисках: с запада и юга напирают версальцы, рвут его тело, на севере и на востоке стоят немцы. Париж приходит в бешенство, кровь бросается ему в голову при виде неистовых версальцев и бесстрастных немцев. Прусаки обязались никого не пропускать. Их войска взялись за оружие и стали наготове. Уже в госпитале Сен-Луи умирают работницы, раненые прусскими пулями в то время, как они шли в свою мастерскую в Сент-Уан.

В Версале собирается нетерпеливое Собрание. Тьер появляется на трибуне. Гром аплодисментов встречает его первые слова. Он расхваливает поведение солдат и матросов, предсказывает близкое и окончательное торжество, когда Париж будет возвращен его законной властительнице — Франции. Польщенное Собрание, считающее себя истинным представителем Франции, аплодирует и удваивает свой энтузиазм при обещании суровых кар для виновных. В то время, как растрелянные без суда плавают в крови, Тьер заявляет, что правосудие пойдет своим обычным путем. Злодеи, посягнувшие на собственность, опрокинувшие памятники, грозившие смертью заложникам, будут во имя законов наказаны по законам...

После него входит на трибуну Жюль Симон и вносит следующие проекты: восстановить Вандомскую колонну, заменив статую Наполеона статуей Нации, и немедленно исправить капеллу, построенную в искупление казни Людовика XVI. Собрание вотирует неотложность.

Затем поднимается Кошри и предлагает вотировать, что «армия и глава исполнительной власти оказали великие услуги отечеству».

Эти слова вызывают бурю восторга.

При глубоком молчании Тьер вновь появляется на трибуне. Он взволнован: это — величайшая награда, которую он получил в течение всей своей жизни. Раздаются долгие непрерывные аплодисменты. Все бросаются к трибуне, тысячи рук протягиваются к триумфатору; Жюль Симон заключает его в свои об'ятия.

Собрание расходится, не понимая ни того зла, которое оно совершило, ни того, которое оно готовится совершить. Представители Франции в восторге, они опьянены радостью от того, что им удалось, наконец, покончить с революцией и Парижем и, значит, с самой Республикой. Депутаты смешиваются с толпой любопытных, журналистов, чиновни-

ков, светских дам и женщин полусвета и бросаются в поток пешеходов и экипажей, который покрывает дороги и неется к Сен-Клу, Шатильону, Мон-Валериену и ко всем высотам, с которых виден Париж, виден дым сражения, откуда можно наслаждаться интересным, захватывающим зрелищем.

Мало-по-малу грандиозная панорама исчезает, наступает ночь. В Париже зажигаются огоньки, и в мягком нежащем сумраке стоят на часах лицом к лицу две армии: одна — Парижа, другая — Версаля. Трагическая ночь.

23-го на заре отдохнувшие войска приходят в движение по всей линии, на обоих берегах реки.

В этот день на левом фланге главной целью движения армии было захватить Монмартр с его холмами, вооруженными артиллерией, с его крупными склонами и улицами, перерезанными баррикадами. Он казался неприступной крепостью, где в первый раз разбилась сила правительства. Теперь его осаждали целых два армейских корпуса.

Среди клубов черного дыма и страшного грохота завязалась беспощадная борьба. Баррикады падали одна за другой, дома постепенно попадали в руки пехотинцев, которые забирались в верхние этажи и стреляли оттуда по коммунарам. После победы раздавались залпы беспощадных, массовых расстрелов, не говоря уже о бесчисленных отдельных убийствах. У церкви Монтружа и на улице Брезен было растреляно столько федералистов, что трупами их наполнили восемь фургонов У Мадлен, где коммунары энергично защищались, расстреляли 300 человек. На улице Гельдер, на улице Друо, в пятидесяти других местах, около каждой баррикады лежали безжизненные тела. В парке Монсо и в военной школе два чрезвычайных суда отправляли пленников целыми толпами в Версаль или расстреливали их на месте.

Всю ночь из открывающихся с каждым часом кратеров, то здесь, то там вылетали чудовищные снопы пламени, озарявшие кровавым светом обезумевший город. Жители, глядя на свои догорающие дома, стояли мрачно и неподвижно, словно парализованные.

Гигантский пожар пылал в двадцати местах при грохоте взрывов и глухом шуме падающих крыш, павильонов, величественных куполов. Огненные языки вырывались из тысячи окон. Вихри пламени неслись, разбрасывая вокруг искры и горящие головни. Жара была удушлива. От времени до времени земля содрогалась и взвивался ослепительный сноп света. Казалось, что наступил конец мира.

Ужасная ночь сменилась тусклым днем. Черные облака дыма застилали небо, и сквозь них солнце, не испускавшее лучей, казалось огромной желтой луной. С зарей по всей линии, занятой армией, началась перестрелка, и полки двинулись вперед.

Всякое сопротивление приводило в ярость, и, как во всяких гражданских войнах, долго сдерживаемый гнев вылился в ряде жестокостей. Самые спокойные приходили в бешенство, и безумие мало-по-малу овладевало тем и другим лагерем. Грохот взрывов, языки пламени, выстрелы, крики, хрипение умирающих, — все это возбуждало жажду крови, жажду резни. Сострадание исчезло даже из лучших сердец. Избивать

без пощады и немедленно эти существа, стоявшие вне закона, вне жизни, казалось лишь актом справедливости. Надо избивать не только их, но и всех, кто связан с ними какими бы то ни было узами, надо избивать их друзей, их женщин и детей. Разве можно считать этих авантюристов, этих злодеев, избежавших правосудия, солдатами. Их нельзя даже считать людьми.

Версальские офицеры, бывшие по большей части монархистами и реакционерами, смотрели на суровую репрессию, как на выполнение своего долга перед обществом, как на дело нужное и необходимое для его очищения.

Солдаты, возбужденные до последней степени и сбитые с толку настолько, что видели в народной массе, из которой вышли сами, лишь закоренелых преступников, отвечали сотней ударов на каждый удар. Они приходили в ярость и от медленного движения по лужам крови, среди горящих зданий, и от уличной борьбы, во время которой приходилось брать дом за домом, баррикаду за баррикадой; их приводили в бешенство неожиданные, изменнические выстрелы из-за угла, и они с ненавистью думали, что после Седана и Меца, после снегов севера и грязи Луары их заставляют драться опять. Роль судей доставляла им бессознательное наслаждение; в них проснулся инстинкт насилия, и они испытывали дикую радость от сознания своей силы и своего права давить все, что пытается сопротивляться. Бездушной и всесокрушающей машиной стали эти люди, у которых в каком-нибудь уголке города или в деревне были семьи, отцы, матери, братья, сестры, такие же, как те, в которых они расстреливали или гнали, как стадо животных, по дороге в Версаль.

То был ужасный момент, когда гаснет сознание, когда человек превращается в волка, и призрак Каина, простирая к небу окровавленные руки, поднимается над миром.

Из-за центральной баррикады, наскоро построенной из камней мостовой, мешков и обломков мебели, раздавались правильные залпы. Струйки синеватого дыма взвивались и окутывали легким туманом улицу, освещенную яркими лучами солнца. Вдруг на гребне баррикады показалось суровое лицо с седеющей бородой и всклокоченными волосами. Человек выпрямился и стал спокойно осматривать улицу. Версальские пули жужжали вокруг него, как пчелы. На губах старика появилась презрительная улыбка, он пожал плечами и исчез. «Он сошел с ума», сказал кто-то со вздохом.

Стоя на коленях и просунув ружье в щель между двух камней, старик молча, с бешенством и отчаянием, целился, стрелял, заряжал и снова стрелял. Их было всего десять человек, но версальцам казалось, что за этой баррикадой скрывается, по крайней мере, полсотни.

Да, Делеклюз сказал правду: «Долой болтунов». Простым рабочим оставалось только засучить рукава и отдать свою жизнь за дело; лучшего ничего они не могли придумать.

С отчаянием в душе они видели, что дело погублено. Им рисовалось неизбежное торжество беспощадной реакции.

Никто из них не увидит того солнца, на восход которого они надеялись при провозглашении Коммуны. Кто может поручиться за то, что республика этих буржуа не будет задушена одним ударом и во

мраке ночи не будут подняты на свои пьедесталы идолы прошлого, императоры и короли. Кто может сказать, что солдаты опять не станут убивать, как сегодня, а попы не будут петь новым властителям «осанну». Лучше продать свою шкуру и постараться причинить хоть немного зла тем людям, от которых приходилось столько страдать. А потом можно умереть, выполнив свою миссию пушечного мяса... Во всяком случае, лучше уйти из этого мира, чем целые годы дрожать от лихорадки в тюрьме.

Быть может, их кровь будет не напрасно пролита. Она удобрит бесплодную почву, и, когда настанет час расплаты, доброе семя даст росток, нальются победоносные колосья. Ничто на свете не делается скоро... На все нужно время. Что ж! Когда-нибудь это должно измениться. Другое солнце зальет золотыми лучами горизонт, к которому стремится человечество... Слишком было бы просто, если бы история была кругом, в котором жизнь вращалась бы, как белка в колесе. Семьдесят первый год воскресил старую мечту и, вместе с ней, кошмар сорок восьмого года. И все-таки жизнь не остановится; молодежь развернет вновь старое знамя. Но с них уже довольно!

В это время снизу с улицы версальцы подходили мерным, эластичным шагом и взбирались на баррикаду; за ними густые массы пехоты, как подымающийся прилив, хлынули к Пантеону.

Почти в ту же минуту пала баррикада. Дорога была свободна.

Пленных связали сначала попарно, затем поставили в ряды, по четыре человека в каждом, и ряды соединили веревкой; тому, кто протестовал, сжимали руки до крови, и удары прикладов сыпались на несчастного. Солдаты взяли ружья на перевес, и колонна двинулась вперед. Вокруг них собралась толпа. Раздались неистовые свистки и ругательства. Иногда ряды пленных неожиданно пополнялись: кто-то закричал во все горло: «Расстреливайте их сейчас же». «Ступай в ряды»... «Ты ревешь слишком громко, чтобы быть искренним». И любопытный зритель, которого выдала чья-то глупая шутка, попал в печальный кортеж. В другой раз какая-то женщина, пробормотавшая: «несчастные», была схвачена и присоединена к пленным.

Когда колонна подошла к церкви св. Троицы, раздалась команда: «Стой! На колени!». Со всех пленников ударами сбили кэпи и шляпы, и они, как бы раскаиваясь в совершенных ими преступлениях, должны были стать на колени и отвесить земные поклоны. В предместьи Сент-Оноре оскорбления удвоились. Из богатых отелей высыпала толпа лакеев, с плохо выбритыми подбородками, поваров, краснорожих кучеров, развратных горничных, и все они набросились на пленников, как свора раскормленных собак. За воротами города гусары сменили пехоту и стали заряжать ружья. Женщины думали, что их сейчас же расстреляют. А те, которые были уже не в силах итти, даже желали этого. Горе тому, кто замедлял шаг, нарушал стройность рядов. Его оттаскивали назад и расстреливали.

Когда пленные после бесконечного путешествия по липкой грязи дорог, где многие потеряли свои башмаки, подошли, наконец, к Версалю,— они представляли собой какой-то жалкий сброд. Грязные, в лох-

мотьях, бледные от лишений и усталости, еще лихорадочно дрожавшие после долгих битв, эти женщины с растрепанными волосами и эти мужчины с небритыми подбородками имели такой дикий вид, что зрители, толпившиеся на улицах, чувствовали к ним невыразимое отвращение и встречали их повсюду громкими криками ненависти.

С лиц пленников крупными каплями падал пот, они умирали от жажды, задыхались в пыли под палящими лучами солнца. Но все эти страдания не могли утолить ненасытной злобы раз'яренных буржуа. С глазами, налитыми кровью, они осыпали мучеников оскорблениями. На Парижской аллее, где стояла особенно густая толпа, пленников били по лицу, царапали. Дамы грязными кончиками своих зонтиков старались попасть им в глаза... Яростные крики, требовавшие для них самых страшных мучений, раздавались со всех сторон. Чей-то визгливый голос требовал, чтобы у них «содрали ногти». На одну несчастную женщину, которая не могла итти и упала под ударами сабель, накинулась неистовая толпа. Ей подняли юбки и палками толкали в живот.

По мере приближения к улице Сатори, пленников заставили прибавить шагу. Спешившиеся гусары их подгоняли и, наконец, втолкнули всех этих несчастных, потерявших человеческий образ, в огромный двор. У ворот стояли митральезы, направленные своими жерлами на заключенных. Депо и ферма были переполнены людскими телами. Пленным приказали лечь. Предыдущей ночью некоторые измученные люди, после этой команды, попытались встать, но тотчас же раздался залп, и они упали, как подкошенные. Несчастные создания, дрожащие от холода, с отчаянием в душе, ложатся в грязь, и на них смотрят зияющие жерла митральез... Наступает темная ночь.

В большой же зале Версаля с высокими окнами, где было светло, несмотря на пасмурный день, царили обычная роскошь и невозмутимое спокойствие, гармонически сочетавшиеся со старинной мебелью. Из окон видна была изумрудная зелень сада, его лужайки и высокие купола деревьев со свежей, только что омытой дождем листвой. Графиня бросила на вошедшего мужа беспокойный, пытливый взгляд.

— До каких пунктов дошла теперь армия, Жорж?

Граф с гордостью передал содержание последних телеграмм Тьера, суливших каждый день окончательную победу. Теперь она была обеспечена, нужно только немножко терпения.

Супруги обменялись радостными взглядами. Они считали часы, с нетерпением ожидая конца этой драмы. Ни такой долгой уличной борьбы, ни пожара Парижа они не предвидели.

— Сначала было условлено, — продолжал граф, покручивая усы, — что будут расстреливать только тех, кого захватят с оружием в руках. Но, скажите, как в пылу битвы не поддаться гневу при виде таких преступников! Наши доблестные войска работают хорошо, и все-таки этих бунтовщиков останется еще слишком много, — уверяю вас... Теперь суровые чрезвычайные суды отделяют плохие зерна от гнилых. Тюрьма Сатори битком набита... Тьер не знал даже, куда их девать, но, к счастью, вспомнил, как поступали некогда англичане со своими военнопленными; они сажали их на понтоны. Мы также отправим весь этот сброд в порты, где для этого уже приспособляют старые суда.

Он взглянул на свои выхоленные ногти и тонкие пальцы, словно любуясь их белизной.

— Помните ли вы наш разговор о нарыве, об этом чудовищном нарыве, образовавшемся на общественном теле? Я вам тогда предсказывал операцию, — теперь ее производят...

— Не можете ли вы сообщить нам, граф, что-нибудь более веселое, — спросила томно графиня.

— Говорил ли я вам, что монсиньор епископ известил письмом Собрание, что богослужение, которого оно требовало, состоится в воскресенье. Можно думать, что к тому времени победа будет полная. Славу богу, ненавистный материализм задавлен... Со всех сторон сердца стремятся к религии. На-днях президенту пришло благородное письмо, подписанное кардиналом, архиепископом Руанским и многими епископами, где он сообщает о настроении своей паствы и заклинает Собрание пригласить правительство войти в соглашение с иностранными державами для восстановления светской власти его святейшества. Что и говорить, момент выбран удачно.

Дверь распахнулась настежь, и на пороге появился почтенный метр-д'отель. Он наклонился и произнес:

— Кушать подано, графиня.

П. и В. Маргерит.

Памяти Коммуны.

Окружены... Отрезаны... Но ярко
Горит звезда Коммуны трудовой.
Упавшего борца сменила коммунарка.
И снова бой... Последний, страшный бой.
Враги идут. У них гранаты, мины.
У нас патронов нет, но гордые сердца
Полны отвагою и мыслию единой
Бороться до конца!..

Пощады нет разбитым коммунарам.
Пощады нет! Враги в Париж вошли.
И вот разгром! По липким тротуарам
Рекою кровь. — Рабочий? К стенке! Пли!
Ребенок? Смерть! Он вырастет, он будет
Лелеять мысль: создам Коммуну вновь.
Напрасно молит мать. Отрубленные груди,
Прожженные глаза... И крик... И стон... И кровь...
Змеится ночь сквозь желтые пожары.
Кошмары жуткие, как призраки, встают.
Погибло все. Разбиты коммунары.
Но мысли их в грядущем оживут.

Погасшее солнце взошло на востоке.
Коммуна Парижа воскресла у нас,
Путь к радостным дням открывая широкий

Для всех угнетенных, трудящихся масс.
За дело святое, погибшие братья,
Вы светите нам путеводной звездой,
Вы первые в мире, открыли об'ятья
Для общего счастья семьи трудовой.
Мы ваши великие цели свершаем.
В нас ваши порывы и мысли, и кровь.
В ликующих гимнах мы вас воскрешаем.
Вам вечная слава, и честь, и любовь.

А. Крайский.

ОТДЕЛ ВТОРОЙ

Семидесятники

Предисловие к отделу второму

Косвенное влияние Парижской Коммуны на русское общество заключалось, главным образом, в том, что в сознании революционеров укрепляется мысль о необходимости борьбы при помощи экономической, социальной революции, так как политические перевороты не прочны, и никогда не обеспечивали народу экономическую и политическую свободу. Эта мысль выкристаллизовывалась чрезвычайно медленно. Якобинствующие, т.-е. политические заговорщики и захватчики власти с их абстрактной свободой и абстрактными революционными планами, по-прежнему составляли главный штаб революции. Но крушение этих методов рождало невольное сомнение в рядах их сторонников. Парижская Коммуна была первым опытом, показавшим, что социальная революция не пустой звук, брошенный на воздух. Между тем вся предшествующая десятилетняя история русской жизни подготовляла русских революционеров к сознательному восприятию этой идеи.

Начиная с декабристов и кончая петрашевцами, русское революционное движение носило, по преимуществу кружковой, интеллигентский характер. Только с ростом городов, а вместе с тем и с ростом разночинной интеллигенции революционные организации в России получают более широкое, более массовое развитие. Это относится к началу шестидесятых годов. Кадры полуголодной интеллигенции, дети мелких чиновников, разоренных помещиков, лиц духовного звания, недоучившиеся семинаристы—ринулись в столичные университеты и вступили в тесную связь с революционными организациями. Последние, благодаря приливу значительных кадров бодрой и революционно настроенной молодежи, ощутили потребность придать своей деятельности широкий размах и опереться на народные массы. Это был период глухого брожения крестьянства. «Волчья воля» встречена была, как злая насмешка и обман. Во многих местах происходили самовольные запашки помещичьих земель и вспыхивали аграрные беспорядки. Среди революционно настроенной интеллигенции росла уверенность в неминуемости народного вос-

стания, которое приурочивалось к весне 1863 года. В ожидании этого всероссийского крестьянского бунта Бакунин требовал созыва всенародной думы, а разночинно-буржуазная интеллигенция готовилась к захвату власти и руководству народным движением. С этой целью и создано было тайное общество «Земля и Воля» (1862—1864). В состав этого общества — с чрезвычайно умеренной либерально-конституционной программой — входили все оппозиционные элементы интеллигенции. Но были в рядах последней и более радикальные кружки, превосходно понимавшие, что расчет на народное движение в таком виде может оказаться весьма утопическим и что без кровавой, упорной революции России не обойтись. Среди членов «Земли и Воли» были также отдельные кружки (кружок Мосолова и известный кружок ишутинцев), которые были проникнуты социалистическими идеями, и террористическими планами. Из рядов этого кружка и вышел Каракозов, стрелявший по собственному почину 4 апреля 1866 года в Александра II, в надежде, что выстрел его послужит сигналом к народному восстанию.

Двумя годами позже — в 1868 году — на арену революционной деятельности выступает Нечаев. Во главе его планов стоят те же расчеты на крестьянские волнения, которые должны-де неминуемо вспыхнуть в начале 1870 г. (в связи с истечением срока временно-обязанных отношений крестьян к помещикам). Подобно Бакунину, Нечаев был твердо уверен, что русское крестьянство не только готово к революции, но что общинное пользование землей укрепило в нем социалистические навыки и ему предстоит поэтому осуществить социальную революцию. Для успешности этой революции необходимо создание строго-централизованной, вышколенной и слепо повинующейся диктаторским планам организации, которая в нужную минуту вырвет власть из рук ослабевшего правительства.

Провал нечаевских планов не погасил революционной энергии. Наоборот, на помощь революционному разночинцу пришел «кающийся дворянин». Отвергая заговорщическую тактику Нечаева, «кающиеся дворяне» также считали возможным и необходимым воздвигнуть на месте старых кабальных отношений новый социалистический строй, питаемый «общинной собственностью». Но путь к осуществлению этого строя намечался двоякий. Бакунинцы верили, что революционной энергии в народе накопилось достаточно, и нужна малейшая искра, чтобы превратить всю эту пороховую энергию в потрясающий бунт, тогда как лавровцы (последователи П. Л. Лаврова, руководителя заграничного журнала «Вперед») полагали, что революционному перевороту должно предшествовать хождение в народ для длительной пропаганды идей социа-

лизма и постепенного культивирования социалистических инстинктов народа.

Хождение революционной интеллигенции в народ закончилось очень плачевно. Летом 1874 г. окончательно выяснилось, что и к социализму, и к революции мужик относится весьма равнодушно. Но единственный вывод, который сделали отсюда семидесятники, сводился к тому, что летучую пропаганду в народе следует заменить более длительной и вместе с тем создать единую революционную организацию, подчиняющуюся директивам из центра. Такая организация и создана была в 1876 году под именем «Земли и Воли». Просуществовав около трех лет, это общество пришло к убеждению, что длительному существованию в деревне революционных организаций мешает администрация, и что, следовательно, для непосредственной защиты от нападений со стороны власти, следует выделить тайно из общества часть своих сил и обратить их на борьбу с правительством. Начинается ряд террористических актов, выдвинувших вопрос среди землевольцев о допустимости политической борьбы. На Воронежском с'езде осенью 1879 года вопрос о допустимости политической борьбы расколол землевольцев на две группы, из коих одна, считавшая необходимым опереться на народные массы, получила название «Черный Передел», а другая, поставившая себе задачей борьбу с правительством, присвоила себе имя «Народной Воли».

И землевольцы, и черно-передельцы, и народовольцы, почти сплошь состояли из интеллигентов, но не мало сил посвятили они пропаганде социалистических идей среди фабрично-заводского пролетариата. Под их влиянием возникли рабочие организации и создавались такие крупные революционные деятели, как Алексеев, Халтурин и другие. Задача настоящей главы — осветить революционную работу семидесятников и на живых речах и фигурах показать, до какого героического экстаза доходили они в своей преданности революционному долгу.

Сюда входят:

В. Короленко, «Революционное народничество».

Речь рабочего *П. А. Алексеева* на процессе 50-ти.

Вербовчинин, «П. Алексееву».

Степняк-Кравчинский, «Из воспоминаний о деле 50-ти».

Речь *Мышкина* на процессе 193-х.

В. Короленко, «О процессе 193-х».

А. Ольхин, «На смерть Мезенцева».

И. Тургенев, «Порог».

Н. Чернышевский, «Четвертый сон Веры Павловны».

Речь *Бардиной* на процессе 50-ти.

В. Фигнер, «Последнее слово на суде».

В. Ленин, «О семидесятниках».
Из биографии В. Г. Короленко.
С. Степняк-Кравчинский. «На царя».
Л. Столпянский, «Первомартовцы».
Л. Столпянский, «Халтурин в царском дворце».
Ю. Стеклов, «Из биографии Халтурина».
Заявление Желябова.
Дж. Кенан, «Петропавловская крепость».
В. Фигнер, «Цветок в тюрьме».
Я. Полонский, «Узница».

Революционное народничество

(Из истории моего современника)

Однажды Григорьев дал мне прочитать номер нелегальной заграничной газеты (кажется, «Набат») со статьей Ткачева. Ткачев был довольно известный писатель, работавший в благосветловском «Деле» и эмигрировавший после нечаевского процесса, к которому привлекался вместе с своей «гражданской женой», Дементьевой. В нечаевском процессе оба они занимали особое место, и тогда много говорили по их поводу, между прочим и о «гражданском браке». Статья Ткачева, которую дал мне Григорьев, была полемическая и была направлена против Лаврова, который тоже бежал из ссылки (в Вологодской губ.) и основал за границей журнал «Вперед». Я знал Лаврова по его «Историческим письмам», печатавшимся в «Неделе» и потом вышедшим отдельной книгой, которая была из'ята цензурой (в нашей неофициальной библиотеке она вся была сброшюрована по №№ «Недели»). Ткачев полемизировал против программы Лаврова, звавшего молодежь «в народ» для пропаганды социалистических идей. При этом он ставил пропагандистам требования предварительной умственной подготовки, требовавшей значительного труда и времени. Ткачев считал это лишним. Его точка зрения была другая. Он звал тоже в народ, но звал итти в революционном порыве для проповеди немедленного восстания. В центре своей статьи, написанной очень красиво и страстно, он поставил образ народа-страдальца, распятого на кресте. И вот, — писал он, — нам предлагают изучить химию, чтобы исследовать химический состав креста, ботанику, чтобы определить породу дерева, анатомию, чтобы определить, какие ткани повреждены гвоздями. Нет, мы не в состоянии исследовать... Мы охвачены одним страстным желанием — снять жертву с креста, сейчас, немедленно, без предварительных и ненужных изысканий.

Я цитирую на память и не могу, конечно, передать горячего пафоса Ткачева. Помню, что сначала статья произвела на меня впечатление именно этим своим пафосом. Мне казалось, что так должен говорить истинный революционер, хотя сам я таким революционером себя не чувствовал. Григорьев ничего не возразил, но вскоре дал мне «Вперед», в котором была программа и еще статья Лаврова «Разговор последовательных». Я прочел все это залпом и был совершенно захвачен стройной системой революционерного народничества. Небольшая статейка Ткачева нравилась мне просто, как красивое литературное произведение. Программа и статьи «Вперед» сразу всколыхнули глубоко сла-

гавшиеся в уме мысли и чувства, которые отлагались из всех непосредственных впечатлений жизни и литературы.

Я не стану много распространяться о народничестве... Теперь нетрудно подвести итоги и той моральной правде, которую впрочем, многие склонны теперь отрицать, и ошибкам этого направления. Среди последних, конечно, главнейшая — это наивное представление о «народе» (под этим словом в то время еще разумели, преимущественно, крестьянство), о его потенциальной, так сказать, мудрости, которая дремлет в его сознании и ждет только окончательной формулы, чтобы проявить себя и скристаллизовать по своему подобию всю жизнь...

Представление о «народе» со времени освобождения занимало огромное место в настроении всего русского общества. Он, как туча, лежал на нашем горизонте, в него вглядывались, старались уловить формы, роившиеся в этой туманной громаде, разглядеть или угадать их. При этом разные направления видели разное, но все вглядывались с интересом и тревогой, и все апеллировали к народной мудрости. Не говоря о славянофилах, в системе которых народ занимал такое огромное место, но даже Катков и консерваторы указывали на «мудрость народа», который, по их мнению, вполне сознательно поддерживает устои существующего строя. Для Достоевского народ был «богоносец», а Иван Аксаков еще в 80-х годах любил в своей газете прибегать по разным поводам к речениям «русских мужичков», хотя бы эти «мужички» были, в сущности, толстосумы из крестьян, давно и с большим успехом перешедшие в купеческое звание. Это все равно. Уже самое происхождение из народа давало своего рода патент на обладание истинно народной мудростью. В одном рассказе Златовратского («Золотые Сердца») выведен интеллигент из крестьян, медик Башкирцев. Он говорит почти нечленораздельно, но все чувствуют, что он знает что-то, неизвестное мятущимся интеллигентам, и когда говорит в нужную минуту, то скажет какое-то новое, настоящее слово.

Невольно напрашивается сближение между этим героем довольно слабой народнической повести и Каратаевым из «Войны и Мира», одного из величайших произведений русской литературы. Каратаев тоже не может связать правильного предложения, но его краткие изречения Пьер Безухов вспоминает всю жизнь, стараясь истолковать их в каком-то таинственном и почти мистическом смысле. Это же отношение к каратаевщине, несомненно, было присуще и самому Толстому, а с ним чуть не всем русским критикам, касавшимся «Войны и Мира».

Вот почему система революционного народничества так быстро и всецело овладела умами нашего поколения. В социальной жизни есть свои предчувствия. Туча, действительно, лежала на горизонте нашей жизни с самого освобождения. Она еще не шевелилась. В ней одно время не видно было даже зарниц, и не слышно даже отдаленных раскатов, но загадочная тень уже ложилась оттенками на все предметы еще светящейся и сверкающей жизни, и взгляды невольно обращались в ее сторону. Молодежь, наиболее впечатлительная и чуткая часть общества, сделала свои выводы.

Социальная несправедливость была фактом, бьющим в глаза. От нее наиболее страдают те, кто наиболее тяжко трудится. И все, без различия направлений, признают, что в этих же массах зреет, или уже созрело какое-то слово, которое разрешает все сомнения.

Вот что тогда было широко разлито в сознании всего русского общества и из чего наше поколение, — в семидесятых годах подходившее к своему жизненному распутью, — сделало только наиболее последовательные и наиболее честные выводы. Если общая посылка правильна, то вывод, действительно, ясен: нужно «отрешиться от старого мира», нужно «от ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови», уходить туда, где «работают грубые руки» и где, кроме того, зреет какая-то формула новой жизни.

Это было наивно? Да, но эту наивность разделяли наименее романтические представители русского культурного общества того времени. Часть литературы легальной и вся нелегальная сделали из этого логически несомненные, нравственно наиболее честные выводы. А молодежь внесла присущий ей энтузиазм. И вот, революционное народничество готово. Старик Лавров и совсем еще молодой Михайловский нашли для этого построения ясные формулы. — «О, если бы я мог, — писал в 70-х годах Михайловский, — утонуть, расплыться в этой серой, грубой массе народа, утонуть бесповоротно, но, сохранив этот светоч истины и идеала, какой мне удалось добыть насчет того же народа. О, если бы и вы все, читатели, пришли к такому же решению, в особенности те, у кого светоч горит ярче моего... Какая бы это вышла иллюминация и какой великий исторический праздник она отметила бы собою! Нет равного ему в истории...»

В этой пламенной тираде — все настроение того поколения и вся теория «хождения в народ», которую «Отечественные Записки» проводили в легальной литературе, а «Вперед» приносил нелегальными путями из-за границы. Через некоторое время я весь был захвачен последовательностью, стройностью этой программы, которая обещала и вносила порядок во все жизненные и литературные мои впечатления. Народничество внесло в наше поколение то, чего не доставало «мыслящим реалистам» предыдущего: оно вносило веру не в одни формулы, не в одни отвлеченности. Оно давало стремлениям некоторую широкую, жизненную основу.

В Москве и в академии собирались теперь кружки, горячо обсуждавшие лавровскую программу. В это же время я увлекся статьями Михайловского и пропагандировал их между товарищами, указывая на прямую непосредственную связь его мыслей с тем, что мы обсуждали только на тайных сходках... Теперь я нашел то, чего напрасно искал в Петербурге: в наших тайных собраниях мы дружески и просто говорили о том, как нам жить честно и что нам делать. Я уже не искал настоящего идеального студента. Этот неуловимый образ заменился более широким и более заманчивым образом великого, таинственного в своей мудрости, народа, предмета новых исканий и, может быть, новых иллюзий. На ряду с этим я нашел многое, чего искал ранее в студенческой среде, только пришло оно проще и по-иному.

В. Г. Короленко.

Речь рабочего Петра Алексеевича Алексеева на процессе 50-ти

Мы, *миллионы людей рабочего населения*, чуть только станем сами ступать на ноги, бываем брошены отцами и матерями на произвол судьбы, не получая никакого воспитания, за неимением школ и времени, от непосильного труда и скудного за это вознаграждения. Десяти лет — *мальчишками* — нас, стараются проводить с хлеба долой на *заработки*. Что же нас там ожидает? Понятно, продаемся капиталисту за сдельную работу из-за куска черного хлеба, поступаем под присмотр взрослых, которые розгами и пинками приучают нас к непосильному труду, питаемся кое-чем, задыхаемся от пыли и испорченного, зараженного разными нечистотами воздуха. Спим, где попало, на полу, без всякой постели и подушки в головах, завернутые в какое-нибудь лохмотье и окруженные со всех сторон бесчисленным множеством различных паразитов... В таком положении некоторые навсегда затупляют свою умственную способность, и не развиваются нравственные понятия, усвоенные еще в детстве; остается все то, что может выразить одна, грубо воспитанная, всеми забитая, от всякой цивилизации изолированная, мускульным трудом зарабатывающая хлеб рабочая среда. Вот что нам, рабочим, приходится выстрадать под ярмом капиталиста в этот детский период. И какое мы можем усвоить понятие по отношению к капиталисту кроме ненависти? Под влиянием таких жизненных условий с малолетства закаляется у нас решимость до поры терпеть, с затаенной ненавистью в сердце, весь давящий нас гнет капиталистов и, без возражений, переносить все причиняемые нам оскорбления.

Взрослому работнику заработную плату довели до минимума; из этого заработка все капиталисты без зазрения совести стараются всевозможными способами отнимать у рабочих трудовую копейку и считают этот грабеж доходом. Самые лучшие для рабочих из московских фабрикантов, — и те, сверх скудного заработка эксплоатируют и тиранят рабочих следующим образом. Рабочий отдается капиталисту на сдельную работу, беспрекословно и с точностью исполнять все рабочие дни и работу, для которой поступил, не исключая и бесплатных хозяйских чередов. Рабочие склоняются перед капиталистом, когда им, по праву или не по праву, пишут штраф, боясь лишиться куска хлеба, который дается им 17-часовым дневным трудом. Впрочем, я не берусь описывать этих злоупотреблений фабрикантов, потому что слова мои могут показаться неправдоподобными для тех, которые не хотят знать жизни работников и не видали московских рабочих, живущих у знаменитых русских фабрикантов: Бабкина, Гучкова, Бутикова и др.

Председатель сенатор Петерс: Это все равно, вы можете этого не говорить.

Петр Алексеев: Да, действительно, все равно, везде одинаково, рабочий доведен до самого жалкого состояния. 17-часовой дневной труд — и едва можно заработать 40 коп. Это ужасно! При такой дороговизне

с'естных припасов приходится выделять из этого скудного заработка на поддержку семейного существования и уплату казенных податей. Нет! При настоящих условиях жизни работника невозможно удовлетворять самым необходимейшим потребностям человека. Пусть пока они умирают голодной, медленной смертью, а мы, скрепя сердце, будем смотреть на них до тех пор, пока освободим из-под ярма нашу усталую руку и свободно можем тогда протянуть ее для помощи другим.

Отчасти все это странно, все это непонятно, темно и отчасти как-то прискорбно, а, в особености, сидеть на скамье подсудимых человеку, который чуть ли не с самой колыбели, всю свою жизнь зарабатывал 17-часовым трудом кусок черного хлеба. Я несколько знаком с рабочим вопросом наших собратьев-западников. Они во многом не походят на русских: там не преследуют, как у нас, рабочих, которые все свои свободные минуты и много бессонных ночей проводят за чтением книг. Напротив, там этим гордятся, а о нас отзываются, как о народе рабском, полудиком. Да как иначе о нас отзываться? Разве у нас есть свободное время для каких-нибудь занятий? Разве у нас учат с малолетства чему-нибудь бедняка, разве у нас есть полезные, доступные книги для работников? Где и чему они могут научиться? А взгляните на русскую народную литературу. Ничего не может быть разительнее того примера, что у нас создаются для народного чтения такие книги, как «Бова-королевич», «Еруслан Лазаревич», «Ванька Каин», «Жених в чернилах и невеста во щах» и т. п. Оттого-то в нашем рабочем народе и сложились такие понятия о чтении: одно — забавное, а другое — божественное. Я думаю, каждому известно, что у нас в России рабочие все еще не избавлены от преследований за чтение книг; а в особенности, если у него увидят книгу, в которой говорится об его положении, — тогда уже держись. Ему прямо говорят: «ты, брат, не похож на рабочего, ты читаешь книги!» И страннее всего то, что иронии не заметно в этих словах, что в России походить на рабочего—то же, что походить на животное. Господа, неужели кто полагает что мы, работники, ко всему настолько глупы, настолько глухи, слепы, немы и глупы, что не слышим, как нас ругают дураками, лентяями и пьяницами? Что уж как будто и на самом деле работники заслуживают слыть в таких пороках? Неужели мы не видим, как вокруг нас все богатеют и веселятся за нашей спиной? Неужели мы не можем сообразить и понять, почему это мы так дешево ценимся и куда девается наш невыносимый труд? Отчего это другие роскошествуют не трудясь, и откуда берется ихнее богатство? Неужели мы, работники, не чувствуем, как тяжело повисла на нас так называемая всесословная воинская повинность? Неужели мы не знаем, как медленно и нехотя решался вопрос о введении сельских школ для образования крестьян, и не видим, как сумели это поставить? Неужели нам не больно и не грустно было читать в газетах высказанное мнение о найме рабочего класса? Те люди, которые такого мнения о рабочем народе, что он не чувствителен и ничего не понимает, — глубоко ошибаются. Рабочий народ, хотя и остается в первобытном положении, и до настоящего времени не получает никакого образования, смотрит на это, как на временное зло, как и на самую

правительственную власть, временно захваченную силой, и только для одного разнообразия ворочающего все с лица да наизнанку.

Да, больше ждать от нее нечего! Мы, рабочие, желали и ждали от правительства, что оно не будет делать тягостных для нас нововведений, не станет поддерживать рутины и обеспечит материально крестьянина, выведет его из первобытного положения и пойдет скорым шагом вперед. Но увы! Если оглянемся назад, то получаем полное разочарование, и если при этом вспомним незабвенный, предполагаемый день для русского народа, день, в который он с распростертыми руками, полный чувства радости и надежды обеспечить свою будущую судьбу,—благодарил царя и правительство. 19-го февраля... И что же? И это для нас было одной мечтой и сном!.. Эта крестьянская реформа 19-го февраля 61 г., реформа «дарованная», хотя и необходимая, но не вызванная самим народом, не обеспечивает самой необходимой потребности крестьянина. Мы по-прежнему остались без куска хлеба, с клочками никуда не годной земли и перешли в зависимость к капиталисту. Именно, если свидетель, приказчик фабрики Носовых, говорит, что у него за исключением праздничного дня все рабочие под строгим надзором, и неявившийся в назначенный срок на работу не остается безнаказанным, а окружающие ихнюю сотни подобных же фабрик, набитых подобным народом, живущих при таких же условиях, *значит — они все крепостные!* Если мы, к сожалению, нередко бываем вынуждены просить повышения пониженной самим капиталистом заработной платы, нас обвиняют в стачке и ссылают в Сибирь, *значит — мы крепостные!* Если мы со стороны самого капиталиста вынуждены оставить фабрику и требовать расчета вследствие перемены от доброты материала и притеснения от разных штрафов, нас обвиняют в составлении бунта и прикладом солдатского ружья приневоливают продолжать у него работу, а некоторых, как зачинщиков, ссылают в дальние края, *значит — мы крепостные!* Если из нас каждый отдельно не может подавать жалобу на капиталиста, и первый же встречный квартальный бьет нас в зубы, кулаком и пинками гонит вон, *значит — мы крепостные!*

Из всего мною вышесказанного видно, что русскому рабочему народу остается только надеяться самому на себя, и не от кого ждать помощи, кроме от одной нашей интеллигентной молодежи...

Председатель (вскакивает и кричит): «Молчите! Замолчите!» *Петр Алексеев, возвысив голос, продолжает:*

Она одна братски протянула к нам свою руку. Она одна откликнулась, подала свой голос на все слышанные крестьянские стоны крестьянской империи. Она одна до глубины души прочувствовала, что значит и отчего это отовсюду слышны крестьянские стоны. Она одна не может холодно смотреть на этого изнуренного, стонущего под ярмом деспотизма крестьянина. Она одна, как добрый друг, братски протянула к нам свою руку и от искреннего сердца желает выпустить нас из затягивающей пучины на благоприятный для всех стонущих путь. Она одна, не опуская руки, ведет нас, раскрывая все отрасли для выхода всех наших собратьев, из этой лукаво построенной ловушки, до тех пор, пока (говорит подняв руку) подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда...

Председатель волнуется и, вскочив, кричит: «Молчать! Молчать!»

Петр Алексеев (возвышая голос). ...и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!..

Петру Алексееву

Барству да маклачеству
Неужель потворствовать...
Не хотелось молодцу
Кланяться, холопствовать.
Не взлюбило пылкое
Сердце непокорное
Путь-дорожку битую,
Путь-дорожку торную.
Правду неподкопную,
Божий свет увидела
Голова удалая
И возненавидела
Долю подневольную...
Волюшку забитую,
Злобу окаянную,
Злобу ядовитую;
Вызвать в бой осмелилась
Гордо, без смущения,
Царскую опричнину,
Силу угнетения.
Эй же, и озлобились
Подлостью богатые,
Палачи народные,
Палачи проклятые.
Каменное, жесткое,
Сердце их гранитное
Ядом переполнилось,
Местью ненавистною.
Говорят удалому
Речи ненавистные:
«За свободомыслие
Чувства бескорыстные
Да за жизнь рабочую,
Трудную, да серую
Получи наградушку
Нашу полной мерою:
Ты слюбился с волюшкой,
Что с душой-девицею;
Так спознайся, молодец,
С душною темницею.

Не взлюбил ты горюшко,
Жизнь раба бездольную—
Так уж выпей, молодец,
Горя чашу полную.
Чтобы гребню частому
Не было работушки,
Этой непоклончивой
Сбреем полголовушки;
В звании кандальника,
Битого, голодного,
Ройся в адском темени
Рудника холодного;
Знай, землицу-матушку
Заступом покапывай,
Песни пой о волюшке,
Да цепьми побрякивай.
Думал ты, для родины
Цепи рабства пагубны,—
Так добудь железца нам,
Нам на цепи надобно.
А уж цепи выкуем,
Так на славу, тонкие,
Хоть тяжеловатые,
Да, как гусли, звонкие».
Голова удалая
Все ж не поклонилася,
Сердце молодецкое
Все ж не покорилося:
«Что ж, закуйте в цепь меня
И обрейте голову,
Но не сброшу с плеч своих
Я креста тяжелого;
Не бегу страдания, —
Сила в нем великая,—
Перед ним рассеется
Ваша злоба дикая;
На него помолится
Весь народ задавленный,
Славой увенчается
Вами обеславленный».

Вербовчанин.

Из стихотворения Н. А. Некрасова (к делу 50-ти)

Смолкли честные, доблестно павшие;
Смолкли их голоса одинокие,
За несчастный народ вопиявшие...
Но разнузданы страсти жестокие.
Вихорь злобы и бешенства носится
Над тобою, страна безответная.
Все живое, все честное косится...
Слышно только, о ночь безрассветная,
Среди мрака тобою разлитого,
Как враги, торжествуя, скликаются...
Так на труп великана убитого
Кровожадные птицы слетаются,
Ядовитые гады сползаются...

Из „Воспоминаний о деле 50-ти“

До этого процесса социалистов знала только молодежь. Что же касается до общества в массе, то оно совсем не знало, да и не интересовалось знать: ни что это за люди, ни каковы их цели и стремления. Оно смутно слышало о том, что этих людей хватают, держат, ссылают. Иногда оно, пожалуй, даже старчески-дрябло сочувствовало им, когда до него доходила весть либо о чьей-нибудь смерти или сумасшествии, либо о каком-нибудь из ряда вон выходящем зверстве, совершенном над одним из сидящих. Дальше не шли ни сведения, ни сочувствие к этим людям—в массе...

И вот разражается «процесс пятидесяти»: перед изумленной публикой—лучезарные фигуры девушек, которые с спокойным взором и с детски-безмятежной улыбкой на устах идут туда, откуда нет возврата, где нет места надежде,—идут в центральные тюрьмы, на многолетнюю каторгу. Она слышит чудную, точно благоухающую верой и любовью речь Бардиной. Слышит строго стройную речь Здановича, в которой из-под холодной и строгой оболочки мыслителя точно рвется наружу непоколебимое, страстное убеждение фанатика. Наконец, когда эта публика, пораженная, смущенная, не знает, что сказать, что подумать, над ней раздается могучее, громовое слово П. Алексеева—крестьянина, представителя самого народа, и слышится в нем точно голос той многоголосой, многоязычной массы, которая в недрах своих носит будущее,—неведомое, грозное, быть может, кровавое...

«Времена апостольские возвращаются», — в глубоком душевном умилении говорили одни, выходя из залы заседаний. «Новая сила народилась», — говорили другие...

С. Степняк (Кравчинский).

Речь Мышкина на процессе 193-х

Первоприсутствующий. Подсудимый Мышкин. Вы обвиняетесь в том, что принимали участие в противозаконном обществе, имевшем целью в более или менее отдаленном будущем ниспровержение и изменение порядка государственного устройства. Признаете ли вы себя виновным?

Мышкин. Я признаю себя членом не сообщества, а социально-революционной партии и прошу позволения об'яснить, в чем именно заключается преступление, которое я, по собственному моему сознанию, совершил против русских государственных законов.

Перв. Об'ясните!

Мышкин. Я не могу признать себя членом тайного сообщества, потому что я и товарищи мои, товарищи не только по заключению, но и по убеждениям, не представляем нечто обособленно-целое, связанное единством внешней общей для всех организации. Мы составляем лишь частицу многочисленной в настоящее время на Руси *социально-революционной партии,* понимая под этим словом всю массу лиц одинаковых с нами убеждений, одинаковых, конечно, только вообще, а не в частности, — лиц, между которыми хотя существует преимущественно только внутренняя связь, однако, связь достаточно реальная, обусловливаемая единством целей и бо́льшим или меньшим однообразием средств практической деятельности. *Основная задача социально-революционной партии*—установить на развалинах теперешнего государственно-буржуазного порядка такой общественный строй, который, удовлетворяя требованиям народа в том виде, как они выразились в крупных и мелких движениях народных и повсеместно присущи народному сознанию,—составляет вместе с тем справедливейшую форму общественной организации. Строй этот—земля, состоящая из союза независимых производительных общин. Осуществлен он может быть только путем социальной *революции,* потому что государственная власть преграждает все мирные пути для достижения этой цели и добровольно никогда не откажется от насильственно присвоенных ею себе прав. В этом нам ручается здесь ход истории. Возможно ли мечтать о мирном пути, когда власть не только не подчиняется голосу народа, но не хочет даже и выслушать этого голоса и за всякое стремление, несогласное с видами ее, награждает тюрьмой и каторгой? *Возможно ли мирное разрешение* социальных вопросов соответственно народным требованиям, когда народ не только для осуществления своих желаний, но даже и для выражения их не имеет другого средства, кроме бунта, этого единственного органа народной гласности? Едва ли эта мысль нуждается в подстрочном примечании.

Перв. Вы признали себя членом известной партии. Вы об'яснили, в чем заключается ваше стремление; затем препятствия, о которых вы говорите, не входят в круг обсуждения суда, поэтому я не вижу возможности, ни даже надобности для суда выслушивать все то, что вы говорите.

М. Весьма важно выяснить, почему мы смотрим на революцию, как на единственно возможный исход из настоящего положения.

П. То, что относится к вопросу о вашей виновности, вы уже достаточно выяснили; остальное вы можете сказать впоследствии.

М. Я полагаю, что для суда весьма важно знать, *как мы относимся к революции,* т.-е. предполагаем ли мы, что наша партия должна, во что бы то ни стало, немедленно вызвать, создать революцию или только позаботиться об успешном исходе ее; предполагается ли немедленное осуществление революции или в более или менее отдаленном будущем; от этого будет зависеть определение всей виновности.

П. Об этом вы можете говорить.

М. Я полагаю, что *ближайшая наша задача* заключается *не в том, чтобы вызвать, создать революцию, а в том, чтобы только гарантировать успешный исход ее,* потому что не нужно быть пророком, чтобы при нынешнем отчаянно-бедственном положении народа предвидеть, как неизбежный результат этого положения, *всеобщее народное восстание.* Ввиду неизбежности этого восстания, нужно только позаботиться, чтобы оно было возможно более продуктивно для народа, а главное—предостеречь его от всех фокусов, которыми западно-европейская буржуазия обманывала тамошнюю народную массу и одна извлекла для себя выгоды из народной крови, пролитой на баррикадах. Ради этой цели наша практическая деятельность должна состоять в *сплочении, в об'единении революционных сил, революционных стремлений, в слиянии двух главных революционных потоков:* одного, недавно возникшего и проявившего уже порядочную силу—в *среде интеллегенции,* и другого, более широкого, более глубокого, никогда не иссякавшего потока — *народно-революционного.* В этом об'единении революционных элементов путем окончательного сформирования социально-революционной партии и заключалась вся задача движения 74—75 г.г. Задача эта если не вполне, то в значительной степени выяснена, и знамя социальной революции водружено во всех концах русской земли. Прибавлю к этому, что в только что сказанных мною словах я указал лишь на центр нашей деятельности, и что в массе участвовавших в последнем движении были лица, стоящие на различных ступенях революционного развития, начиная с тех, кто делал первые шаги по пути уяснения причин народных страданий, и кончая отдельными личностями, делавшими попытки организации сил нашей партии. При всем различии взглядов по другим вопросам приверженцы социальной революции сходятся в одном: что революция может быть *совершена не иначе, как самим народом,* при сознании им, во имя чего она совершается; другими словами: настоящий государственный строй должен быть ниспровергнут только тогда, когда пожелает этого сам народ. Следовательно, если правительство солидарно с народом, оно не может считать нас злоумышленниками. Можно ли указывать, как на заговорщиков и бунтовщиков — на тех, кто говорит: «Мы будем ходатайствовать перед народом об удовлетворении настоятельнейших нужд страны, нужд, сознаваемых самим народом; мы предлагаем для этого свою посильную помощь, и да будет все так, как пожелает народ». Ведь в нашем распоряжении нет ни тюрем, ни военных команд, ни больших промышленных предприятий, закабаляющих тысячи рабочего люда. Следовательно, мы не имеем никаких средств насиловать народную волю

в пользу излюбленных нами идей. Мы можем действовать только убеждениями. Все средства насилия находятся в распоряжении и действительно практикуются нашими противниками. Если же, несмотря на крайне неблагоприятные для нас условия, правительство все-таки имеет серьезные основания опасаться, что наша деятельность увенчается успехом, то, значит, мы не ошибаемся, рассчитывая на сочувствие народа нашим идеям, но в таком случае мы не преступники, не злоумышленники, а лишь выразители потребностей, сознанных народом.

Об'яснив в кратких словах цель и средства социально-революционной партии, я перехожу к следующему, не менее важному вопросу, о *причинах возникновения и развития этой партии* вообще и *движения* 1874 г. в частности. В обвинительном акте все дело представлено таким образом, что были-де на Руси обломки прежних политических сообществ, была еще русская эмиграция в Швейцарии, явилось несколько энергичных личностей и по слову: «Да будет революционное движение на Руси»!—создалось такое по всему лицу земли русской. А так как обломки преступных сообществ и эмиграция давно существовали и всегда будут существовать до окончания нынешнего государственного строя, то оказывается, что движение, подобное нынешнему, было вызвано и всегда может быть вызвано по произволу 3—4 лицами. Конечно ни один мыслящий человек, сколько-нибудь понимающий причины социальных явлений, не удовлетворится подобным прокурорским об'яснением. Для крупного социального явления должны быть *крупные социальные причины.* Нужно особенное недомыслие или особенная недобросовестность, чтобы называть искусственно созданными революционные движения в среде интеллигенции.

П. Прошу не употреблять подобных выражений.

М. Я говорю только, что движения эти *не созданы искусственно.* Изучая их, мы прежде всего замечаем тот знаменательный факт, что *все движения в интеллигенции соответствуют параллельным движениям в народе,* и даже являются *простыми отголосками последней;* так что движение народа и интеллигенции представляют как бы два параллельных потока, стремящихся слиться в общее русло, уничтожив разделяющую их вековую плотину; плотина эта — рознь между интеллигенцией и народом, которая сложилась вследствие вековой отчужденности друг от друга. Первое движение интеллигенции *в начале 60-х годов* было отголоском того сильного народного волнения, которое было во время крестьянской реформы, вследствие того, что народ не удовлетворялся этим мнимым своим освобождением. Это движение положило фундамент социально-революционной партии. Затем, ко времени исполнения десятилетия крестьянской реформы, в народе стали ходить настойчивые слухи об уменьшении и даже об уничтожении выкупных платежей. Слухи эти, хотя не вызывали массы бунтов, как в 60-х годах, но все-таки *поддерживали волнения в народе,* и отголоском на это волнение явилось движение интеллигенции, завершившееся так называемым Нечаевским процессом. Наконец, в наши дни обеднение народа, истощаемого непомерными платежами и поборами, дошло до того, что нужно быть совершенно глухим, чтобы не слышать громкого ропота народа. Этот ропот и вызвал движение 73 — 75 г.г., которое было последним фазисом

развития социально-революционной партии. Эта только что указанная, несомненно существующая связь между революционными движениями в интеллигенции и в народе легко может ускользать от внимания общества, по той простой причине, что благодаря известной, практикуемой в России системе гласности, до сведения нашего общества доводится преимущественно только о разных мелочах. О более же крупных фактах народной жизни систематически умалчивается или не менее систематически извращается. Например, о крестьянских бунтах, бывших в 60-х годах, общество наше знает только по слухам.

П. Особое Присутствие вовсе не нуждается в примерах.

М. Если, высказанный мною взгляд о системе русской гласности представляется для особого Присутствия несомненной истиной, не нуждающейся в доказательствах, то я охотно готов воздержаться от примеров, которые подтвердили бы мою мысль.

П. Для суда это не составляет истины. Суд сумеет сам различить, что—истина; от него зависит придать мнению подсудимого то или другое значение.

М. Я это очень хорошо знаю и желаю только полнее выяснить тот весьма важный вопрос, что *движения интеллигенции не созданы искусственно,* а составляют только *отголосок народных волнений.* Общество наше в настоящее время знает только, что был суд, и происходит суд над несколькими представителями революционного движения в среде интеллигенции, и ему может показаться, что это движение не имеет под собою твердой почвы, не имеет твердой связи с народом, потому что от общества скрыты другие, более резкие проявления революционного духа в самом народе, между тем в самих проявлениях в 73 — 75 г.г. недостатка не было. Не говоря уже о волнениях между *уральскими казаками,* о которых наше общество имеет очень скудные сведения, во многих других местах приходилось прибегать к помощи военных команд для усмирения народа; несколько татарских волостей в Пермской губернии, раскольники на уральских заводах, крестьяне в Казанской губернии, Воронежской и Киевской...

П. Вы опять приводите примеры, в которых, как я уже сказал, не нуждается Особое Присутствие; да они и не могут быть подтверждены на следствии.

М. Иначе мои заявления будут голословны.

П. Вы входили в вашей речи в очень подробный разбор. Я вам сделал вопрос о том, *признаете ли вы себя виновным* в принадлежности к противозаконному обществу, указанному в обвинительном акте; вы себя признали принадлежащим к другому незаконному обществу, какому — вы сказали. Затем я не вижу, что может еще остаться для выслушания суду по этому вопросу.

М. Г. председательствующий. Я хотел только выяснить, *что причина нашего преступления есть народные движения,* которые были в последнее время, что эти движения существуют и что наше движение есть не более, как отголосок этих движений.

П. Ваши мнения ни в коем случае не могут служить для суда доказательством или таким фактом, который он должен был бы принять за несомненный вывод из того, что вы говорите. Если желаете, то го-

ворите так, *чтобы ваша речь* в настоящее время не имела *защитительного характера,* потому что до этого еще не дошло дело. Говорите так, чтобы суд мог себе уяснить, *признаете ли вы себя виновным* в том преступлении, в котором обвиняетесь, и *что вас побудило* к этому преступлению, но не касайтесь таких фактов, которые не могут подлежать обсуждению суда.

М. Если я говорю, что меня побудило к этому невыносимое положение народа, то я должен *привести примеры*...

П. Это совершенно *излишне*. Вы сослались на тяжелое положение народа и продолжайте дальше.

М. Я думаю, я имею право *доказывать правильность моих выводов!* Разумеется, суд может относиться к моим мнениям, как ему угодно, но для чего же не дать мне высказать причины, побудившей меня, для чего зажимать мне рот...

П. Вам никто не зажимает рот. На основании закона я обязан допустить *прения и доказательства только против того, что пред'явлено в обвинении*, поэтому я не могу дозволить вам говорить о том, что не подлежит нашему обсуждению. Я вам не препятствую продолжать речь, но прошу ограничиваться только выводами, которые вы признаете нужным сказать суду.

М. Г. Первоприсутствующий! Я хотел привести эти примеры только для того, чтобы *выяснить следующее:* мы видим теперь, что в числе моих товарищей—девушка, намеревающаяся читать крестьянам лекции по социальным вопросам; юноша, давший книгу крестьянскому мальчику; несколько человек, рассуждавших о причинах народных страданий и высказавших такое мнение, что не худо бы, пожалуй, народное восстание; все они привлечены к суду как тяжкие преступники. А лица, открыто возмутившиеся против государственной власти и усмиренные только при помощи штыков и розог, ссылаются административным порядком. Как *будто бы у нас говорить о бунте гораздо преступнее, чем участвовать в самом бунте.* Этот абсурд очень понятен: представители другой, более страшной для правительства силы, силы народной, могли бы сказать на суде нечто более полновесное, более неприятное, для государственной власти и более поучительное для общества, чем мы. Поэтому-то им зажимают рот и не дают им возможности сказать свое слово перед обществом. Кроме бунтов, есть еще и другие, не менее значительные факты, доказывающие усиление в последнее время революционных стремлений в народе, как например, *распространение революционных сект,* где отрицание государственной власти возводится в догмат, источник этой власти именуется антихристом, а представители этой власти — слугами антихриста; образование в крестьянской среде обществ с специальной целью *уклонения от платежа повинностей* без всякой религиозной основы, *исчезновение целых деревень* по той же причине, т.-е. как результат стремления избавиться от невыносимых поборов...

П. Эти об'яснения не относятся к вопросу о виновности, который я предложил вам. Я позволил вам говорить, потому что вы признали себя виновным в принадлежности хотя и не к тому сообществу, в котором обвиняет прокуратура, но к другому или к партии...

М. Я не сказал, что признаю себя виновным, и не мог сказать этого, потому что, напротив, считал и считаю своею *обязанностью,* долгом чести стоять в рядах социально-революционной партии.

П. Ну, да, вы признали себя членом партии и достаточно уже раз'яснили свое преступление. Все остальное, что вы желали бы сказать, вы можете изложить впоследствии.

М. Но для *суда* необходимо еще знать *причины,* вызвавшие *данное преступление.* Об этих-то причинах я и желал бы сказать еще несколько слов. *Возникновение социально-революционной партии* относится к началу 60-х годов. Оно совершилось, как отголосок на народные страдания и народные волнения, при участии известной фракции русской интеллигенции, благодаря, главным образом, двум причинам: во-первых, влиянию на интеллигенцию передовой западно-европейской, социалистической мысли и крупнейшего практического применения этой мысли— образования международного общества; во-вторых, уничтожению крепостного права, потому что после крестьянской реформы в среде неподатных классов образовалась целая фракция, испытавшая на самой себе всю силу гнета государственного экономического строя, готовая откликнуться на зов народа и послужившая ядром социально-революционной пратии. Фракция эта — *умственный* пролетариат. Кроме того, *крестьянская реформа оказала три важные услуги социально-революционному делу:* 1) с 19 февраля 1861 г. начинается *развитие капиталистического производства* с его неизбежным спутником — борьбою между капиталом и трудом; 2) крестьянская реформа, между другими реформами, послужила для нас *наглядным доказательством истины,* которая прежде была нам известна только из книг и по чужому опыту, доказательством *пелной несостоятельности политических реформ,* в деле коренного улучшения народного быта. С каким восторгом, с каким ликованьем приветствовало русское либеральное общество так называемые великие реформы нынешнего царствования, и что же мы видим в результате! Народ доведен до отчаянно бедственного положения, до небывалых хронических голодовок, и не нужно особого политического радикализма, чтобы усомниться в благодетельности всех этих реформ для народной массы; 3) крестьянин, освобожденный от помещика, стал лицом к лицу с представителями губернской власти, увидел, что ему нечего надеяться на эту власть, нечего ждать от нее, увидел, что он *жестоко обманывался, веря в царскую правду,* ища в ней опору против своих врагов...

Первоприс. Вы достаточне уже выяснили свою мысль...

Мышкин. Я хочу только сказать, что крестьянам не трудно было убедиться, что превозносимая, препрославленная крестьянская реформа сводится к одному: к переводу более 20-ти миллионов крестьянского населения из разряда помещичьих холопов в разряд государственных или, вернее сказать, чиновничьих рабов. Как прежде крестьянин работал всю жизнь на помещика, так и теперь весь его труд идет в казну. Как прежде помещик был полным властелином жизни и собственности крестьянина, так теперь чиновник...

Первопр. Вы говорите о том, как крестьяне относятся к реформам и к правительству: вы не можете говорить об этом здесь за крестьян...

Мышк. Мне необходимо выяснить эту сторону вопроса, в особенности, потому, что только тогда суд поймет, почему я — сын крепостной крестьянки и солдата, — видевший собственными глазами уничтожение крепостного права, не только не благословляю правительство, совершившее эту реформу, но стою в рядах от'явленных врагов его. *Когда крестьяне увидали*, что их наделяют песками да болотами, да такими клочками земли, на которых немыслимо ведение хозяйства, сколько-нибудь обеспечивающее быт земледельца, а между тем за эти клочки наложили громаднейшие платежи, превышающие в несколько раз доходность наделов; когда крестьяне увидели, что это новое нарушение права народа на землю совершается не по произволу помещиков, а *с утверждения верховной власти;* что в положении 19 февраля нет той статьи, присутствие которой они предполагали, которая должна была охранять народные интересы и скрыта будто бы духовенством и помещиками; когда они увидели все это, то не могли не убедиться, что им не *на кого более надеяться, как на свои собственные силы.* Рядом с этим крестьяне, превратившиеся в орудие капиталистического производства, поняли всю прелесть так называемого свободного договора между голодным тружеником и сытым капиталистом, поняли также, что капиталист угнетает рабочего не только вследствие экономической несостоятельности последнего, но еще благодаря тому, что в спорах между капиталистом и рабочим правительство всегда становится на сторону первого, — поняли это и не могли не отнестись с еще большею ненавистью к угнетающей их государственной власти...

Пред. Я не могу дозволить вам порицать правительство.

Мышк. Человек, совершающий политическое преступление, самим этим фактом порицает уже правительство. Я не могу вовсе раз'яснить моего преступления, и в особенности, причин его, не касаясь таких сторон государственной жизни, которые с моей точки зрения заслуживают порицания. Если мое мнение ошибочно, то оно повредит только мне. А если в нем есть правда, то тем менее оснований зажимать мне рот.

Первопр. Я не зажимаю вам рот, я говорю только, что не могу допустить порицать правительство.

Мышк. Мне необходимо указать те элементы, *из которых социально-революционная партия почерпает свои силы.* Я сейчас кончу это перечисление. После земледельцев и фабричных рабочих *умственный пролетариат,* как по своему экономическому положению, так и по своим знаниям, извлеченным из исторического опыта нашего и других народов, не мог не стать в ряды врагов государственности. Наконец, в эти же ряды стали из других классов общества личности, которые по самой натуре своей способны действовать только во имя известного, выработанного ими идеала, а не для узких экономических целей. Вот те элементы, из которых почерпала и до сих пор почерпает свои силы социально-революционная партия. Прочным элементом, скреплявшим все революционные элементы, служит крайне *бедственное положение народа* и совершенное *бесправие российских граждан.* Что народ находится в очень бедственном положении...

Первоприс. Вы об этом уже говорили, и нельзя возвращаться опять.

Мышкин. Я не могу не говорить подробно об этом вопросе, потому что *источник всех революциенных движений—чрезвычайные страдания народа и недовольство его своим положением.* Притом в обвинительном акте почти на каждой странице можно найти указания, что подсудимые напирали, главным образом, на тяжесть податей, на недостаток земли, на общее обеднение крестьян. Поэтому нет ничего удивительного, что мне часто приходится возвращаться к этому предмету, тем более, что вследствие перерывов, которым я подвергался со стороны г. первоприсутствующего, я не могу излагать свои соображения вполне последовательно, систематично. Повторяю, я считаю этот вопрос самым существенным, и потому мне необходимо сказать о нем еще несколько слов...

Первоприс. Вы извольте теперь вести вашу речь к тому, *признаете ли вы себя виновным или нет.*

Мышкин. Я уже сказал, что признаю себя членом социально-революционной партии. В мой речи я хотел выяснить те причины, которые повлекли за собой создание этой партии.

Первоприс. Вы уже сказали о причинах, нам больше нечего знать.

Мышкин. В таком случае я не могу окончить того, что я хотел еще сказать по *главному вопросу.* Перехожу *к другим, более частным.* Из обвинительного акта видно, что, по уверению прокурора, сообщество, в принадлежности к которому я обвиняюсь, поставило целью своей деятельности *борьбу против религии, собственности, семьи и науки,* возводило *леность и невежество* на степень идеала и сулило в виде ближайшего осуществления благ, *житье на чужой счет.* Если бы действительно, подтвердилось, что другие подсудимые задавались подобными целями, то я руками и ногами открестился бы от солидарности с ними, и чтобы очистить себя от подобных обвинений, я выскажу свой взгляд на задачу соц.-рев. партии по отношению к только что перечисленным мною вопросам. Начну с *религии.* В идеале общественного строя, стремиться к осуществлению которого я поставил целью своей деятельности, нет места уголовным наказаниям за распространение каких бы то ни было зловредных, в том числе и религиозных идей, за совращение в ереси, за исполнение или неисполнение обрядов, предписанных такою-то церковью, и т. п. Словом, нет места насилию над мыслью и совестью человека; каждый может верить или не верить во что ему угодно; каждая община, если только пожелает, будет иметь право строить у себя, на свой собственный счет, сколько угодно церквей и содержать сколько угодно попов. Никто помешать этому не может, ибо община вполне самостоятельная, вполне независимая устроительница своих дел. Согласно нашему идеалу, не должно быть такой власти, которая принуждала бы под страхом наказания лгать, лицемерить.

Первоприс. Вас и теперь никто не принуждает лгать, лицемерить. Прошу воздержаться от подобных инсинуаций.

Мышкин. По вашим законам я под страхом уголовного наказания не могу перейти из православия в другое вероисповедание, следовательно, закон принуждает меня лицемерить.

Первоприс. Вы не можете порицать законов, и вообще, каковы бы ни были законы, они не подлежат нашему обсуждению.

Мышкин. Я констатирую только известный факт. Я говорю, что в желанном нам строе не должно быть такой силы, которая заставляла бы людей насильно, под конвоем жандармов шествовать в христианский или иной рай.

Первоприс. (возвышая голос). Я не могу дозволить таких выражений.

Мышкин. Словом, по отношению к религии я желаю одного — полнейшей веротерпимости, и глубоко убежден, что свобода слова в соединении с правильным воспитанием и образованием непременно приведут к торжеству истины, т.-е. к торжеству научной мысли над мыслью теологической, и тогда...

Первоприс. Нам нет дела до ваших убеждений.

Мышкин. А за что же я сижу, как не за убеждения?

Первоприс. Не за убеждения, а за действия.

Мышкин. За действия, которые служат только выражением моих убеждений. Перехожу к другому обвинению, возводимому на всех нас прокуратурой, в том, что мы возводили невежество на степень идеала. Это очевидная клевета, и мне не стоит ни малейшего труда опровергнуть ее. Приведу хоть одно соображение. Кого скорее можно считать ревнителем невежества: тех ли, кто с риском для себя, печатает и распространяет хоть бы такие книги, как сочинения Лассаля, или тех, кто преследует, истребляет подобные книги?

Первоприс. Вы произносите защитительную речь, для которой теперь не время.

Мышкин. Я хочу только возразить на те обвинения, которые возведены прокурором на всех подсудимых огулом, а в том числе и на меня.

Первоприс. Это вы успеете сделать в свое время, а не теперь.

Мышкин. Я прошу указать мне момент, когда я буду иметь право говорить об этом.

Первоприс. Я не обязан указывать; это будет зависеть от усмотрения суда.

(Затем первоприс. обращается к Мышкину с вопросом, признает ли он себя *виновным в том,* что составлял, печатал и рассылал в разные местности сочинения, возбуждающие к бунту или другому неповиновению власти верховной, с целью распространения их)?

Мышкин. Я признаю, что в качестве содержателя типографии, я считал своею *обязанностью* по мере сил своих, *содействовать печатанию книг,* запрещенных правительством, и прошу позволения теперь же *об'яснить причины,* побудившие меня к этому. Мысль о необходимости печатания книг антиправительственного содержания созревала во мне постепенно, и я решился, наконец, осуществить ее только тогда, когда окончательно убедился, что у нас на Руси печать находится в безотрадном положении, вовсе не соответствующем, потребностям как современного образованного общества, так и в особенности потребностям народа; когда я убедился, что у нас каждый правдивый, неподкрашенный рассказ из жизни трудящегося люда, каждая честно

написанная книга, об'ясняющая действительные причины народных страданий, каждая дельная статья, указывающая страшные язвы на русском государственном и общественном организме, — все это беспощадно преследуется, истребляется, сожигается...

Первоприс. Вы произносите защитительную речь.

Мышкин. Могу ли я говорить о причинах преступления?

Первоприс. Об этом вы можете говорить после... Затем... — смотрит в обвинительный акт... — Вы обвиняетесь еще в том...

Мышкин. Я не буду отвечать ни на какие ваши вопросы прежде, чем успею дать необходимые раз'яснения по первым двум обвинениям.

Первоприс. Так садитесь. (Мышкин сел. Затем был допрошен свидетель Гольдман.)

Мышкин. Хотя я на основании 729 ст. уст. уг. судопроизводства имею право требовать, чтобы мне было сообщено обо всем бывшем на суде по первым 11-ти группам, но так как я уверен, что подобное требование, несмотря на всю его законность, не будет уважено, то я считаю излишним обращаться с ним к суду, но я прошу, по крайней мере, *сообщить мне о тех, наболее важных частях судебного следствия,* которые имеют непосредственное отношение ко мне, как к одному из членов предполагаемого сообщества. Например, все подсудимые, следовательно, в том числе и я, обвиняются *в готовности к совершению всяких преступлений ради приобретения денег.* Я желаю знать, подтвердило ли судебное следствие те факты, на основании которых прокурор создал это обвинение? Так, *подтвердило ли следствие,* что некоторые подсудимые «предлагали Идалии Польгейм сделаться любовницей какого-то старика, курского помещика, с тем, чтобы обобрать его, отравить, а деньги предоставить на пользу кружка»? Если я получу ответ на этот вопрос, то затем укажу еще на несколько подобных же мест обвинительного акта, относительно которых мне необходимо знать, подтверждены ли они судебным следствием.

Первоприс. Во время всего следствия по первым 11-ти группам ваше имя ни разу не упоминалось; следовательно, оно вовсе не относится до вас.

Мышкин. До меня относятся все те факты, на которых построены общие прокурорские выводы: например, я уже указал на обвинение в готовности совершить преступления ради денег. Так как в обвинительном акте не сказано, что оно относится до таких-то лиц, а возводится вообще на всех, то очевидно, что сделано это только вследствие предположения солидарности между всеми нами, поэтому каждый из нас имеет право знать все те части следствия, которые относятся до подобных общих обвинений. На требовании об'яснения, подтвердило ли судебное следствие, как упомянутый мною факт, так и другие подобные же факты, я настаиваю, потому что, как известно частным образом, уже доказана судебным следствием лживость их, а следовательно, и лживость прокурорских выводов.

Первоприс. (возвысив голос). Прошу не употреблять подобных оскорбительных выражений.

Мышкин. Для выяснения вопроса о праве моем на получение требуемых мною сведений, я желаю, чтобы прокурор об'яснил, отно-

сится ли обвинение в готовности на всякие преступления, в числе прочих подсудимых, и ко мне, или нет?

Первоприс. Подобного об'яснения прокурор теперь не может дать. Когда вы услышите обвинительную речь, тогда и представите свои соображения.

Мышкин. Но, не располагая данными всего следствия, я лишен буду возможности опровергнуть общие прокурорские выводы, хотя бы они были совершенно несостоятельными.

Первоприс. Вы будете слышать следствие по этой группе и узнаете все, что относится до вас.

Мышкин. Но я не узнаю ничего, относящегося до тех обвинений, о которых я упомянул, и которые возводятся вообще на всех подсудимых.

Первоприс. Вы еще не знаете, что будет выяснено здесь на судебном следствии.

Мышкин. Обвинение меня в принадлежности к сообществу основано не на какой-либо определенной группе свидетельских показаний, в обвинительном акте вовсе не указаны даже улики, изобличающие меня в этом преступлении; значит, обвинение это основано исключительно на предположении нравственной связи между всеми подсудимыми — предположении, извлеченном, вероятно, прокурором из всего следственного производства. Поэтому и я, как сторона равноправная по закону с прокурором, имею право на ознакомление со всеми данными, подтверждающими, по мнению прокурора, связь между нами, и в особенности с теми данными, на которых, повторяю, основано обвинение всех нас огулом в различных преступлениях.

Первоприс. Еще раз говорю, что, находя следствие по предыдущим группам не относящимся до вас, не считаю нужным сообщить вам о нем.

Мышкин. В таком случае, я желаю теперь *возразить на некоторые из прокурорских обвинений.* Так, между прочим, в обвинительном акте сказано, что мы смотрим на *науку,* как на средство эксплоатировать народ, и склоняем учащуюся молодежь покидать школы. Я открыто признаю, что принадлежу к числу тех, которые не видят для революционера необходимости оканчивать курс в государственных школах. Так как этот взгляд навлек уже на нас немало нареканий со стороны известной части общества, то я считаю необходимым об'яснить, путем каких соображений я пришел к этому взгляду. Я предположил, что если бы Россия в настоящее время находилась под татарским игом, и во всех больших городах, на деньги, собранные в виде дани с русского народа существовали бы школы под ведением татарских баскаков, и в этих школах читались бы лекции о великих добродетелях татарских ханов, об их блестящих военных подвигах, об историческом праве татар господствовать над русским народом и собирать с него дань...

Первоприс. Этот пример не идет к делу.

Мышкин. Г. первоприсутствующий, я обладаю таким складом ума, что могу усваивать известное положение и доказывать справедливость его только путем аналогий, сравнений. Поэтому прошу позволить мне окончить начатое сравнение, как вполне уясняющее мою

мысль. Итак, если бы в предполагаемых мною школах, история излагалась таким образом, чтобы доказать неспособность русского народа к самостоятельной жизни, и все обучение было бы направлено лишь к тому, чтобы создать из русских юношей верных, покорных слуг татарских ханов, то, спрашивается — была ли бы необходимость оканчивать курс в подобных школах для той части русской молодежи, которая желала бы посвятить все свои силы делу воодушевления русского народа к дружной, единодушной борьбе против от'явленных врагов его? — Конечно, нет. Точно так же я думаю, что и в настоящее время нет надобности для революционера в окончании курса в существующих государственных школах, потому что... удерживаюсь от окончания этой фразы из опасения быть остановленным господином первоприсутствующим.

Затем, в обвинительном акте говорится, что сущность революционного учения заключается в том, что *«лишение ближнего его собственности и уничтожение власти,* которая ему препятствует, есть формула осуществления, если не всеобщего, то нашего личного (пропагандистов) блага на земле». Я, признаюсь, не знаком с таким революционным учением. Учение, которого я придерживаюсь, гласит, напротив, что обеспечение трудящемуся человеку права полного пользования продуктом его труда и уничтожение власти, которая ему препятствует, безусловно, необходимы для осуществления на земле блага трудящихся классов. Можно ли серьезно называть охранительницею собственности ту самую государственную власть, которая насильственно присваивает себе право налагать на народ какую угодно контрибуцию, взыскивать эту произвольно наложенную дань при помощи военных команд, отнимать последний кусок хлеба у крестьян...

Первоприсутствующий прерывает Мышкина и между ними завязывается спор, подобный приведенному выше: *первоприсутствующий кричит,* что не может допустить порицания правительства, а *Мышкин* доказывает право политического преступника на выражение такого порицания, потому что иначе причина преступления не может быть выяснена.—Только недовольство правительством,—говорит он,—и вообще существующим строем, создает революционеров.—Кончается тем, что Мышкин принужден был отказаться от разбора наиболее существенных общих прокурорских выводов, изложенных на первых страницах обвинительного акта. *«Значит»,* — прибавил Мышкин, — «прокурор может говорить и писать, что ему угодно, а мы все должны молчать»; затем он продолжал:

Перехожу к другому предмету. Прошу заявить о тех *незаконных, насильственных мерах,* которые были приняты против меня во время предварительного ареста. После первого же допроса, я, за нежелание отвечать на некоторые из предложенных мне вопросов, был закован сначала в ножные *кандалы,* а спустя некоторое время еще в наручники. Одновременно с этим я *был лишен права пользоваться не только чаем, но даже просто кипяченою водою.*

Первоприс. Ваше заявление совершенно голословно.

Мышкин. О заковке в кандалы имеется протокол в деле. До какой мелочности доходит мстительность властей по отношению к политиче-

скому преступнику, в котором они видят своего личного врага, лучше всего доказывает следующий, правда, мелкий, но очень характерный факт. Когда я унизился до ничтожной просьбы о дозволении носить под кандалами чулки, потому что на ногах образовались язвы от кандалов, то даже на эту ничтожную просьбу я получил отказ. Затем во все время содержания меня под стражею мне ни разу не позволили повидаться с матерью.

Первоприс. Суд не может проверить ваши показания, как совершенно голословные.

Мышкин. Я обращался в Особое Присутствие с просьбою об истребовании, откуда следует, справок об обстоятельствах, сопровождавших заковку меня в кандалы, но Особое Присутствие не нашло мою просьбу заслуживающей уважения. Что же касается до запрещения мне видеться с матерью, то проверить эти слова очень легко, — стоит только спросить у Желиховского мое прошение по этому предмету и его ответ.

Первоприс. Действия прокуратуры не подлежат рассмотрению суда; она имеет свое начальство. Особое Присутствие не может входить в рассмотрение подобных обстоятельств.

Мышкин. Насильственные меры, подобно указанным мною, не могут не оказать влияния на характер об'яснений подсудимого, а следовательно, и на то представление, которое составляют о нем предварительно судьи; поэтому...

Первоприс. Вы не можете знать, какое мнение мы имеем о вас.

Мышкин. Но я думаю, что это представление основывается, главным образом, на документах предварительного следствия, и потому для судей не лишнее знать, какие пытки пускаются в ход с целью вымучивания от подсудимых желаемых для властей показаний, хотя нередко безуспешно.

Первоприс. Эти меры были приняты против вас на дознании; Особому Присутствию не подлежит рассмотрение действий лиц, принимавших эти меры.

Мышкин. Итак, нас могут пытать, мучить, а мы не только не можем искать правды, — конечно, я не настолько наивен, чтобы ожидать правды от суда и различных властей, но нас лишают даже возможности довести до сведения общества, что на Руси обращаются с политическими преступниками хуже, чем турки с христианами.

Первоприс. О каких таких пытках говорите вы?

Мышкин. Да, я смело могу сказать, что нас подвергают пыткам. Я указал на кандалы, но это пустяки в сравнении с другими мерами, которые принимались для вымучивания от нас показаний. Например, я в течение нескольких месяцев лишен был права чтения каких бы то ни было книг, даже духовного содержания, даже евангелия, и жандармский офицер откровенно говорил мне, что, как только я дам требуемые показания относительно предполагавшихся моих соучастников, то мне немедленно позволят иметь книги, журналы, газеты.

Первоприс. Ваше заявление опять голословное.

Мышкин. Я подавал несколько жалоб на это беззаконие, но они почему-то не приложены к делу, а спрятаны под зеленою сукно. Сидеть в одиночном заключении безо всяких книг—это очень тяжелая, очень

сильная пытка. В виду таких мер, можно ли удивляться, что в нашей среде оказался такой громадный процент смертности и сумасшествия. Да, многие, очень многие из наших товарищей сошли в могилу, не дождавшись суда.

Первоприс. Теперь не время и не зачем заявлять об этом.

Мышкин. Неужели мы ценою продолжительной каторги, которая ждет нас, не купили себе даже права заявить на суде о тех насилиях физических и нравственных, которым подвергали нас? На каждом слове об этом нам зажимают рот.

Первоприс. Тем не менее, вы высказали все, что хотели.

Мышкин. Нет, это еще не все, а если позволите, я кончу.

Первоприс. Нет, теперь этого не могу дозволить.

Мышкин. В таком случае, после всех многочисленных перерывов, которых я удостоился со стороны первоприсутствующего, мне остается сделать *одно,* вероятно, *последнее заявление.* Теперь я окончательно убедился в справедливости мнения моих товарищей, заранее отказавшихся от всяких об'яснений на суде, того мнения, что, несмотря на отсутствие гласности, нам не дадут возможности выяснить истинный характер дела. Теперь для всех очевидно, что здесь не может раздаваться правдивая речь, что здесь на каждом откровенном слове зажимают рот подсудимому. Теперь я могу, я имею право сказать, что *это не суд,* а простая комедия, или нечто худшее, более отвратительное, позорное, более позорное...

При словах «пустая комедия» Петерс закричал: «уведите его». Жандармский офицер бросился на Мышкина, но подсудимый Рабинович, загородив собою дорогу и придерживая дверцу, ведущую на «голгофу», не допускал офицера; последний после нескольких усилий оттолкнул Рабиновича и другого подсудимого Стопанс, старавшегося также остановить его, и, обхвативши одною рукою самого Мышкина, чтобы вывести его, другою стал зажимать ему рот.

Последнее, однако же, не удалось. *Мышкин* продолжал все громче и громче начатую им фразу: «...Более позорное, чем дом терпимости; там женщины из нужды торгуют своим телом, а здесь сенаторы из-за подлости, из холопства, из-за чинов и крупных окладов торгуют всем, что есть наиболее дорогого для человечества!»

Когда *Мышкин* говорил это, на помощь офицеру бросилось еще несколько жандармов, и завязалась *борьба.* Жандармы смяли Рабиновича, преграждавшего им *дорогу,* схватили Мышкина и потащили его из зала. Подсудимый *Стопанс* приблизился к решетке, отделяющей его от судей и громко закричал: «Это не суд! Мерзавцы! Я вас презираю, негодяи, холопы!» — Жандарм схватил его за грудь, потом толкнул в шею, другие подхватили и потащили. То же последовало и с *Рабиновичем.* Эта сцена безобразного насилия вызвала громкие крики негодования со стороны подсудимых и публики. Публика инстинктивно вскочила со своих мест. Страшный шум заглушил конец фразы Мышкина. Вообще, во время этой башибузукской расправы с подсудимыми в зале господствовало величайшее смятение. Несколько женщин из числа подсудимых и публики упало в обморок, с одной случился истерический припадок. Раздавались стоны, истерический хохот, крики:

«Боже мой, что это делают! Варвары, бьют, колют подсудимых. Палачи, живодеры проклятые!» Защитники, пристава, публика, жандармы — все это задвигалось, заволновалось. Так как публика не обнаружила особой готовности очистить залу, то явилось множество полицейских, и под их напором публика была выпровождена из зала суда. Часть защитников старалась привести в чувство женщин, упавших в обморок. Рассказывают, что туда же сунулся жандармский офицер. — «Что вам нужно?» — спрашивает его один из защитников. — «Может быть, понадобятся мои услуги». — «Уйдите, пожалуйста, разве вы не видите, что один ваш вид приводит в бешенство?»—ответил адвокат; офицер махнул рукой и ушел, последовав умному совету. Во время расправы, прокурор и секретать вскочили со своих мест и, видимо смущенные, оставались все время на ногах. Превоприсутствующий ушел и, растерявшись, забыл об'явить заседание закрытым. Пристав от его имени об'явил заседание закрытым. Говорят, будто защитники возразили, что им нужно слышать это из уст самого председателя. Поэтому они были приглашены в особую комнату, где первоприсутствующий об'явил им о закрытии заседания. Защитники требовали составления протокола о кулачной расправе, но первоприсутствующий не счел нужным удовлетворить их просьбу и даже упрекнул адвокатов в подстрекательстве. Желиховский воскликнул по этому поводу: «Это чистая революция!».

В. Г. Короленко о процессе 193-х

(Отрывок из «Истории моего современника»)

Панихида по Сидорацком

Большой процесс (так называли иначе процесс 193-х) не только не ослабил движения в народ, но на некоторое время даже усилил его. Это естественно: его прямые совершенно отрицательные результаты и их уроки не могли обсуждаться широко и свободно, а события самого процесса окружили участников ореолом. Наш тесный петербургский кружок разделял это настроение, и мы с братом, а также Григорьев решили устроить свою дальнейшую жизнь по новому. Григорьев был свободен от семейных обязанностей, для нас с младшим братом задача сильно усложнялась. Мы были «лавристы» и смотрели на «хождение в народ» не как на революционную экскурсию с временными пропагандистскими целями, а как на изменение всей жизни. Григорьев не только разделял эти планы, но, быть может, более всех определял их. На ближайшее время мы с братом решили задачу таким образом: если представится случай участвовать в каком-нибудь предприятии, сопряженном с опасностью ареста, то участвует только один, а другой остается «в семейном резерве».

Такой случай представился вскоре после дела Засулич: во Владимирской церкви предполагалась панихида по Сидорацком. Можно было ожидать побоища и арестов. Мы бросили жребий, который выпал брату. Когда он ушел, в нашу квартиру забежал Григорьев и сказал мне:

— Приехала из Москвы Душа Ивановская. Я думал, что вы пойдете на панихиду. Она тоже будет. Пошел брат?.. Ну, делать нечего... Прощайте пока. — И он спешно ушел.

Ивановская была наша общая знакомая. В последний год наш кружок в академии значительно расширился, и у нас происходили регулярные собрания в Петровке, в квартире женатого студента Марковского. Кроме того, мы часто собирались в разных местах в Москве. На одном из таких собраний мне бросилась в глаза высокая девушка, которую знакомые называли просто Душей. В нашем провинциальном городишке мы привыкли к особому тону отношений с девушками: мы сходились для танцев, влюблялись, переживали маленькие сердечные драмы, но девушки, являлись нам лишь в известной «обстановке», по большей части среди музыки и цветов. Петербургская жизнь ничего не дала мне в этом отношении, и только здесь, в Москве, я увидел собрания, на которые со студентами приходили и девушки. В собраниях они выступали редко, но в более тесных кружках обсуждали все, о чем говорилось, и мнение многих из них приобретало большой вес в наших глазах.

Я был вообще застенчив, но к тому времени я уже свободно говорил в собраниях студентов, и мое имя, на ряду с Григорьевым и Вернером, приобретало некоторую популярность в кружках. Однажды, придя довольно поздно на одно из собраний у Марковского, я поздоровался с двумя-тремя знакомыми и остановился. Недалеко я увидел Ивановскую. Мы бывали вместе на двух-трех собраниях, но нас никто не представлял друг другу, я еще ни разу не говорил с нею и не знал, как держаться. Может быть, заметив мое легкое замешательство, девушка подошла сама, протянула руку и сказала просто «здравствуйте», назвав меня по фамилии. Это сразу подкупило меня, и мы затем уже встречались запросто. Я узнал, что есть три сестры Ивановские, и что брат их, земский врач, носивший в кружках прозвище «Василия Великого», был арестован и убежал из московской Басманной части. Сестры были «на замечании» у полиции, и после нашей ссылки Ивановская тоже была арестована. Ходили слухи, что она в заключении заболела. У меня при этих известиях сжималось сердце.

Теперь я узнаю, что она здесь, что я сейчас мог бы ее увидеть, если бы не случайность жребия. Брат с нею не знаком, и я уверен, что, если бы я раньше узнал об ее приезде, — он уступил бы мне свою очередь. Но его нет. А между тем, бог знает, что может случиться после этой панихиды.

Я решил пойти к Владимирской церкви, разыскать брата и смениться с ним очередями. Подходя к церкви, я увидел, как отряд жандармов проехал на рысях по Владимирской и в'ехал в один из дворов против церкви, после чего ворота наглухо закрылись. В соседних домах ворота тоже были закрыты; можно было предполагать, что и там есть засада. Я решил произвести небольшую рекогносцировку. Местами, подальше от церкви, в соседних переулках, вдоль стен и в проходах под воротами стояли кучки людей в сибирках и высоких сапогах. На некоторых были надеты фартуки, а в руках они держали метлы. Стояли они все точно на каком-то дежурстве. Я понял: полиция узнала о цели

панихиды и готовила свой «народ» для расправы с крамольниками, в помощь полицейским.

Когда я вошел в переполненную церковь, панихида была уже на исходе. В волнах кадильного дыма и в торжественных звуках прекрасного пения мне чудилось особое настроение: мало кто из этих молодых людей и девушек знал покойного Сидорацкого. Но вот вскоре, быть может, не один и не одна из этой толпы подвергнутся его участи.

Недалеко от входа, у задней церковной стены, я увидел Григорьева, делающего мне знаки, и я пробился к нему через толпу. Рядом с ним стояла приезжая. Так же просто и приветливо она поздоровалась со мной, и через некоторое время сказала:

— Послушайте, Короленко, так нельзя стоять в церкви.

Я, действительно, стоял спиной к алтарю, а лицом к ней.

Когда панихида кончилась, толпа повалила из церкви, но остановилась у паперти, очевидно, ожидая чего-то. Минута была критическая. Темная кучка людей, человек в 500, казалась такой маленькой на этой площади под величавым порталом церкви. Незнакомцы в передниках и с метлами сбегаются из переулков. А кругом глядят слепые пятна закрытых ворот, скрывающих вооруженную засаду.

Над толпой поднялся молодой человек и начал говорить со ступеней портала. Это был Лопатин (не Герман и не Всеволод, имена которых были уже известны в радикальных кружках). Сказав несколько слов о Сидорацком и о значении панихиды, он стал горячо убеждать толпу ограничиться этим мирным выражением своего отношения к погибшей жертве и разойтись по домам без дальнейших демонстраций. Речь была сказана хорошо и оказала действие: после некоторого колебания плотная толпа как будто дрогнула. Ожидали возражений, слышались отдельные недовольные восклицания, но, вероятно, по предварительному плану распорядителей, речей в другом смысле не было. Кучка за кучкой стали отрываться от компактной массы и вскоре толпа расплылась в разные стороны. До Невского и в начале Литейного она была все-таки довольно густа, но далее стала смешиваться с безразличной толпой, хотя все еще местами привлекала удивленные взгляды встречной публики. В конце Литейного у самого спуска к реке произошел небольшой шум: кто-то заметил или просто только заподозрил шпиона, и кучка студентов делала вид, что хочет бросить его в полынью на Неве у берега. Дело, однако, кончилось благополучно.

Я провожал Ивановскую и здесь попрощался с ней. Пройдя несколько шагов, я оглянулся. Какая-то дама, очень нарядная, только что встретилась с девушкой и тоже оглянулась. На лице ее появилась насмешливая улыбка, значение которой я понял; высокая худощавая фигура девушки была далеко не нарядна: на ней было темное пальто точно с чужого плеча, а на голове круглая клеенчатая шляпа с лентой, падавшей сзади на плечи вместе с косой.

Читатель вспомнит первую детскую, но довольно продолжительную, любовь «моего современника», начавшуюся среди музыки, детской игры и танцев. И вот теперь, в лице этой нарядной красавицы, прошлая любовь как будто смеялась над настоящей. И он подумал:

— Да, эти клеенчатые шляпы ужасны... Но... Как я люблю ее...

Убийство Мезенцева. — Второй арест. — В третьем отделении

Большой процесс, выстрел Засулич, вызвавший общее и очень широкое сочувствие, ее оправдание, заявление ее об уважении к суду присяжных и готовности ему подчиниться, — все это были мотивы, казалось, устанавливающие некоторое взаимодействие между широкими общественными течениями и стремлениями революционной молодежи. Но это длилось недолго. Впечатление дела Засулич постепенно сглаживалось в обществе и прессе, а жестокие репрессии, которыми правительство ответило на наивные попытки народнической молодежи, вызвали ожесточение. Движение начало сворачивать на путь изолированной борьбы революционной интеллигенции, на путь террора.

Вера Засулич не была террористкой в прямом смысле. Ее поступок был непосредственным порывом, и оттого, быть может, вызвал такое общее сочувствие. Сама она всю остальную жизнь оставалась принципиальной противницей террора. Но вскоре после ее дела появилась брошюра Кравчинского, в которой последний восторженно приветствовал ее подвиг и звал к его продолжению.

И продолжение не замедлило.

4 августа 1878 г. убит шеф жандармов Мезенцев. Во время обычной своей прогулки, в сопровождении генерала Макарова, он встретился на Михайловской улице с двумя изящно одетыми молодыми людьми, которые отделили его от спутника. Один из встречных прижал Макарова к стене, а другой в это время ударил Мезенцева кинжалом. За неизвестными шагом ехала пролетка, в которую они сели и скрылись бесследно. Это было среди белого дня на одной из центральных улиц столицы.

Исполнителями террористического акта были Кравчинский и Баранников. Лошадью правил Адриан Михайлов. В прокламации, выпущенной по этому поводу, выставлялся мотив, близкий к мотиву Веры Засулич: месть за погубленных товарищей. Кроме того, в стихотворении А. А. Ольхина, самом сильном из всего, что им когда-либо было написано, упоминалось о том, как

Угасает в далекой якутской тайге
Яркий светоч науки опальной...

По закону, Н. Г. Чернышевскому, окончившему срок каторжных работ, предстояло выйти на вольное поселение. Но вместо этого он вновь был заключен в особой тюрьме в Вилюйске. И говорили, что это благодаря Мезенцеву.

Вечером, в день этого убийства, я долго засиделся в типографии. Возвращаясь поздней ночью в свою квартиру (мы жили тогда на углу Подольской улицы и Клинского проспекта), я был поражен обильным ее освещением. Подозревая недоброе, я быстро вбежал по лестнице с тяжелым опасением за мать. Она все была больна сложной нервной болезнью, на почве которой с нею случались тяжелые припадки. Дверь оказалась незапертой, квартира наполнена полицией и понятыми. И первая фигура, которая мне бросилась в глаза, была совершенно спо-

койная фигура матери. Я кинулся к ней, и, обнимая ее, услышал ее шепот: «Пьянков называется так-то... Он сегодня снял у нас комнату».

Пьянков, участник большого процесса, оправданный по суду, был все-таки сослан по высочайшему повелению в Архангельскую губернию, откуда только-что бежал вместе с Павловским, впоследствии известным корреспондентом «Нового Времени» из Франции (Яковлев). О том, что в этот день что-то предпринимается, было известно в неблагонадежных кругах, и оба беглеца еще с утра попросили у нас приюта, считая нашу квартиру безопасной. Павловский не явился, а Пьянкова я сразу увидел сидящем на окне.

Ничего предосудительного при обыске найдено не было, но все же я и мой младший брат были арестованы, у остальных, т.-е. у моего зятя, недавно женившегося на старшей сестре, у его приемного отца, только-что приехавшего из Петрозаводска, чтобы познакомиться с женой сына и, наконец, у Пьянкова были отобраны паспорта с обязательством явиться на следующий день в третье отделение.

Нас с братом доставили в здание у Цепного моста, которое, несмотря на поздний час, было ярко освещено и переполнено движением и суетой. Меня привели в коридор верхнего этажа, ввели в камеру, велели раздеться до-нага и унесли одежду с собой. Но все-таки я успел припрятать карандаш, обернутый полулистиком почтовой бумаги, засунув его в буйные волосы. Я его оставил потом в наследство своему неведомому преемнику по камере. Через пять минут мне принесли белье, халат из тонкого сукна и туфли вроде больничных. Через десять минут я уже спал, как убитый.

Ранним утром служитель принес принадлежности для умыванья. Он был в жандармской тужурке. Тогда жандармы не были еще добровольцами, а назначались в «корпус» прямо из сдаточных, как и в другие роды войск. Поэтому, между ними встречалось много простых и добродушных лиц, без той особой печати, которая отмечала жандармов впоследствии. Когда служитель входил за чем-нибудь в камеру, часовой, тоже жандарм, становился у двери, почему-то спиной к камере. Умывшись и обтирая лицо, я спросил у служителя, который теперь час, но в ответ получил громкий и довольно грубый окрик:

— Молчать... Не велено разговаривать. — Но тут же он прибавил шопотом: — девять часов.

Я понял, что ни этого прислужника, ни стоящего у двери с обнаженной шашкой часового мне опасаться нечего, и, когда он принес мне завтрак, то я опять спросил его:

— Не знаете ли, мой брат тут же? — Новый, еще более грозный окрик и тихий ответ: — в таком-то номере, внизу.

В третий раз, когда явился обед, служитель уже сам мигнул мне, чтобы я спросил у него что-нибудь, и после грубейшего окрика ответил шопотом:

— Вашего брата на допрос повели. Кушайте скорее, сейчас поведут и вас.

Мне, действительно, скоро принесли собственное платье и повели в канцелярию. В коридорах и в комнатах третьего отделения шла

невероятная суета, все было полно жандармами, сыщиками, арестованными и призванными к явке. Проходя через переднюю, я увидел Лошкарева и его приемного отца. Пьянкова хорошо знали в третьем отделении, и потому, по общему совету, он не явился.

Меня и брата допросили наскоро, и затем отпустили. Вместе с нами в переднюю вышел молодой жандармский офицер и окликнул:

— Вызванные с Подольской улицы, дом номер такой-то, — есть?

— Точно так, ваше высокоблагородие, — ответил приемный отец Лошкарева, бывший николаевский солдат, и вытянулся в струнку.

Это, повидимому, спасло наше положение: офицер благосклонно взглянул на эту колоритно благонадежную фигуру и, не перекликая остальных, отдал ему все паспорта. Таким образом неявка Пьянкова прошла незамеченной. Мы веселой гурьбой вышли на узкий двор, где навстречу нам попался в парадной форме высокий, полный и красивый жандармский полковник. Нам назвали весьма впоследствии известного телохранителя и личного друга Александра III, генерала Черевина.

На смерть Мезенцева

Как удар громовой, всенародная казнь
Над безумным злодеем свершилась;
То одна из ступеней от трона царя
С грозным треском долой отвалилась.

Бессердечный палач упокоен навек,
Не откроются мертвые очи!
И трепещет у пышного гроба его
В изумлении деспот полночи.

Мрачен царь... Думу крепкую думает он:
«Кто осмелился стать судиею
Над тобою, над верным слугою моим,
Над любимцем, возвышенным мною?

Не злодей ли, без бога и правды в душе?
Не завистник ли подлый, лукавый?
Или враг потайной, или недруг лихой,
Преисполненный местью кровавой?..»

Все молчит... Нет ответа. Кругом тишина.
Лишь псаломщик кафизмы читает,
Да светильня дрожит... И вторично судьбу
Самодержец-монарх вопрошает...

Вот упала свеча и потухла, дымясь.
Вслед за нею потухли другие.
Мрак густой опустился на бархатный гроб
На покровы его дорогие...

Царь стоит и не верит смущенным очам:
Как на глас неземного веленья,
Поднялись и проносятся мимо него
Рой за роем живые виденья.

Изможденны, избиты, в тяжелых цепях,
Кто с простреленной грудью, кто связан,
Кто в зияющих ранах на вспухших спинах,
Будто только-что плетью наказан.

Тут и лапоть крестьянский, и черный сюртук,
Женский локон, солдатик в мундире,
И с веревкой на шее удавленный труп,
И поэт, заморенный в Сибири...

Словно духи на страшную тризну сошлись
В час условный ночного свиданья,
Собрались и, ставши вокруг мертвеца,
Затянули ему отпеванье:

Жизнью распутною всколенный,
Нашею кровию вспоенный,
Жалости в сердце не ведавший,
Пытки и смерть проповедавший,
Шедший дорогой тернистою,
Мявший стопою нечистою
В страшной, неравной борьбе, —
Вечная память тебе...

Память позорная
Мысли гонителю.
Память укорная
Злому мучителю.
Неисправимая,
Неизгладимая,
Бесчеловечная,
Вечная, вечная
Память тебе...

И с проклятием грозным они унеслись,
До холодных могил добираясь;
Застучали оковы на тощих ногах,
В расшивной катафалк ударяясь.

Но виденье одно, долетев до царя,
Перед ним неподвижное стало
И, взглянув на него, с молодого чела
Гробовое сняло покрывало.

Бледный лик его гневным укором сверкал,
Мрачный вызов во взоре светился.
«Царь! ты ведать хотел, кто любимца убил,
Кто на подвиг кровавый решился.

Не злодей, не завистник, не недруг лихой,
Не свои вымещал он обиды.
То посланник смиренный, послушный боец
Всенародной, святой Немезиды.

Не опричника злого он жизни искал.
Что опричник! Их много найдется!
Царь! ты совесть спроси, и правдивый ответ,
Может быть, в ее недрах найдется...

Он тобой изведен, твой послушный холоп,
Исполнитель кровавых велений!
Ты убийца его! Погляди и казнись:
Эта жертва твоих преступлений.

Воспоенный коварною лестью рабов,
Бог земной, лишь себя обожавший,
Властелин, беспощадно всесильной рукой
Свой народ неповинный сковавший,

Царь, гонитель свободы и правды святой,
Народившейся мысли гонитель,
Сладострастный, холодный, жестокий старик,
Наших сил молодых развратитель,

Окруженный плеядой дворцовых светил,
В облаках покупных фимиамов,
Не расслышал ты воплей родимой земли
За напевом придворных баянов.

Ты не ведал, не знал за обильным столом,
Как в нужде умирает голодный,
Двадцать лет, как блудница, с друзьями мотал
Ты последний достаток народный.

А повсюду-то голод, и холод, и мор,
Обездоленный грабит, ворует.
Свищут розги в поганых руках становых,
А избитый те руки целует.

Вот под Плевной дымится огромный курган,
Там останки еще не догнили:
Чтоб уважить царя, в именины его
Много тысяч своих положили.

Именинный пирог из начинки людской
Брат подносит державному брату;
И на родине ветер холодный шумит,
И разносит солдатскую хату...

Вот старушка, убитая горем, сидит —
В кандалах увели ее сына:

Во всесильном жестоком тиране, в тебе,
Не хотел он признать властелина.

Из родимого дома его увели,
От любимых родных оторвали
И на годы, на долгие годы, в тюрьме,
Как в могиле глухой, заковали.

Вот невеста в слезах: расстреляли вчера
Жениха, об'явившего смело,
Что не сдастся злодеям, пришедшим его
Оторвать от великого дела.

Да товарищ печально стоит в кандалах
Над могильным холмом, вспоминая,
Как погибла во цвете надежды и сил
Благородная жизнь молодая.

Стонет Польша, казак и забитый еврей,
Стонет пахарь наш многострадальный;
Истомился в далекой якутской тайге
Яркий светоч науки опальной.

Стонет мать над могилой убитых детей,
А вдова — над могилою мужа.
Вторит им, невпопад завывая, метель,
Да Сибири трескучая стужа.

Стон и вопли страдальцев до самых небес
И вселенскою тучей над троном твоим
Горемычной росой поднялися
С целой русской земли собралися.

И висит эта туча, и будто бы ждет,
Словно крылья орел расправляет,
Но ударит твой час, — грозовая стрела,
Как архангела меч, засверкает.

Каждый стон, каждый вздох, пролитая слеза
В огнедышащих змей обратятся,
И в давно зачерствелое сердце твое
Миллионами зубьев вонзятся!»...

...Все пропало во тьме, все сокрылось из глаз,
Роковые исчезли виденья...
Монотонно псаломщик псалтирь зачитал
Над суровою жертвою мщенья.

Полумрак, тишина... пышный гроб и налой,
Образа с восковыми свечами,
И покойник с суровым холодным лицом,
С искаженными смертью чертами.

А. Ольхин.

Порог

(Стихотворение в прозе)

Я вижу громадное здание. В передней стене узкая дверь раскрыта настежь; за дверью угрюмая мгла; перед высоким порогом стоит девушка... русская девушка.

Морозом дышит та непроглядная мгла, и вместе с леденящей струей выносится из глубины здания медлительный, глухой голос.

«О ты, что желаешь переступить этот порог, знаешь ли ты, что тебя ожидает?».

— Знаю, — отвечает девушка.

«Холод, голод, ненависть, насмешки, презренье, обида, болезнь, самая смерть?».

— Знаю.

«Отчуждение, полное одиночество?».

— Знаю... я готова. Я перенесу все страдания, все удары.

«Не только от врагов, но и от родных, от друзей?».

— Да... и от них.

«Хорошо. Ты готова на жертву?».

— Да.

«На безымянную жертву? Ты погибнешь, — и никто... никто не будет знать, чью память почтить».

— Мне не нужно ни благодарности, ни сожаления. Мне не нужно имени

«Готова ли ты на преступление?»

Девушка потупила голову.

— И на преступление готова...

Голос не тотчас возобновил свои вопросы.

«Знаешь ли ты, — заговорил он, наконец, — что ты можешь разувериться в том, чему веришь теперь, можешь понять, что обманулась и даром погубила свою молодую жизнь?».

— Знаю и это. И все-таки я хочу войти.

«Войди».

Девушка перешагнула порог — и тяжелая завеса упала за нею.

«Дура!» — проскрежетал кто-то сзади.

«Святая!» — пронеслось откуда-то в ответ.

И. Тургенев.

Четвертый сон Веры Павловны

(Глава из романа „Что делать“)

И снится Вере Павловне сон, будто доносится до нее знакомый, — о, какой знакомый теперь! — голос издали, ближе, ближе, —

Wie herrlich leuchtet
Mir die Natur
Wie glänzt die Sonne!
Wie lacht die Flur!

И видит Вера Павлавна, что это так, все так...

Золотистым отливом сияет нива, покрыто цветами поле, резвертываются сотни, тысячи цветов на кустарнике, опоясывающем поле, зеленеет и шепчет подымающийся за кустарником лес, и он весь пестреет цветами; аромат несется с нивы, с луга, из кустарника, от наполняющих лес цветов; порхают по веткам птицы, и тысячи голосов несутся от ветвей, вместе с ароматом; и за нивою, за лугом, за кустарником, лесом, опять виднеются такие же сияющие золотом нивы, покрытые цветами луга, покрытые цветами кустарники, до дальних гор, покрытых лесом, озаренных солнцем, и над их вершинами там и здесь, там и здесь, светлые, серебристые, золотистые, пурпуровые, прозрачные облака своими переливами слегка оттеняют по горизонту яркую лазурь; взошло солнце, радуется, и радуется природа, льет свет и теплоту, аромат и песню, любовь и негу в грудь, льется песня радости и неги, любви и добра из груди—«о, земля! о, нега! о, любовь! о, любовь, золотая, прекрасная, как утренние облака над вершинами тех гор!».

O Erd'! O Sonne!
O Glück! O Lust!
O Lieb', o Liebe,
So goldenschön,
Wie Morgenwolken
Auf jenen Höh'n!

— Теперь ты знаешь меня? Ты знаешь, что я хороша? Но ты еще не знаешь, никто из вас еще не знает меня во всей моей красоте. Смотри, что было, что теперь, что будет. Слушай и смотри:

Wohl perlet im Glase der purpurne Wein,
Wohl glänzen die Augen der Gäste

У подошвы горы, на окраине леса, среди цветущих кустарников высоких густых аллей воздвигся дворец.

— Идем туда.

Они идут, летят.

Роскошный пир. Пенится в стаканах вино: сияют глаза пирующих. Шум и шопот под шум, смех и, тайком, пожатие руки, и порою украдкой неслышный поцелуй. — «Песню! Песню! Без песни не полно веселие!». И встает поэт. Чело и мысль его озарены вдохновением, ему говорит свои тайны природа, ему раскрывает свой смысл история, и жизнь тысячелетий проносится в его песне рядом картин.

1.

Звучат слова поэта, и возникает картина.

Шатры номадов. Вокруг шатров пасутся овцы, лошади, верблюды. Вдали лес олив и смоковниц. Еще дальше, дальше, на краю горизонта к северо-западу, двойной хребет высоких гор. Вершины гор покрыты снегом, склоны их покрыты кедрами. Но стройнее кедров эти пастухи, стройнее пальм их жены, и беззаботна их жизнь в ленивой неге: у них одно дело — любовь, все дни их проходят, день за днем, в ласках и песнях любви.

— Нет, — говорит светлая красавица, — это не обо мне. Тогда меня не было. Эта женщина была рабыня. Где нет равенства, там нет меня. Ту царицу звали Астарта. Вот она.

Роскошная женщина. На руках и на ногах ее тяжелые золотые браслеты; тяжелое ожерелье из перлов и кораллов, оправленных золотом, на ее шее. Ее волоса увлажены миррою. Сладострастие и раболепство в ее лице, сладострастие и бессмыслие в ее глазах.

«Повинуйся твоему господину; услаждай лень его в промежутки набегов; ты должна любить его, потому что он купил тебя, и если ты не будешь любить его, он убьет тебя», — говорит она женщине, лежащей перед нею во прахе.

— Ты видишь, что это не я, — говорит красавица.

2.

Опять звучат вдохновенные слова поэта. Возникает новая картина.

Город. Вдали на севере и востоке горы; вдали на востоке и юге, подле на западе, море. Дивный город. Невелики в нем дома, и не роскошны снаружи. Но сколько в нем чудных храмов! Особенно на холме, куда ведет лестница с воротами удивительного величия и красоты: весь холм занят храмами и общественными зданиями, из которых каждого, одного, было бы довольно ныне, чтобы увеличить красоту и славу великолепнейшей из столиц. Тысячи статуй в этих храмах и повсюду в городе, — статуи, из которых одной было бы довольно, чтобы сделать музей, где стояла бы она, первым музеем целого мира. И как прекрасен народ, толпящийся на площадях, на улицах: каждый из этих юношей, каждая из этих молодых женщин и девушек могли бы служить моделью для статуи. Деятельный, живой, веселый народ, народ, вся жизнь которого светла и изящна. Эти дома, не роскошные снаружи, — какое богатство изящества и высокого уменья наслаждаться показывают они внутри: на каждую вещь из мебели и посуды можно залюбоваться. И все эти люди, такие прекрасные, так умеющие понимать красоту, живут для любви, для служения красоте. Вот изгнанник возвращается в город, свергнувший его власть: он возвращается за тем, чтобы повелевать, — все это знают. Что ж ни одна рука не поднимается против него? На колеснице с ним едет, показывая его народу, прося народ принять его, говоря народу, что она покровительствует ему, женщина чудной красоты даже среди этих красавиц, — и преклоняясь перед ее красотою, народ отдает власть над собою Пизистрату, ее любимцу. Вот суд; судьи угрюмые старики, — народ может увлекаться, они не знают увлеченья. Ареопаг славится беспощадной строгостью, неумолимым нелицеприятием: боги и богини приходили отдавать свои дела на его решение. И вот должна явиться перед ним женщина, которую все считают виновной в страшных преступлениях: она должна умереть, губительница Афин, каждый из судей уже решил это в душе; является перед ними Аспазия, эта обвиненная, и они все падают перед нею на землю и говорят: «ты не можешь быть судима, ты слишком прекрасна!». Это ли не царство красоты? это ли не царство любви?

— Нет, — говорит светлая красавица, — меня тогда не было. Они поклонялись женщине, но не признавали ее равною себе. Они поклонялись ей, но только как источнику наслаждений; человеческого достоинства они еще не признавали в ней! Где нет уважения к женщине, как к человеку, там нет меня. Ту царицу звали Афродита. Вот она.

На этой царице нет никаких украшений, — она так прекрасна, что ее поклонники не хотели, чтоб она имела одежду, — ее дивные формы не должны быть скрыты от их восхищенных глаз.

Что говорит она женщине, почти так же прекрасной, как сама она, бросающей фимиам на ее алтарь?

«Будь источником наслаждения для мужчины. Он — господин твой. Ты живешь не для себя, а для него».

И в ее глазах только нега физического наслаждения. Ее осанка горда, в ее лице гордость, но гордость только своею физическою красотою. И на какую жизнь обречена была женщина во время царства ее? Мужчина запирал женщину в гинекей, чтобы никто, кроме его, господина, не мог наслаждаться красотою, ему принадлежащею. У ней не было свободы. Были у них другие женщины, которые называли себя свободными, но они продавали наслаждение своею красотою, они продавали свою свободу. Нет, и у них не было свободы. Эта царица была полу-рабыня. Где нет свободы, там нет счастия, там нет меня.

3.

Опять звучат слова поэта. Возникает новая картина.

Арена перед замком. Кругом амфитеатр с блистательной толпою зрителей. На арене рыцари. Над ареною, на балконе замка сидит девушка. В ее руке шарф. Кто победит, тому шарф и поцелуй руки ее. Рыцари бьются на смерть. Тоггенбург победил. «Рыцарь, я люблю вас, как сестра. Другой любви не требуйте. Не бьется мое сердце, когда вы приходите, — не бьется оно, когда вы удаляетесь». «Судьба моя решена», — говорит он и плывет в Палестину. По всему христианству разносится слава его подвигов. Но он не может жить, не видя царицу души своей. Он возвращается, он не нашел забвения в битвах. «Не стучитесь, рыцарь: она в монастыре». Он строит себе хижину, из окон которой, невидимый ей, может видеть ее, когда она поутру раскрывает окно своей кельи. И вся жизнь его — ждать, пока явится она у окна, прекрасная, как солнце; нет у него другой жизни, как видеть царицу души своей, и не было у него другой жизни, пока не иссякла в нем жизнь; и когда погасла в нем жизнь, он сидел у окна своей хижины и думал только одно: увижу ли ее еще?

— Это уж вовсе, вовсе не обо мне, — говорит светлая красавица. — Он любил ее, пока не касался к ней. Когда она становилась его женою, она становилась его подданною, она должна была трепетать его; он запирал ее; он переставал любить ее. Он охотился, он уезжал на войну, он пировал с своими товарищами, он насиловал своих вассалок, — жена была брошена, заперта, презрена. Ту женщину, которой касался мужчина, этот мужчина уж не любил тогда. Нет, тогда меня не было. Ту царицу звали «Непорочностью». Вот она.

Скромная, кроткая, нежная, прекрасная, — прекраснее Астарты, прекраснее самой Афродиты, но задумчивая, грустная, скорбящая. Перед нею преклоняют колена, ей подносят венки роз. Он говорит: «Печальна до смертельной скорби душа моя. Меч пронзил сердце мое. Скорбите и вы. Вы несчастны. Земля — долина плача».

— Нет, нет, меня тогда не было, — говорит светлая красавица.

4.

«Нет, те царицы были непохожи на меня. Все они еще продолжают царствовать, но царства их падают. С рождением каждой из них начинало падать царство прежней. И я родилась только тогда, когда стало падать царство последней из них. И с тех пор, как я родилась, царства их стали падать быстро, быстро, и они вовсе падут,— из них следующая не могла заменить прежних, и они оставались при ней. Я заменяю всех, они исчезнут, я одна останусь царствовать над всем миром. Но они должны были царствовать прежде меня; без их царств не могло притти мое.

«Люди были, как животные. Они перестали быть животными, когда мужчина стал ценить в женщине красоту. Но женщина слабее мужчины силою; а мужчина был груб. Все тогда решалось силою. Мужчина присвоил себе женщину, красоту которой стал ценить. Она стала собственною вещью его. Это царство Астарты.

«Когда он стал более развит, он стал больше прежнего ценить красоту, преклонился перед ее красотою. Но ее сознание было еще не развито. Он ценил в ней только красоту. Она умела думать еще только то, что слышала от него. Он говорил, что только он человек, она не человек, и она еще видела в себе только прекрасную драгоценность, принадлежащую ему, — человеком она не считала себя. Это царство Афродиты.

«Но вот начало в ней пробуждаться сознание, что и она человек. Какая скорбь должна была обнять ее и при самом слабом появлении в ней мысли о своем человеческом достоинстве! Ведь она еще не была признаваема за человека. Мужчина еще не хотел иметь ее иною подругою себе, как своею рабынею. И она говорила: я не хочу быть твоею подругою! Тогда страсть к ней заставляла его умолять и смириться, и он забывал, что не считает ее человеком, и он любил ее, недоступную, неприкосновенную, непорочную деву. Но лишь только верила она его мольбе, лишь только он касался ее — горе ей! Она была в руках его, эти руки были сильнее ее рук, а он был груб, и он обращал ее в свою рабыню и презирал ее. Горе ей! Это скорбное царство девы.

«Но шли века; моя сестра, — ты знаешь ее? — та, которая раньше меня стала являться тебе, делала свое дело. Она была всегда, она была прежде всех, она уж была, как были люди, и всегда работала неутомимо. Тяжел был ее труд, медлен успех, но она работала, работала, и рос успех. Мужчина становился разумнее, женщина тверже и тверже сознавала себя равным ему человеком, — и пришло время, родилась я.

«Это было недавно, о, это было очень недавно. Ты знаешь ли, кто первый почувствовал, что я родилась, и сказал это другим? Это

сказал Руссо в «Новой Элоизе». В ней, от него люди в первый раз услышали обо мне.

«И с той поры мое царство растет. Еще не над многими я царица. Но оно быстро растет, и ты уже предвидишь время, когда я буду царствовать над всею землею. Только тогда вполне почувствуют люди, как я хороша. Теперь те, кто признают мою власть, еще не могут повиноваться всей моей воле. Они окружены массою, неприязненною всей моей воле. Масса истерзала бы их, отравила бы их жизнь, если б они знали и исполняли всю мою волю. А мне нужно счастье, я не хочу никаких страданий, и я говорю им: не делайте того, за что вас стали бы мучить; знайте мою волю теперь лишь настолько, насколько можете знать ее без вреда себе.

— Но я могу знать всю тебя?

— Да, ты можешь. Твое положение очень счастливое. Тебе нечего бояться. Ты можешь делать все, что захочешь. И если ты будешь знать всю мою волю, от тебя моя воля не захочет ничего вредного тебе: тебе не нужно желать, ты не будешь желать ничего, за что стали бы мучить тебя незнающие меня. Ты теперь вполне довольна тем, что имеешь; ни о чем другом, ни о ком другом ты не думаешь и не будешь думать. Я могу открыться тебе вся.

— Назови же мне себя, ты назвала мне прежних цариц, себя ты еще никогда не называла мне.

— Ты хочешь, чтоб я назвала себя? Смотри на меня, слушай меня.

5.

— Смотри на меня, слушай меня. Ты узнаешь ли мой голос? Ты узнаешь ли лицо мое? Ты видела ли лицо мое?

Да, она еще не видела лица ее, вовсе не видела ее. Как же ей кажалось, что она видит ее? Вот уже год с тех пор, как она говорит с ним, с тех пор, как он смотрит на нее, целует ее, она так часто видит ее, эту светлую красавицу, и красавица не прячется от него, как она не прячется от него, она вся является ей.

— Нет, я не видела тебя, я не видела лица твоего; ты являлась мне, я видела тебя, но ты окружена сиянием, я не могла видеть тебя, я видела только, что ты прекраснее всех. Твой голос, я слышу его, но я слышу только, что твой голос прекраснее всех.

— Смотри же, для тебя, на эту минуту, я уменьшаю сияние моего ореола, и мой голос пусть звучит тебе на эту минуту без очаровательности, которую я всегда даю ему; на минуту я для тебя перестаю быть царицею. Ты видела, ты слышала? Ты узнала? Довольно, я опять царица, и уже навсегда царица.

Она опять окружена всем блеском своего сияния, и опять голос ее невыразимо упоителен. Но на минуту, когда она переставала быть царицею, чтобы дать узнать себя, неужели это так? Неужели это лицо видела, неужели этот голос слышала Вера Павловна?

— Да, — говорит царица, — ты хотела знать, кто я, ты узнала. Ты хотела узнать мое имя, у меня нет имени, отдельного от той, которой являюсь я, мое имя — ее имя; ты видела, кто я. Нет ничего выше

человека, нет ничего выше женщины. Я та, которой являюсь я, которая любит, которая любима.

Да, Вера Павловна видела: это она сама, это она сама, но богиня. Лицо богини ее самой лицо, это ее живое лицо, черты которого так далеки от совершенства, прекраснее которого видит она каждый день не одно лицо; это ее лицо, озаренное сиянием любви, прекраснее всех идеалов, завещанных нам скульпторами древности и великими живописцами великого века живописи, да, это она сама, но озаренная сиянием любви, она, прекраснее которой есть сотни лиц в Петербурге, таком бедном красотою, она прекраснее Афродиты Луврской, прекраснее доселе известных красавиц.

— Ты видишь себя в зеркале такою, какая ты сама по себе, без меня. Во мне ты видишь себя такой, какою видит тебя тот, кто любит тебя. Для него я сливаюсь с тобою. Для него нет никого прекраснее тебя; для него все идеалы меркнут перед тобою. Так ли?

Так, о, так!

6.

«Теперь ты знаешь, кто я; узнай, что я...

«Во мне наслаждение чувства, которое было в Астарте; она родоначальница всех нас—других цариц, сменявших ее. Во мне упоение созерцанием красоты, которое было в Афродите. Во мне благоговение перед чистотою, которое было в «Непорочности».

«Но во мне все это не так, как было в них, я полнее, выше, сильнее. То, что было в «Непорочности», соединяется во мне с тем, что было в Астарте, и с тем, что было в Афродите. И, соединяясь во мне с другими силами, каждая из этих сил становится могущественнее и лучше от союза. Но больше, еще гораздо больше могущества и прелести дается каждой из этих сил во мне, тем новым, что есть во мне, чего не было ни в одной из прежних цариц. Это новое во мне то, чем я отличаюсь от них, — равноправность любящих, равное отношение между ними, как людьми, и от этого одного нового все во мне много, о, много прекраснее, чем было в них.

«Когда мужчина признает равноправность женщины с собою, он отказывается от взгляда на нее, как на свою принадлежность. Тогда она любит его, как он любит ее, только потому, что хочет любить, если же она не хочет, он не имеет никаких прав над нею, как и она над ним. Поэтому, во мне свобода.

«От равноправности и свободы, и то мое, что было в прежних царицах, получает новый характер, высшую прелесть, прелесть, какой не знали до меня, перед которой ничто все, что знали до меня.

«До меня не знали полного наслаждения чувства, потому что без свободного влечения обоих любящих ни один из них не имеет светлого упоения. До меня не знали полного наслаждения созерцанием красоты, потому что, если красота открывается не по свободному влечению, нет светлого упоения ее созерцанием. Без свободного влечения и наслаждения, и восхищения мрачны перед тем, каковы они во мне.

«Моя непорочность чище той «Непорочности», которая говорила только о чистоте тела: во мне чистота сердца. Я свободна, потому во

мне нет обмана, нет притворства: я не скажу слова, которого не чувствую, я не дам поцелуя, в котором нет симпатии.

«Но то, что во мне новое, что дает высшую прелесть тому, что было в прежних царицах, оно, само по себе, составляет во мне прелесть, которая выше всего. Господин стеснен при слуге, слуга стеснен перед господином; только с равным себе вполне свободен человек. С низшим скучно, только с равным полное веселье. Вот почему до меня и мужчина не знал полного счастья любви; того, что он чувствовал до меня, не стоило называть счастьем, это было только минутное опьянение. А женщина, как жалка была до меня женщина! Она была тогда подвластным, рабствующим лицом; она была в боязни, она до меня слишком мало знала, что такое любовь: где боязнь, там нет любви.

«Поэтому, если ты хочешь одним словом выразить, что такое я, это слово — равноправность. Без него наслаждение телом, восхищение красотою скучны, мрачны, гадки; без него нет чистоты сердца, есть только обман чистотою тела. Из него, из равенства, и свобода во мне, без которой нет меня.

«Я все сказала тебе, что ты можешь сказать другим, все, что я теперь. Но теперь царство мое еще мало, я еще должна беречь своих от клеветы не знающих меня, я еще не могу высказывать всю мою волю всем. Я скажу ее всем, когда мое царство будет над всеми людьми, когда все люди будут прекрасны телом и чисты сердцем, тогда я открою им всю мою красоту. Но ты, твоя судьба особенно счастлива; тебя я не смущу, тебе я не повредю, сказавши, чем буду я, когда не немногие, как теперь, а все будут достойны признавать меня своею царицею. Тебе одной я скажу тайны моего будущего. Клянись молчать и слушай.

7.

. . . . . .

. . . . . .

8.

— О, любовь моя, теперь я знаю всю твою волю; я знаю, что она будет; но как же она будет? Как тогда будут жить люди?

— Я одна не могу рассказать тебе этого, для этого мне нужна помощь моей старшей сестры, — то, которая давно являлась тебе. Она моя владычица и слуга моя. Я могу быть только тем, чем она делает меня; но она работает для меня. — Сестра, приди на помощь.

Является сестра своих сестер, невеста своих женихов. — Здравствуй, сестра, — говорит она царице, — здесь и ты, сестра? — говорит она Вере Павловне, — ты хочешь видеть, как будут жить люди, когда царица, моя воспитанница, будет царствовать над всеми? — Смотри.

Здание, громадное, громадное здание, каких теперь лишь по несколько в самых больших столицах, — или нет, теперь ни одного та-

кого! Оно стоит среди нив и лугов, садов и рощ. Нивы — это наши хлеба, только не такие, как у нас, а густые, густые, изобильные, изобильные. Неужели это пшеница? Кто ж видел такие колосья? Кто ж видел такие зерна? Только в оранжерее можно бы теперь вырастить такие колосья с такими зернами. Поля, это наши поля; но такие цветы теперь только в цветниках у нас. Сады, лимонные и апельсинные деревья, персики и абрикосы, — как же они растут на открытом воздухе? О, да, это колонны вокруг них, это они покрыты на лето; да, это оранжереи, раскрывающиеся на лето. Рощи — это наши рощи: дуб и липа, клен и вяз, — да, рощи те же, как теперь; за ними очень заботливый уход, нет в них ни одного больного дерева, но рощи те же, — только они и остались те же, как теперь. Но это здание, — что ж это, какой оно архитектуры? Теперь нет такой; нет, есть один намек на нее, — дворец, который стоит на Сайденгамском холме: чугун и стекло, чугун и стекло, — только. Нет, не только: это лишь оболочка здания; это его наружные стены; а там, внутри, уж настоящий дом, громаднейший дом: он покрыт этим чугунно-хрустальным зданием, как футляром; оно образует вокруг него широкие галлереи по всем этажам. Какая легкая архитектура этого внутреннего дома, какие маленькие простенки между окнами, — а окна огромные, широкие, во всю вышину этажей! Его каменные стены — будто ряд пилястров, составляющих раму для окон, которые выходят на галлерею. Но какие это полы и потолки? Из чего эти двери и рамы окон? Что это такое? серебро? платина? Да и мебель почти вся такая же, — мебель из дерева тут лишь каприз, она только для разнообразия, но из чего же вся остальная мебель, потолки и полы? «Попробуй подвинуть это кресло», — говорит старшая царица. Эта металлическая мебель легче нашей ореховой. Но что ж это за металл? Ах, знаю теперь, Саша показывал мне такую дощечку, она была легка, как стекло, и теперь уж есть такие серьги, брошки; да, Саша говорил, что, рано или поздно, алюминий заменит собою дерево, может-быть, и камень. Но как же все это богато! Везде алюминий и алюминий, и все промежутки окон одеты огромными зеркалами. И какие ковры на полу! Вот в этом зале половина пола открыта, тут и видно, что он из алюминия. «Ты видишь, тут он матовый, чтобы не был слишком скользок, — тут играют дети, а вместе с ними и большие; вот и в том зале пол тоже без ковров, — для танцев». И всюду южные деревья и цветы; — весь дом — громадный зимний сад.

Но кто же живет в этом доме, который великолепнее дворцов? «Здесь живет много, очень много; иди, мы увидим их». Они идут на балкон, выступающий из верхнего этажа галлереи. Как же Вера Павловна не заметила прежде? По этим нивам рассеяны группы людей: везде мужчины и женщины, старики, молодые и дети вместе. Но больше молодых; стариков мало, старух еще меньше, детей больше, чем стариков, но все-таки не очень много. Больше половины детей осталось дома заниматься хозяйством: они делают почти все по хозяйству; они очень любят это; с ними несколько старух. А стариков и старух очень мало потому, что здесь очень поздно становятся ими, здесь здоровая и спокойная жизнь; она сохраняет свежесть. Группы, рабо-

тающие на нивах, почти все поют; но какой работой они заняты? Ах, это они убирают хлеб. Как быстро идет у них работа! Но еще бы не итти ей быстро, и еще бы не петь им! Почти все делают за них машины: — и жнут, и вяжут снопы, и отвозят их, — люди почти только ходят, ездят, управляют машинами. И как они удобно устроили себе; день зноен, но им, конечно, ничего: над тою частью нивы, где они работают, раскинут огромный полог; как подвигается работа, подвигается и он, — как они устроили себе прохладу! Еще бы им не быстро и не весело работать, еще бы им не петь! Этак, и я стала бы жать! И все песни, все песни, — незнакомые, новые; а вот припомнили и нашу; знаю ее:

Будем жить с тобой по-пански;
Эти люди нам друзья,—
Что душе твоей угодно,
Все добуду с ними я...

Но вот работа кончена, все идут к зданию. «Войдем опять в зал, посмотрим, как они будут обедать», — говорит старшая сестра. Они входят в самый большой из огромных зал. Половина его занята столами, — столы уже накрыты, — сколько их! Сколько же тут будет обедающих? Да человек тысяча или больше: «здесь не все; кому угодно, обедают особо, у себя»; те старухи, старики, дети, которые не выходили в поле, приготовили все это: «готовить кушанье, заниматься хозяйством, прибирать в комнатах, — это слишком легкая работа для других рук, — говорит старшая сестра, — ею следует заниматься тем, кто еще не может или уже не может делать ничего другого». Великолепная сервировка. Все алюминий и хрусталь; по средней полосе широких столов расставлены вазы с цветами, блюда уже на столе; вошли работающие; все садятся за обед—и они, и готовившие обед. «А кто ж будет прислуживать?» «Когда? во время стола? зачем? Ведь всего пять, шесть блюд: те, которые должны быть горячие, поставлены на таких местах, что не остынут; видишь, в углублениях, — это ящики с кипятком, — говорит старшая сестра. Ты хорошо живешь, ты любишь хороший стол, часто у тебя бывает такой обед?». — «Несколько раз в год». У них это обыкновенный; кому угодно, тот имеет лучше, какой угодно, но тогда особый расчет; а кто не требует себе особенного против того, что делается для всех, с тем нет никакого расчета. И все так: то, что могут по средствам своей компании все, за то нет расчетов; за каждую особую вещь или прихоть — расчет».

— Неужели ж это мы? Неужели это наша земля? Я слышала нашу песню, они говорят по-русски. «Да, ты видишь невдалеке реку, — это Ока; эти люди мы, ведь с тобою я, русская!». — И ты все это сделала? «Это все сделано для меня, и я одушевляла делать это, я одушевляю совершенствовать это, но делает это вот она, моя старшая сестра, она работница, а я только наслаждаюсь». — И все так будут жить? «Все, — говорит старшая сестра, — для всех вечная весна и лето, вечная радость. Но мы показали тебе только конец моей половины дня, работы, и начало ее половины; — мы еще посмотрим на них вечером, через два месяца».

9.

Цветы завяли; листья начинают падать с деревьев; картина становится уныла. «Видишь, на это скучно было бы смотреть, тут было бы скучно жить, — говорит младшая сестра, — я так не хочу». Залы пусты, на полях и в садах тоже нет никого, — говорит старшая сестра, — я это устроила по воле своей сестры царицы». — Неужели дворец в самом деле опустел? «Да, ведь здесь холодно и сыро, зачем же быть здесь? Здесь из 2.000 человек осталось теперь десять, двадцать человек оригиналов, которым на этот раз показалось приятным разнообразием остаться здесь, в глуши, в уединении, посмотреть на северную осень. Через несколько времени, зимою здесь будут беспрестанные смены, будут приезжать маленькими партиями любители зимних прогулок, провести здесь несколько дней по-зимнему».

— Но где ж они теперь? «Да везде, где тепло и хорошо, — говорит старшая сестра: — на лето, когда здесь много работы и хорошо, приезжает сюда множество всяких гостей с юга; мы были в доме, где вся компания из одних вас; но множество домов построено для гостей, в других и разноплеменные гости и хозяева поселяются вместе, кому как нравится, такую компанию и выбирает. Но принимая летом множество гостей, помощников в работе, вы сами на 7 — 8 плохих месяцев вашего года уезжаете на юг, — кому куда приятнее. Но есть у вас на юге и особая сторона, куда уезжает главная масса ваша. Это сторона так и называется Новая Россия». — Это где Одесса и Херсон? — «Это в твое время; а теперь смотри, вот где Новая Россия».

Горы, одетые садами; между гор узкие долины, широкие равнины. «Эти горы были прежде голые скалы, — говорит старшая сестра. — Теперь они покрыты толстым слоем земли, и на них среди садов растут рощи самых высоких деревьев: внизу во влажных ложбинах плантации кофейного дерева; выше финиковые пальмы, смоковницы; виноградники перемешаны с плантациями сахарного тростника; на нивах есть и пшеница, но больше рис». — Что ж это за земля? — «Поднимемся на минуту повыше, ты увидишь ее границы». На далеком северо-востоке две реки, которые сливаются вместе прямо на востоке от того места, с которого смотрит Вера Павловна; дальше к югу, все в том же юго-восточном направлении, длинный и широкий залив; на юге далеко идет земля, расширяясь все больше к югу между этим заливом и длинным узким заливом, составляющим ее западную границу. Между западным узким заливом и морем, которое очень далеко на северо-западе, узкий перешеек. — Но мы в центре пустыни? — говорит изумленная Вера Павловна. «Да, в центре бывшей пустыни; а теперь, как видишь, все пространство с севера, от той большой реки на северо-востоке, уже обращено в благодатнейшую землю, в землю такую же, какою была когда-то и опять стала теперь та полоса по морю на север от нее, про которую говорилось в старину, что она «кипит молоком и медом». Мы не очень далеко, ты видишь, от южной границы возделанного пространства, горная часть полуострова еще остается песчаною

бесплодною степью, какою был в твое время весь полуостров; с каждым годом, люди, вы, русские, все дальше отодвигаете границу пустыни на юг. Другие работают в других странах; всем и много места, и довольно работы, и просторно, и обильно. Да, от большой северо-восточной реки, все пространство на юг до половины полуострова зеленеет и цветет, по всему пространству стоят, как на севере, громадные здания, в трех, в четырех верстах друг от друга, будто бесчисленные громадные шахматы на исполинской шахматнице. «Спустимся к одному из них»,— говорит старшая сестра.

Такой же хрустальный громадный дом, но колонны его белые. «Они потому из алюминия, — говорит старшая сестра, — что здесь ведь очень тепло, белое меньше разгорячается на солнце, это несколько дороже чугуна, но по здешнему удобнее». Но вот что они еще придумали: на дальнее расстояние кругом хрустального дворца идут ряды тонких, чрезвычайно высоких столбов, и на них, высоко над дворцом, над всем дворцом и на полверсты вокруг него, растянут белый полог. «Он постоянно обрызгивается водою, — говорит старшая сестра: — видишь, из каждой колонны подымается выше полога маленький фонтан, разлетающийся дождем вокруг, поэтому жить здесь прохладно; ты видишь, они изменяют температуру, как хотят». — А кому нравится зной и яркое здешнее солнце? «Ты видишь, вдали есть павильоны и шатры. Каждый может жить, как ему угодно; я к тому веду, я все для этого только и работаю». — Значит, остались и города для тех, кому нравится в городах? «Не очень много таких людей; городов осталось меньше прежнего, — почти только для того, чтобы быть центрами сношений и перевозки товаров, у лучших гаваней, в других центрах сообщений, но эти города больше и великолепнее прежних; все туда ездят на несколько дней для разнообразия; большая часть их жителей беспрестанно сменяется, бывает там для труда, на недолгое время». — Но кто хочет постоянно жить в них? «Живут, как вы живете в своих Петербургах, Парижах, Лондонах, — кому ж какое дело? кто станет мешать? Каждый живи, как хочешь; только огромнейшее большинство, 99 человек из 100, живут так, как мы с сестрою показываем тебе, потому что это им приятнее и выгоднее. Но иди же во дворец, уж довольно поздний вечер, пора смотреть из них».

— Но нет, прежде я хочу же знать, как это сделалось? «Что» — То что бесплодная пустыня обратилась в плодороднейшую землю, где почти все мы проводим две трети нашего года. «Как это сделалось? да что ж тут мудреного? Ведь это сделалось не в один год, и не в десять лет, я постепенно подвигала дело. С северо-востока, от берегов большой реки, с северо-запада, от прибрежья большого моря, — у них так много таких сильных машин, — возили глину, она связывала песок, проводили каналы, устраивали орошение, явилась зелень, явилось и больше влаги в воздухе; шли вперед шаг за шагом, по нескольку верст, иногда по одной версте в год, как и теперь все идут больше на юг, что ж тут особенного? Они только стали умны, стали обращать на пользу себе громадное количество сил и средств, которые прежде тратили без пользы или прямо во вред себе. Не даром же я работаю и учу. Трудно было людям только понять, что полезно, они

были в твое время еще такими дикарями, такими грубыми, жестокими, безрассудными, но я учила и учила их; а когда они стали понимать, исполнять было уже не трудно. Я не требую ничего трудного, ты знаешь. Ты кое-что делаешь по-моему, для меня, — разве это дурно?» — Нет. «Конечно, нет. Вспомни же свою мастерскую, разве у вас было много средств? разве больше, чем у других?» — Нет, какие ж у нас были средства? «А ведь твои швеи имеют в десять раз больше удобств, в двадцать раз больше радостей жизни, во сто раз меньше испытывают неприятного, чем другие, с такими же средствами, какие были у вас. Ты сама доказала, что и в твое время люди могут жить очень привольно. Нужно только быть рассудительными, уметь хорошо устроиться, узнать, как выгоднее употреблять средства».—Так, так; я это знаю.— «Иди же еще посмотреть немножко, как живут люди через несколько времени после того, как стали понимать то, что давно понимала ты».

10.

Они входят в дом. Опять такой же громаднейший, великолепный зал. Вечер в полном своем просторе и веселье, прошло уж три часа после заката солнца. Самая пора веселья. Как ярко освещен зал, чем же? — нигде не видно ни канделябров, ни люстр; ах, вот что! — в куполе зала большая площадка из матового стекла, через нее льется свет, — конечно, такой он и должен быть: совершенно, как солнечный, белый, яркий и мягкий, — ну, да, это электрическое освещение. В зале около тысячи человек народа, но в ней могло бы свободно быть втрое больше. «И бывает, когда приезжают гости,—говорит светлая красавица,—бывает и больше».—Так что ж это? разве не бал? Это разве простой будничный вечер? «Конечно».—А по-нынешнему, это был бы придворный бал, так раскошна одежда женщин, да, другие времена, это видно и по покрою платья. Есть несколько дам и в нашем платье, но видно, что они оделись так, для разнообразия, для шутки; да, они дурачатся, шутят над своим костюмом; на других другие, самые разнообразные костюмы, разных восточных и южных покроев, все они грациознее нашего; но преобладает костюм, похожий на тот, какой носили гречанки в изящнейшее время Афин — очень легкий и свободный, и на мужчинах тоже широкое, длинное платье без тальи, что-то вроде мантий и матиев; видно, что это обыкновенный домашний костюм их, как это платье скромно и прекрасно! как мягко и изящно обрисовывает оно формы, как возвышает оно грациозность движений! И какой оркестр, более ста артистов и артисток, но особенно, какой хор! «Да, у вас в целой Европе не было десяти таких голосов, каких ты в этом зале найдешь целую сотню, и в каждом другом столько же: образ жизни не тот, очень здоровый и вместе изящный, потому и грудь лучше, и голос лучше», — говорит светлая царица. Но люди в оркестре и в хоре беспрестанно меняются: одни уходят, другие становятся на их место, — они уходят танцовать, они приходят из танцующих.

У них вечер, будничный обыкновенный вечер, они каждый вечер так веселятся и танцуют; но когда же я видела такую энергию веселья?

но как и не иметь их веселью энергии, неизвестной нам?—Они поутру наработались. Кто не наработался вдоволь, тот не приготовил нервов, чтобы чувствовать полноту веселья. И теперь веселье простых людей, когда им удается веселиться, более радостно, живо и свежо, чем наше: но у наших простых людей скудны средства для веселья, а здесь средства богаче, нежели у нас; и веселье наших простых людей смущается воспоминанием неудобств и лишений, бед и страданий, смущается предчувствием того же впереди, — это мимолетный час забытья нужды и горя, — а разве нужда и горе могут быть забыты вполне? разве песок пустыни не заносит? разве миазмы болота не заражают и небольшого клочка хорошей земли с хорошим воздухом, лежащего между пустынею и болотом? А здесь нет ни воспоминаний, ни опасений нужды или горя; здесь только воспоминания вольного труда в охоту, довольства, добра и наслаждения, здесь и ожидания только все того же впереди. Какое же сравнение! И опять: у наших рабочих людей нервы только крепки, потому способны выдерживать много веселья, но они у них грубы, не восприимчивы. А здесь: нервы и крепки, как у наших рабочих людей, и развиты, впечатлительны, как у нас; приготовленность к веселью, здоровая, сильная жажда его, какой нет у нас, какая дается только могучим здоровьем и физическим трудом, в этих людях соединяется со всею тонкостью ощущений, какая есть в нас; они имеют все наше нравственное развитие вместе с физическим развитием крепких наших рабочих людей: понятно, что их веселье, что их наслаждение, их страсть, — все живее и сильнее, шире и сладостнее, чем у нас. Счастливые люди!

Нет, теперь еще не знают, что такое настоящее веселье, потому что еще нет такой жизни, какая нужна для него, и нет таких людей. Только такие люди могут вполне веселиться и знать весь восторг наслаждения! Как они цветут здоровьем и силою, как стройны и грациозны они, как энергичны и выразительны их черты! Все они — счастливые красавцы и красавицы, ведущие вольную жизнь труда и наслаждения, — счастливцы, счастливцы!

Шумно веселится в громадном зале половина их, а где ж другая половина? «Где другие? — говорит светлая царица, — они везде; многие в театре, одни актерами, другие музыкантами, третьи зрителями, как нравится кому; иные рассеялись по аудиториям, музеям, сидят в библиотеке; иные в аллеях сада, иные в своих комнатах, или чтобы отдохнуть наедине, или с своими детьми, но больше, больше всего — это моя тайна. Ты видела в зале, как горят щеки, как блистают глаза; ты видела, они уходили, они приходили; они уходили — это я увлекла их, здесь комната каждого и каждой — мой приют, в них мои тайны ненарушимы, занавесы дверей, роскошные ковры, поглощающие звук, там тишина, там тайна; они возвращались — это я возвращала их из царства моих тайн на легкое веселье. Здесь царствую я».

«Я царствую здесь. Здесь все для меня! Труд — заготовление свежести чувств и сил для меня, веселье — приготовление ко мне, отдых после меня. Здесь я — цель жизни. Здесь я — вся жизнь».

11.

«В моей сестре, царице, высшее счастие жизни, — говорит старшая сестра, — но ты видишь, здесь всякое счастие, какое кому надобно. Здесь все живут, как лучше кому жить, здесь всем и каждому — полная воля, вольная воля».

«То, что мы показали тебе, не скоро будет в полном своем развитии, какое видела теперь ты. Сменится много поколений, прежде, чем вполне осуществится то, что ты предощущаешь. Нет, не много поколений: моя работа идет теперь быстро, все быстрее с каждым годом, но все-таки ты еще не войдешь в это полное царство моей сестры; по крайней мере, ты видела его, ты знаешь будущее. Оно светло, оно прекрасно. Говори же всем: вот что в будущем, будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее сколько можете перенести: настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы умеете перенести в нее из будущего. Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее все, что можете перенести».

Н. Г. Чернышевский.

Речь Бардиной на процессе 50-ти

Не отрицая факта пропаганды на фабрике Лазарева, я никак не могу согласиться с обвинением, причисляющим меня к организации: я не могла к ней принадлежать уже по одной той причине, что тогда (в апреле) этой организации, как видно, еще не существовало. Само обвинение колеблется назвать апрельскую группу подсудимых организованным тайным обществом и говорит только, что это было какое-то ядро, какой-то зародыш, из остатков коего впоследствии выросла организация. Я не знаю, под какую вообще статью подводятся зародыши будущих организаций, не знаю, составляли ли другие подсудимые такой зародыш или же организованное общество; знаю только хорошо, что я, лично, действовала совершенно самостоятельно, не сообразуясь с какой-либо программой, выработанной каким-либо тайным обществом.

Обвинение опирается на факт моего знакомства с некоторыми подсудимыми, принадлежавшими впоследствии к этой организации, но здесь уже было прекрасно доказано многими, что факт знакомства не может служить признаком принадлежности к тайному обществу, так что мне ничего больше не остается говорить об этом. Обвинение напирает на совместное будто бы проживательство всех подсудимых апрельской группы, но из судебного следствия выяснилось, что все они или имели свои собственные квартиры, или проживали в то время на фабриках, а следовательно, не могли одновременно проживать у меня. В Сыромятниках вместе с другими я также не могла проживать по той простой причине, что в то самое время жила на фабрике Лазарева, и сама свидетельница Дарья Скворцова показала, если Особое Присутствие потрудится припомнить, что к ней раньше всех явились две девушки, Аннушка и Маша, которые в то время жили на машинах, т.-е. на фабри-

ках. Между тем с московских фабрик отпускают рабочих только по праздникам до 10 часов вечера, следовательно, я в крайнем случае могла приходить в Сыромятники по праздничным дням, но не жить там. Обвинение считает мою квартиру в д. Корак одним из революционных притонов, но я напомню Особому Присутствию, что в такого рода местах, обыкновенно, встречается целый склад книг, шифрованная и нешифрованная переписка, адресы, химические реактивы и т. п.; у меня же не найдено ни одной революционной книги, не взято ни до, ни после ареста шифрованной переписки и даже абсолютно никакой переписки, ни одного документа, из которого можно бы было заключить о моей принадлежности к какому-либо тайному обществу.

Обвинение весьма смело утверждает, что в письме от 26 июля, найденном в Иванове-Вознесенске, упоминается моя фамилия, но обвинение, вероятно, забыло: там моей фамилии не находится, а упоминается какая-то кличка, которую обвинение, неизвестно почему, приписывает мне. Я еще во время судебного следствия имела удовольствие просить обвинительную власть указать мне те основания, опираясь на которые, она предписывает мне эту кличку, но обвинительная власть не сочла нужным это сделать, и я остаюсь в прежнем недоумении относительно этого обстоятельства. В том письме говорится, что «тетка сидит в Городской», и что «ей кто-то послал письмо, а она его изорвала», но ведь в Городской сидела тогда не одна я—это раз, во-вторых, автор письма мог ошибиться: ему могли сказать, что искомая им личность сидит в Городской, тогда как ее могло там и не быть. Такого рода ошибки могли случиться. Наконец, предположим даже, что эта кличка принадлежит мне, что меня искали, обо мне справлялись, но ведь в программе лиц, которым принадлежит это письмо, не сказано, что следует заводить сношения только с арестованными членами своей организации, а вообще с заключенными — это раз; кличка же сама по себе ничего не доказывает, ибо опять в той же самой программе не говорится, чтобы следовало исключительно давать клички членам своей организации: они могли легко даваться и прочим знакомым; что это так и было—доказывает следующий факт: в том же, кажется, письме от 26 июля говорится: «Одесская община предлагает принять Санчо в нашу организацию», следовательно, личность, известная под названием Санчо, носила эту, как говорит обвинение, кличку ранее, чем она стала членом организации — следовательно, как простой знакомый. Я думаю, что доказательнее этого факта трудно что-нибудь представить в данном случае. Подобные клички давались даже властям, так, напр., в одном письме было сказано, что четвероногие делали допрос о том-то. Таким образом, строя обвинение на кличках, приходится и лиц, производивших дознание, причислить к преступной организации...

Я отказываюсь от чести принадлежать к этой организации не из страха наказания, ибо против меня существуют более веские обвинения, которых я и сама не отрицаю, но я защищаюсь теперь потому только, что это мне кажется пристрастным, если не нелогичным, пристрастным и несправедливым даже с юридической точки зрения.

Я с своей точки зрения ни в чем не считаю себя виновной и подлежащей наказанию, ибо никакого вреда обществу или народу прине-

сти не желала и не принесла, надеюсь; конечно, меня так же, как и других подсудимых, обвиняют в стремлении разрушить священные основы собственности, семьи, религии, государства, в возбуждении к бунту и стремлении водворить анархию в обществе. Все это было бы весьма ужасно, если бы было справедливо. Но дело в том, что все эти обвинения основаны на одном только недоразумении, которое я постараюсь теперь об'яснить, если суд меня выслушает.

Собственности я никогда не отрицала, напротив, я осмеливалась даже думать, что я защищаю собственность, ибо я признаю, что каждый человек имеет право на собственность, обеспеченную его личным производительным трудом и что каждый человек должен быть полным хозяином своего труда и его продукта. И скажите после этого, — я ли, имея такие взгляды, подрывала основы собственности,—или тот фабрикант, который, платя рабочему за одну треть его рабочего дня, две трети берет даром! Или тот спекулянт, который, играя на бирже, разоряет тысячи семейств, обогащаясь на их счет и сам не производя ничего?

Коммунизма, как нечто обязательное, ни я, никто другой из пропагандистов также не проповедует. Мы только выставляем на первый план право рабочего на полный продукт его труда. Затем, как он распорядится с этим продуктом — обратит ли его в общую или частную собственность — это его уже дело. Мы этих вопросов предрешать теперь не беремся, и не можем предрешать, принимая во внимание, что такой строй может осуществиться в далеком будущем, и что подобные детали могут быть выработаны только практикой.

Относительно *семьи* я также не знаю: подрывает ли ее тот общественный строй, который заставляет женщину бросать семью и итти для скудного заработка на фабрику, где неминуемо развращается и она и ее дети; тот строй, который вынуждает женщину, вследствие нищеты, бросаться в проституцию и который санкционирует эту проституцию, как явление законное, необходимое во всяком благоустроенном государстве; или подрываем семью мы, которые стремимся искоренить эту нищету, служащую причиной всех общественных бедствий, в том числе и разрушения семьи?

Относительно *религии* я могу сказать только, что я всегда оставалась верна ее духу и существенным ее принципам, в том их чистом виде, в каком они проповедывались самим основателем христианства. Кроме того, должна заметить, что ни один свидетель и не говорил, что ему пропагандировали что-либо относительно религиозных вопросов, чтобы отрицали бога и т. п. Свидетельница Дарья Скворцова говорит, например: «бога-то они на небесах признавали, только личность его не признавали», т.-е. относились безразлично к некоторым обрядам церкви, к почитанию икон и т. п. Поэтому о религии я ничего больше говорить не буду.

В подрывании *государства* я столь же мало виновата. Я, вообще, думаю, что усилия единичных личностей подорвать государства не могут.

Если государства разрушаются, то это обыкновенно происходит от того, что они сами в себе носят зародыш разрушения. Так, например,

древние государства исчезли с лица земли, ибо они были основаны на рабстве,— на таком базисе, который, как давно известно, не способствует развитию общества. Конечно, если какое-нибудь данное государство держит свой народ в политическом, экономическом и умственном рабстве, если оно массой неоплатных податей, капиталистической эксплоатацией рабочего и другими ненормальными экономическими и политическими отношениями доводит его до нищеты, болезней, преступлений, — то, конечно, говорю я, — такое государство само ведет себя к гибели, но в этом не виноваты единичные личности и группы, а, следовательно, не за что ожесточенно преследовать и наказывать их. В противном же случае, т.-е., если государство находится в совершенно благонадежном состоянии, то усилия этих лиц не могут грозить ему ровно никакой опасностью, следовательно, наказывать их опять-таки не представляется надобности. Вот почему для меня совершенно непонятна логика обвинительной власти, говорящей, что, «конечно, опасности для государства тут никакой не может быть», но что «опасность все-таки существует». Мне кажется, что решение этой дилеммы может быть только одно.

Меня обвиняют в возбуждении к *бунту*. Но к непосредственному бунту я никогда не возбуждала народ и не могла возбуждать, ибо полагаю, что революция может быть результатом целого ряда исторических условий, а не подстрекательства единичных личностей. Резня сама по себе для меня, конечно, совсем не желательна. Я вовсе не имею тех кровожадных и свирепых наклонностей, которые всякое обвинение так охотно приписывает всем пропагандистам. Если бы тот идеальный общественный строй, о котором мы мечтаем, мог быть осуществлен без всякого насильственного переворота, то, конечно, мы все были бы рады этому от души. Я полагаю только, что насильственная революция при известных обстоятельствах есть неизбежное зло, которое должно исчезнуть рано или поздно, помимо даже всяких усилий отдельных лиц или групп...

Председатель, сенатор Петерс: Эти рассуждения не идут к делу.

Бардина: Я желаю только изложить *свой взгляд на революцию и пропаганду:* думаю, что мои взгляды совпадают со взглядом многих других подсудимых, и что поэтому мое об'яснение будет не бесполезно, если выставить господам судьям пропагандистов в их настоящем свете. Я, господа, принадлежу к разряду тех людей, которые между молодежью известны под именем *мирных пропагандистов*. Задача их — *внести в сознание народа идеалы лучшего, справедливейшего общественного строя, или же уяснить те идеалы, которые коренятся в нем бессознательно;* указать ему недостатки настоящего строя, дабы в будущем не было тех же ошибок, но, когда наступит это будущее, мы не определяем и не можем определить. Ибо, конечное его осуществление от нас не зависит. Я полагаю, что от такого рода пропаганды до подстрекательства к бунту еще весьма далеко. Обвинение говорит, что мы желаем уничтожить классы и понимаем это в таком смысле, что мы хотим вырезать поголовно всех помещиков, дворян, чиновников, купцов и всех богатых вообще. Но это опять-таки недоразумение. Мы стремимся уничтожить *привилегии,* обусловливающие деления людей на классы—на имущих и

неимущих, *но не самые личности,* составляющие эти классы. Я полагаю, что нет даже физической возможности вырезать такую массу людей, если бы у нас и оказались такие свирепые наклонности, и мы не хотим также основать какое-то *царство рабочего сословия* как сословия, которое, в свою очередь, стало бы угнетать другие сословия, как то предполагает обвинение. Мы стремимся *ко всеобщему счастью и равенству* постольку, поскольку оно не зависит, конечно, от личных особенностей, от особенностей темперамента, пола, возраста и т. п. Это может показаться утопичным, но, во всяком случае, уже *кровожадного и безнравственного* здесь ничего нету. На западе такого рода пропаганда ведется каждодневно и решительно никого не поражает своим радикализмом, не смущает умы и не волнует общество; может быть, потому, что там давно привыкли обсуждать все подобные вопросы, главным образом, публично...

Обвинение называет нас *политическими революционерами,* но если бы мы стремились произвести coup d'état, то мы не так стали бы действовать, мы не пошли бы в народ, который еще нужно подготовлять, да развивать, а стали бы искать и сплачивать недовольные элементы между образованными классами. Это было бы целесообразнее, но дело то именно в том, что мы к такому coup d'état вовсе не стремимся. Обвинение говорит еще, что мы хотим водворить анархию в обществе. Да, мы, действительно, стремимся к *анархическому* устройству общества, но дело в том, что это слово надо понимать в том смысле, в каком его понимает современная литература и я лично, т.-е., что оно вовсе не означает беспорядка и произвола. Анархия, напротив, стремится водворить *гармонию и порядок* во всех общественных отношениях. Она не есть произвол личности, ибо она признает, что свобода одного лица кончается там, где начинается свобода другого. Она есть только отрицание той утесняющей власти, которая подавляет всякое свободное развитие общества.

Итак, разобрав все возведенные на меня преступления, я нахожу, что я, в сущности, *ни в одном из них не виновата.* Но как бы то ни было, и какова бы ни была моя участь, я, господа судьи, не прошу у вас милосердия и не желаю его. Преследуйте нас, как хотите, но я глубоко убеждена, что такое широкое движение, продолжающееся уже несколько лет кряду, и вызванное, очевидно, самим духом времени, не может быть остановлено никакими репрессивными мерами...

Председатель, сенатор Петерс: Нам совсем не нужно знать, в чем вы так убеждены.

Бардина: Оно может быть подавлено на некоторое время, но тем с большей силой оно возродится снова, как это всегда бывает после всякой реакции подобного рода и так *будет продолжаться* до тех пор, пока наша идея не восторжествует. Я убеждена еще в том, что наступит день, когда даже наше сонное и ленивое общество проснется, и стыдно ему станет, что оно так долго позволяло безнаказанно топтать себя ногами, вырывать у себя своих братьев, сестер и дочерей и губить их за одну только свободную исповедь своих убеждений. И тогда оно отомстит за нашу гибель... Преследуйте нас—за вами пока материальная сила, господа, но *за нами сила нравственная,* сила исторического прогресса, сила идеи, а идеи, — увы — на штыки не улавливаются.

Последнее слово на суде

Среди тишины, наэлектризованной общим вниманием, голосом, в котором звучало сдержанное волнение, я произнесла свое последнее слово.

«В настоящее время рассмотрению суда подлежат мои действия, начиная с 1879 г. Прокурор в своей обвинительной речи выразил удивление, как по отношению к их качеству, так и по отношению к их количеству. Но эти преступления, как и всякие другие, имеют свою историю. Они находятся в неразрывной логической связи со всей предыдущей моею жизнью. Во время предварительного заключения я часто думала, могла ли моя жизнь итти иначе, чем она шла, и могла ли она кончиться чем-либо иным, кроме скамьи подсудимых? И каждый раз я отвечала себе: Нет!

Я начала жизнь при очень благоприятных обстоятельствах. По образованию я не нуждалась в руководителях: меня не нужно было водить на помочах. Семья у меня была развитая и любящая, так что борьбы, которая так часто бывает между старым и молодым поколением, я не испытывала. Материальной нужды и заботы о куске хлеба или об экономической самостоятельности—я не знала. Когда я вышла 17 лет из Института, во мне первый раз зародилась мысль о том, что не все находятся в таких благоприятных условиях, как я. Смутная идея о том, что я принадлежу к культурному меньшинству, возбуждала во мне мысль об обязанностях, которые налагает на меня мое положение по отношению к остальной некультурной массе, которая живет изо дня в день, погруженная в физический труд и лишенная того, что обыкновенно называется благами цивилизации. В силу этого представления о контрасте между моим положением и положением окружающих у меня явилась первая мысль о необходимости создать себе цель в жизни, которая клонилась бы ко благу этих окружающих.

Русская журналистика того времени и то женское движение, которое было в полном разгаре в начале 70-х годов, дали готовый ответ на запросы, которые у меня возникли, они указали на деятельность врача, как на такую, которая может удовлетворить моим филантропическим стремлениям.

Тогда женская академия в Петербурге была уже открыта, но она с самого начала отличалась той хилостью, которою отличается и до сих пор, постоянно борясь между жизнью и смертью; а так как решение мое было твердое, и я не хотела в силу случайности сойти с раз принятого пути, то я решилась отправиться за границу.

И вот, значительно перекроив свою жизнь, я поехала в Цюрих и поступила в университет. Заграничная жизнь представляет большое различие с русской. Явления, которые я там встретила, были для меня вполне новы. Я не была подготовлена к ним тем, что раньше видела и раньше знала; не была подготовлена к правильной оценке всего того, что встретила. Идея социализма была воспринята мной первоначально почти инстинктивно. Мне казалось, что она есть не что иное, как расширение той филантропической идеи, которая у меня возникла раньше.

Учение, которое обещает равенство, братство и общечеловеческое счастье, должно было подействовать на меня ослепляющим образом. Мой горизонт расширился: вместо каких-нибудь тетюшан, у меня явилось представление о народе, о человечестве. Кроме того, я приехала за границу в такой период, когда только-что совершившиеся события в Париже и происходившая тогда революция в Испании вызвали сильный отклик во всем рабочем мире Запада. Между прочим я познакомилась с учением и организацией Интернационала. Я могла только впоследствии оценить, что многое из того, что я видела тогда, было лишь казовым концом. Кроме того, я не смотрела на рабочее движение, с которым познакомилась, как на продукт западно-европейской жизни, и считала, что то же учение пригодно для *всякого времени* и для *всякого места*.

За границей, увлекшись социалистическими идеями, я вступила в первый революционный кружок, в котором участвовала моя сестра Лидия. Его организация была весьма слабая: каждый член мог приступить к деятельности, когда угодно и в какой угодно форме. Деятельность же состояла в пропаганде идей социализма, в радужной надежде, что народ, в силу бедности и своего социального положения, уже социалист, что достаточно одного слова, чтоб он воспринял социалистические идеи.

То, что мы называли тогда социальной революцией, имело скорее характер мирного переворота, т.-е. мы думали, что меньшинство, враждебное социализму, видя невозможность борьбы, принуждено будет уступить большинству, сознавшему свои интересы, так что о пролитии крови не было и речи.

Я оставалась за границей почти четыре года. Я отличалась всегда некоторым консерватизмом в том смысле, что принимала решения не быстро, но, раз приняв их, отступала уже с трудом. Поэтому, когда весной 1874 г. кружок почти весь отправился в Россию, я осталась за границей, чтоб продолжать изучение медицины.

Моя сестра и другие члены сообщества кончили свою карьеру весьма бедственно. Два-три месяца работы на фабриках в качестве работниц и рабочих повлекли двух- и трех-летнее предварительное заключение, а затем суд, который приговорил некоторых из них на каторгу, а других — в Сибирь на поселение и житье. Когда они находились в тюрьме, то сделали призыв: мне предложили явиться в Россию с целью поддержать дело кружка. Так как я получила уже достаточно медицинских знаний и думала, что получение звания доктора медицины и хирургии будет удовлетворять только тщеславию, то и отправилась в Россию.

Тут мне пришлось на первых же порах испытать кризис: движение в народ уже потерпело поражение. Тем не менее, я нашла достаточное количество людей, которые казались мне симпатичными, которым я доверяла и с которыми сошлась. Вместе с ними я участвовала в выработке той программы, которая известна под названием программы народников.

Я отправилась в деревню. Программа народников, как суду известно, имела цели, конечно, неразрешенные законом, потому что выставляла своей задачей передачу всей земли в руки крестьянской общины. Но прежде чем это совершится, та роль, которую должны были играть революционеры, живя в народе, должна была заключаться в том,

что во всех государствах называется не иначе, как культурной деятельностью. Таким образом, и я явилась в деревню с вполне революционными задачами, но по тому, как я вела себя по отношению к крестьянам, как я действовала, я думаю, я не подверглась бы никакому преследованию нигде, кроме России, и даже считалась бы небесполезным членом общества.

Я поступила в земство, как фельдшерица.

В очень скором времени против меня составилась целая лига, во главе которой стояли: предводитель дворянства и исправник, а в хвосте — урядник, волостной писарь и т. п. Про меня распространяли всевозможные слухи: и то, что я беспаспортная, тогда как я жила по собственному виду, и то, что диплом у меня фальшивый, и пр. Когда крестьяне не хотели итти на невыгодную сделку с помещиком, говорили, что виновата я; когда волостной сход уменьшал жалованье писарю, утверждали, что виновата в этом опять-таки я.

Производились негласные и гласные дознания; приезжал исправник; некоторые крестьяне были арестованы: при допросе фигурировало мое имя; было два доноса губернатору, и только благодаря хлопотам, которые принял на себя председатель земской управы, я была оставлена в покое. Вокруг меня образовалась полицейско-шпионская атмосфера: меня стали бояться. Крестьяне обходили задворками, чтоб притти ко мне в дом...

Вот эти-то обстоятельства и привели меня к вопросу, что я могу делать при данных условиях?

Скажу откровенно: я поселилась в деревне в таком возрасте, когда грубых ошибок, в смысле нетактичности, я не могла делать; в том возрасте, когда люди делаются более терпимыми, более внимательными к чужим взглядам. Я хотела изучить почву, узнать, что́ думает сам крестьянин, чего он желает. Я видела, что против меня нет никаких фактов, что меня преследуют, собственно, за дух, за направление: подозревали, что не может быть, чтоб человек, не лишенный образования, поселился в деревне без каких-нибудь самых ужасных целей.

Таким образом, я была лишена возможности даже физического сближения с народом и не могла не только делать что-нибудь, но даже сноситься с ним по поводу самых обыденных целей.

Тогда я задумалась: не делала ли я каких-нибудь ошибок, которых могла бы избежать, переехав в другую местность и повторив опыт? Мне было тяжело расстаться с теми планами, которые у меня были. Четыре года я училась медицине и свыклась с мыслью, что буду работать среди крестьян.

Размышляя на эту тему и собирая сведения о других лицах, я убедилась, что дело не в моей личности и не в условиях данной местности, а в общих условиях, точнее в том, что в России нет политической свободы.

До этого момента мои задачи были общественно-альтруистические: они не затрагивали моих личных интересов. Теперь мне в первый раз пришлось на самой себе испытать неудобства нашего образа правления.

Еще раньше не раз я получала предложение от общества «Земля и Воля» вступить в него и действовать среди интеллигенции. Но в силу

того, что я крепко держалась за раз принятое решение, я не принимала этих предложений и держалась за деревню до последней крайности.

Таким образом, не легкомысленное отношение, а горькая необходимость заставила меня отказаться от первоначальных взглядов и вступить на другой путь.

В то время начали появляться отдельные мнения, что элемент политический должен играть известную роль в задачах революционной партии. В обществе «Земля и Воля» образовались две категории лиц, которые тянули в разные стороны. Когда я покончила с деревней, я заявила обществу «Земля и Воля», что в настоящее время я считаю себя свободной.

В то время мне предстояло одно из двух: или сделать шаг назад, ехать за границу и сделаться доктором, но уже не для крестьян, а для лиц богатых, чего я не хотела, или — что я и предпочла — употребить энергию и силы на то, чтобы сломить то препятствие, о которое разбились мои желания. Поступив в общество «Земля и Воля», я получила приглашение на воронежский с'езд, на котором партия еще не разделилась, но более или менее определенно было высказано, кто чего держится. Одни говорили, что надо действовать попрежнему, т.-е. жить в деревне и организовать восстание народа в какой-нибудь определенной местности, другие считали, что надо жить в городах и направить свою деятельность против правительственной власти.

Из Воронежа я поехала в Петербург, где вскоре общество «Земля и Воля» распалось и мне было предложено сделаться членом Исполнительного Комитета партии «Народной Воли», на что я и из'явила свое согласие. Моя предыдущая жизнь привела меня к убеждению, что единственный путь, которым данный порядом может быть изменен, есть путь насильственный. Мирным путем я итти не могла: печать, как известно, у нас не свободна, так что думать о распространении идей посредством печатного слова — невозможно. Если бы какой-нибудь орган общества указал мне другой путь, кроме насилия, быть может, я бы его выбрала, по крайней мере, испробовала бы. Но я не видела протеста ни в земстве, ни в суде, ни в каких-либо корпорациях; не было воздействия и литературы в смысле изменения той жизни, которою мы живем,—так что я считала, что единственный выход из того положения, в котором мы находимся, заключается в насильственной деятельности.

Раз приняв это положение, я пошла этим путем до конца. Я всегда требовала от личности, как от других, так, конечно, и от себя, последовательности и согласия слова с делом, и мне казалось, что, если я теоретически признала, что лишь насильственным путем можно что-нибудь сделать, — я обязана принимать и непосредственное участие в насильственных действиях, которые будут предприняты той организацией, к которой я примкнула. К этому меня принуждало очень многое. Я не могла бы со спокойной совестью привлекать других к участию в насильственных действиях, еслиб я сама не участвовала в них: только личное участие давало мне право обращаться с различными предложениями к другим лицам. Собственно говоря, организация «Народной Воли» предпочитала употреблять меня на другие цели — на пропаганду среди интеллигенции, но я хотела и требовала себе другой роли: я знала,

что и суд всегда обратит внимание на то, принимала ли я непосредственное участие в деле, и то общественное мнение, которому *одному* дают возможность свободно выражаться, обрушивается всегда с наибольшей силой на тех, кто принимает непосредственное участие в насильственных действиях, так что я считала прямо подлостью толкать других на тот путь, на который сама не шла бы.

Вот об'яснение той «кровожадности», которая должна казаться такой страшной и непонятной и которая выразилась в тех действиях, одно перечисление которых показалось бы суду циничным, если бы оно не вытекало из таких мотивов, которые, во всяком случае, мне кажется, не бесчестны.

В программе, по которой я действовала, самой существенной стороной, имевшей для меня наибольшее значение, было уничтожение абсолютистского образа правления. Собственно, я не придаю практического значения тому, стоит ли у нас в программе республика или конституционная монархия. Я думаю — можно мечтать и о республике, но что воплотится в жизнь лишь та форма государственного устройства, к которой общество окажется подготовленным, — так что вопрос этот не имеет для меня особенного значения. Я считаю самым главным, самым существенным, чтоб явились такие условия, при которых личность имела бы возможность всесторонне развивать свои силы и всецело отдавать их на пользу общества. И мне кажется, что при наших порядках таких условий не существует».

Когда я кончила, председатель мягко спросил: «Вы сказали все, что хотели?»

— Да, — отвечала я.

И никакие силы земные не помогли бы мне говорить еще, — так велико было мое волнение и усталость.

Сочувственные взгляды, рукопожатия и приветствия товарищей и защитников по окончании речи и в последовавший перерыв удостоверили, что речь произвела впечатление.

Министр юстиции Набоков, присутствовавший на этом заседании и заметивший, что присяжный поверенный Леонтьев стенографировал речь, обратился к нему после заседания с просьбой дать ему копию с нее.

Последний долг был исполнен, и великий покой сошел в мою душу. Говорят, такое блаженное состояние просветленного успокоения бывает перед смертью. Прошлое, с его жгучими переживаниями от картин созидания и разрушения общественных идеалов и целей, с его волнующими впечатлениями от противоположных типов людей, то изумляющих мужеством, то повергающих в отчаяние позорной трусостью, — все, что было пережито в жизни в калейдоскопе великодушного и гнусного, — все отошло куда-то вдаль. Завеса безвозвратного опустилась над трагедией, изжитой до последнего акта. Да! Прошлое отошло, а будущее, грозное будущее с его отрывом от жизни и людей—не наступило. Это была передышка, когда полный событиями, тревожный период жизни завершился, а мертвый период грядущего еще не развернулся даже в предчувствии. И я дышала легко. Цикл служения идее, со всеми воспоминаниями, отравляющими его, был завершен, как цикл жизни

является завершенным для человка, который умирает. А разве я не умирала? Разве гражданская смерть для человека, отдавшегося общественной деятельности, не то же, что смерть физическая для человека частной жизни? И, как он, умирая, может чувствовать блаженное успокоение, так чувствовала его и я, оглядываясь назад и сознавая, что все усилия сделаны, все возможное совершено; что, если я брала от общества и от жизни, то и отдала обществу и жизни все, что только могла дать.

Я изжила все духовные и физические силы—больше не оставалось ничего — исчезла даже и воля к жизни. И в то время, как меня охватывало чувство освобождения от долга перед родиной, перед обществом, партией — я делалась только человеком, дочерью моей матери, сестрой моей сестры, которые одни остались у меня среди общественного разорения.

Я чувствовала себя, как тяжело раненый. Над ним угрозою долго стоял нож хирурга. Но вот операция сделана, она кончена; он снят с операционного стола, наркоз прошел, и он отдыхает в чистой, прохладной, белой постели.

У него отрезана рука, у него отрезана нога, но все тревоги и опасения — позади, сейчас боли нет, и он счастлив, не постигая глубины несчастья, которое ему предстоит и вот-вот постучится к нему в дверь.

Приговор гласил: смертная казнь через повешение мне и семи товарищам,—между ними шести офицерам, судившимся со мной.

После суда произошло следующее.

Ко мне в камеру пришел смотритель Дома предварительного заключения, морской офицер в отставке.

— Военные, приговоренные к смертной казни, решили подать прошение о помиловании, — сказал он. — Но барон Штромберг колеблется и просил узнать ваше мнение, как поступить ему: должен ли он, ввиду желания товарищей, тоже подать прошение, или, не примыкая к ним, воздержаться от этого?

— Скажите Штромбергу,—отвечала я,—что никогда я не посоветую другим делать то, чего ни при каких условиях не сделала бы сама.

Смотритель с укором глядел мне в лицо.

— Какая вы жестокая!—промолвил он.

В. Фигнер.

В. Ленин о корифеях 70-годов

(Из брошюры «Что делать»)

...Вспомните, с каким несравненным, по-истине «Нарцисовским», высокомерием поучали эти мудрецы Плеханова: «рабочим кружкам вообще (sic!) недоступны политические задачи в действительно практическом смысле этого слова, т.-е. в смысле целесообразной и успешной практической борьбы за политические требования». (Ответ ред. «Р. Д.», стр. 24). Есть кружки и кружки, господа! Кружку «кустарей», конечно, недоступны политические задачи, покуда эти кустари не сознали

своего кустарничества и не избавились от него. Если же эти кустари, кроме того, влюблены в свое кустарничество, если они пишут слово «практический» непременно курсивом и воображают, что практичность требует принижения своих задач до уровня понимания самых отсталых слоев массы — то тогда, разумеется, эти кустари безнадежны, и им, действительно, *вообще недоступны политические задачи*. Но кружку корифеев — в роде Алексеева и Мышкина, Халтурина и Желябова, доступны политические задачи в самом действительном, в самом практическом смысле этого слова, доступны именно потому и постольку, поскольку их горячая проповедь встречает отклик в стихийно пробуждающейся массе, поскольку их кипучая энергия подхватывается и поддерживается энергией революционного класса. Плеханов был тысячу раз прав, когда он не только указал этот революционный класс, не только доказал неизбежность и неминуемость его стихийного пробуждения, но и поставил, даже перед «рабочими кружками» высокую и великую политическую задачу. А вы ссылаетесь на возникшее с тех пор массовое движение для того, чтобы *принизить* эту задачу, для того, чтобы *сузить* энергию и размах деятельности «рабочих кружков». Что это такое, как не влюбленность кустаря в свое кустарничество? Вы хвастаетесь своей практичностью, а не видите того, знакомого всякому русскому практику, факта, какие чудеса способна совершить в революционном деле энергия не только кружка, но даже отдельной личности. Или вы думаете, что в нашем движении не может быть таких корифеев, которые были в 70-х годах? Почему бы это? Потому, что мы мало подготовлены? Но мы подготовляемся, будем подготовляться! Правда, на стоячей воде «экономической борьбы с хозяевами и с правительством» образовалась у нас, к несчастью, плесень, появились люди, которые становятся на колени и молятся на стихийность, благоговейно созерцая (по выражению Плеханова) «заднюю» русского пролетариата. Но мы сумеем избавиться от этой плесени. Именно теперь русский революционер, руководимый истинно-революционной теорией, опираясь на истинно-революционный и стихийно-пробуждающийся класс, может наконец — наконец! —выпрямиться во весь свой рост и развернуть все свои богатырские силы. Для этого нужно только, чтобы среди массы практиков, среди еще большей массы людей, мечтающих о практической работе уже со школьной скамьи, всякое поползновение принизить наши политические задачи и размах нашей организационной работы встречало насмешку и презрение. И мы добьемся этого, будьте спокойны, господа!

В. И. Ленин.

Из биографии В. Г. Короленко

Детство

— И на кой чорт угораздило меня, с душой и талантом, родиться в России!.. — жаловался Пушкин.

Вместе с «железным кольцом», переходившим по праву таланта от Пушкина к Тургеневу, от Тургенева к Толстому и от Толстого

к Короленко, — больше чем всякий другой унаследовал Владимир Галактионович Короленко и право на эту горькую жалобу гениального поэта... Ибо чья другая биография может похвалиться таким пестрым географическим маршрутом, такой кандальной подорожной, — из тюрьмы в тюрьму, из острога в острог, из тундры в тундру? В чьем гражданском послужном списке еще так часто повторяется эта полновесная формула российского произвола:

— по неизвестной причине.

«По неизвестной причине», рукою безрассудно-злобных жандармов, губернаторов и исправников юноша с благородной душой и блестящим талантом был прямо со студенческой скамьи брошен в острожный омут, и жизнь его надолго превращена была в хождение по мукам, в крестный подвиг русского революционера.

А между тем по натуре своей В. Г. Короленко меньше всего похож был на бойца-революционера.

Это был мечтатель, полный нежной задумчивости. Один из самых мелодичных писателей русских, душа которого вечно витала в царстве гармонии и звуков. Писатель-музыкант. Мир рисовался ему погруженным в какую-то музыкальную прозрачность, и когда он брался за перо, он точно прислушивался к звону пасхальных колоколов. Призвание его заключалось не в том, чтобы указывать миру на грубые несправедливости и жестокое безобразие жизни. Нет, вдохновение Короленко вечно тянулось в тихий, ласковый, гармонический мир, окутанный дымкой печально-приятных воспоминаний, где всё превращалось в музыкальную сказку, в нежно-певучую поэму. В певучем и ласковом даровании Короленко совершенно отсутствует трагический элемент. Самое мучительное горе, самые искренние слёзы для него, в конце концов, уходят в лучезарную даль и над ними смыкаются с гармоническим шелестом таинственные волны забвения. И в творческой памяти Короленко оставалось только приятно щемящее воспоминание о том, как «Лес шумит», «Река играет», как тихо и радостно грезится «В ночь под светлый праздник», как шевелятся светлые «Тени» и «в атмосфере полу-сна, полу-сказки» ласково вздыхают о величии сияющего неба молодые мечтатели...

И вот, по воле русских исправников, этот молодой мечтатель шагает, оборванный и босой, по Владимирке и ради денного пропитания шьет якутам корявые сапоги.

Свою мечтательную душу Короленко унаследовал от матери-польки. От отца, мирового судьи в Житомире, ему достались неподкупная честность и твердая, мужественная откровенность. И отец, и дед Короленко были твердо преданы православию и носили в крови своей чисто судейскую законопослушность и справедливость.

— В нашей семье, — рассказывает В. Г. Короленко, — был обычай — не обижать святых и давать имена по святцам... Таким образом, отец мой получил название Галактион, его брат попал на созвучного святого и всю жизнь щеголял редким именем Никтополиона. Мои братья получили Юлиана и Иллариона, и, родись я в день святого Псоя, то быть бы мне Псоем Короленко. К счастью, я родился на Владимира — одного из благозвучнейших святых...



чилось это событие в Житомире, 15 июля 1853 года.

Детские и юношеские годы Короленко протекали в тихой семейной обстановке небогатого чиновника. Честный и гуманный судья, строгий законник — этими душевными качествами отца даны были в душе восприимчивого мальчика первые толчки в сторону смутного «народничества». А казенщина, царившая в разговорах и действиях окружающих, и первые столкновения с нелепым формализмом житомирских педагогов, естественно, только усиливали демократические симпатии мальчика. Но были это смутные и неясные тяготения, которые сказывались в стремлении подчеркнуть свою солидарность с дворовыми ребятишками, в отсутствии барской заносчивости. Гораздо значительнее было влияние матери-польки. Красавица, любительница литературы, с запасом патриотического протеста в душе, Эвелина Осиповна Скуревич была душою семьи. В доме говорили по-польски и читались польские книги. С ранних лет воображение В. Г. Короленко питалось мечтами и образами польской литературы. И это, без сомнения, оказало определенное воздействие на его творческую фантазию: и характер, и талант Короленко получили определенный колорит. Историку литературы очень не трудно установить в писательской манере В. Г. Короленко сочетание двух художественных приемов: реалистической манеры Тургенева с манерой польских романтиков. Это и наложило неизгладимую печать на внешний облик его литературных произведений, так заметно сближающих их автора с польскими писателями: Гловацким, Ожешко, Уляницким, Шанявским и друг. Сам Короленко не только не отрицает этого воздействия, но в «Истории моего современника» определенно указывает, что первыми книгами, прочитанными им в детстве, были: исторические песни Немцевича и рассказ «Фомка из Сандомира», которые вместе с материнским влиянием и открыли доступ к душе будущего писателя польскому романтизму.

Так с ранних лет угнездились в груди его два сердца: трезвого отцовского реализма и мечтательной романтики матери. И это сразу заставило его сделать определенные выводы. Сын русского судьи и польки, он, — когда началось польское восстание и эти две стороны заняли враждебные позиции, — очутился перед необходимостью: либо отречься от «тех и других», либо всецело признать «и тех и других». И, движимый сыновней любовью, он выбрал второе и стал наиболее сочувствовать той стороне, которая в каждый данный момент являлась страдающей и угнетенной. Это сближало его с гуманностью отца и с душевными обидами матери, и заложило прочный фундамент его благородной гражданственности, раз навсегда исключив из его народничества малейшие следы шовинизма и квасного патриотизма.

Несмотря на внешние уступки (по взаимному соглашению польский язык был изгнан из домашнего обихода), польская романтика оставалась долгие годы господствующим голосом в душе молодого Короленко, который, незаметно для самого себя, не раз по ночам превращался из сына российского судьи в мечтательного Владека, с великой болью в сердце переживавшего обиды, наносимые его матери-польке. В автобиографии Короленко имеется не мало указаний такого рода. Особенно острые душевные страдания приходилось переживать ему

в разгар польского восстания, когда вместе с матерью бывал он на польских манифестациях в костеле и становился свидетелем той паники, которая охватывала присутствовавших в костеле при крике: «казаки!» Тогда разгоряченному воображению мальчика рисовались сцены, полные протеста и скорби:

«... Казаки! Они врываются в костел. У алтаря на возвышении стоит священник, у его ног женщины, и среди них моя мать. Казаки выстраиваются в ряд и целятся... Но в это время маленький мальчик вскакивает на ступеньки и, расстегивая на груди свой казакин, говорит громким голосом:

— Стреляйте в меня... Я — православный, но не хочу, чтобы оскорбляли веру моей матери.

Казаки стреляют... Дым, огонь, грохот... Я падаю... Я убит, но как-то так счастливо, что потом все жмут мне руку, поляки и польки говорят:

— Это сын судьи, и его мать полька. Благородный молодой человек.

— Этот мальчик прав...—говорят также и русские,—нельзя стрелять в костелах и оскорблять чужую веру...» («Ист. моего современника», стр. 96).

Трезвая действительность, ежедневно проникающая в сердце мечтательного мальчика, пробуждает недоверие к этим романтическим образам, но не убивает в мальчике романтических чувств. С годами фантазия Короленко не так легко расцветает пестрыми красками и мечтательным освещением романтических грез; но они продолжают жить в его душе, глубоко запрятанные внутри, как золотые ключи, которыми, по словам польских сказок, отпирались ворота, ведущие в волшебные сады и заколдованные замки.

Один из таких замков мальчику удалось увидать на-яву, когда отец его перевелся в Ровно, старинный польский городок, с тенистыми парками, тополёвыми аллеями, большими прудами, таинственным кладбищем и фантастическим «за́мком», обвеянным дыханием умирающей старины и гулкой романтики. И хотя в за́мке этом нет и следа тех подземелий, о которых так хорошо рассказал нам Короленко в своей очаровательной повести «В дурном обществе», но и за́мок, и старая униатская часовня, и польское кладбище вошли могучими о́бразами в творчество Короленко и воодушевили и наполнили его тайным трепетом романтической сказки. Здесь же, в Ровно, романтическим грёзам Короленко были нанесены и первые суровые удары. Здесь захватило его реалистическое движение 60-х годов и под влиянием Тургенева, Писемского, Гончарова, под влиянием Златовратского и Печерского «народничество» Короленко принимает более отчетливые очертания.

В 1868 году умирает отец Короленко, не дотянув полгода до пенсии, и семья остается без всяких средств.

Студенческие годы

Новые события и новые мысли врываются в жизнь Короленко. Чувствуется приближение новых времен. В 1870 году В. Г. Короленко, по окончании ровенского реального училища, едет в Петербург с наме-

рением поступить в технологический институт. В кармане у него несколько десятков рублей, с трудом сколоченных матерью; на плечах «пиджачная пара», сшитая в долг из материи для обивки диванов. Торопливо пропускает он мимо ушей наставления матери и дяди и, полный радужных ожиданий, садится в поезд.

В то время вся читающая и думающая Россия была взволнована нечаевским процессом. О нем говорили, спорили. Было ясно, что в рядах молодежи зреет какое-то бодрое настроение. Добренькие и кроткие пискари должны уступить свое место решительным людям. И если их нет сейчас налицо, то их надо выкапывать, находить. На каждого студента тогда смотрели с преувеличенным ожиданием, что в свою очередь вызывало в каждом студенте веру в свое провиденциальное назначение. И В. Г. Короленко не представлял, разумеется, исключения. Под пиджаком из обойной материи билось благородное сердце, воодушевленное стремлением к свободе и смелыми планами. С полной точностью передает нам Короленко в «Истории моего современника» все забавные дорожные приключения, в которые попадает доверчивый юноша. Его надувают, эксплоатируют, обманывают случайные встречные. С простоватой доверчивостью идет он на удочку этих проходимцев. Но не потому, что он наивен и провинциально-неопытен. Перед нами не просто провинциальный ротозей, а чистый, восторженный юноша, у которого каждая либеральная фраза вызывает головокружение и возносит произносящего эту фразу на такую высоту, где и от пошлых поступков веет священной и примирительной серьезностью. Юный Короленко отлично понимает, что в лице странствующего актера Теодора Негри он видит перед собою самого заурядного Хлестакова. Но этот театральный Ламартин с таким чувством выговаривает слово «народ», так патетически цитирует фразы Спасовича из нечаевского процесса, что этого совершенно достаточно, чтобы мечтательное сердце юноши воспламенилось героическим ликованием, и как бы ни были банальны поступки Теодора Негри, в них рисуется Короленко какое-то отрадное сходство с теми неведомыми революционерами, имена которых таинственным шопотом произносят его развязный попутчик. Ибо, как указывает сам Короленко в своих воспоминаниях, все его мысли и мечты в ту пору сводились к одной задаче: «...Кого поставить на высоту, перед кем или перед чем преклоняться? Где те люди, которые знают и могут указать высшее в жизни, к чему стремится молодая душа?...»

Восторженному юноше всюду чудились прославленные революционеры, святые мученики и героические жертвы. А на деле, Петербург оказался холодным, негостеприимным городом, наполненным голодающей молодежью, не знающей, на что употребить свои силы. Перебиваясь случайным заработком, Короленко с утра до вечера был занят либо работой, либо поисками работы. Вскоре заботы о хлебе насущном приняли еще более грозные размеры, так как в Петербург перекочевала вся семья Короленко. Юноша бедствовал, голодал. Незаметно подкралось истощение, петербургская бледность лица и вялость движений. Притуплялось внимание к окружающему. И в один из тоскливых дней возникло решение: надо бежать из Петербурга. 1 февраля 1874 г.

Владимир Галактионович был принят на первый курс Петровско-Разумовской сел.-хоз. академии в Москве.

Здесь Короленко сразу знакомится с целым рядом интересных студентов, попадает в революционно-настроенные кружки и вскоре становится предметом усиленного внимания со стороны охранного отделения. В революционных кружках в то время беспрестанно дебатировался вопрос: может ли цель оправдывать средства? Между тем охранное отделение, не вдаваясь в излишние дебаты, заносит в свои анналы:

«Влад. Короленко — сын надворного советника, уроженец Волынской губ., поступил первого февраля 1874 г. и находится на 3 курсе лесного отделения... В среде близких своих товарищей высказывает вредные противоправительственные идеи».

Такова характеристика, данная жандармами Короленко 22 марта 1876 г. А двумя днями позже — распоряжением того же охранного отделения от 24 марта — Короленко был исключен из академии и выслан в Вологодскую губ. На этот раз, впрочем, ссылка оказалась весьма непродолжительной. Нашелся влиятельный заступник, по ходатайству которого Короленко был переведен из Вологды к матери в Кронштадт, где за ним учрежден был строгий гласный надзор. С этого момента охранное отделение уже не упускает из виду Короленко. Официально положение поднадзорного продолжалось не более месяца. Но в делах и наблюдениях охранки имя В. Г. Короленко фигурирует очень часто, и всякое крупное революционное событие рикошетом почти всегда задевает Влад. Галактионовича. А таких событий в то время уже было не мало! Демонстрация на Казанской площади в 1877 году, выстрел Веры Засулич в Трепова, дело Соколова и Гетманова и друг. Так, в дознании по последнему делу имеются такие агентурные сведения:

«24 марта Короленко доставил Соколову место в типографии Демакова».

«2 апреля Соколов уехал под именем Короленко» и т. д.

Короленко был в то время студентом Горного Института, проживал вместе с братьями и прочими членами семьи в Петербурге и подвергался частым набегам со стороны жандармов, охранников и всякой агентуры. Особенно круто пришлось ему после убийства шефа жандармов Мезенцова. Случилось это убийство в августе 1878 года. Жандармы заволновались. Начались бесконечные обыски и аресты. Не обошли, разумеется, и Короленко. Относящаяся к тому времени справка III отделения гласит:

«По делу об убийстве шефа жандармов генерал-ад'ютанта Мезенцова Владимир Короленко и его брат Илларион были обысканы и арестованы, при чем у них отобраны один экземпляр «Летучего Листка», но на другой день освобождены, так как ничего более не найдено».

Справка заканчивается донесением, послужившим началом целого ряда долгих и очень тяжелых испытаний для В. Г. Короленко:

«С Короленко был знаком Долинин, имевший самое близкое сношение с тайной типографией и бывший сотрудником и корректором революционной газеты «Начало».

Вслед за донесением последовал новый безрезультатный обыск у Короленко. За квартирой началась слежка при помощи дворника.

Потом снова обыск и снова безрезультатный. Через неделю вся семья Короленко была арестована, и в донесениях шустрого агента читаем по этому случаю такую запись:

«После арестования бр. Короленко и зятя их Лошкарева, знающие их радикалы, весьма сожалея об их аресте, говорят о них, как о людях дела, на всё готовых и способных деятелях».

Эта агентурная заметка возымела надлежащее действие и, не смотря на отсутствие поводов и улик, и сам Короленко, и братья его, зять и двоюродный брат, т.-е. вся рабочая сила семейства, были оставлены под арестом на неопределенное время. Мечтательный романтик всё еще продолжал царить в душе Короленко, и он решил противопоставить сказочным измышлениям полицейских агентов справедливость и логику. 24 марта 1879 года он подает на имя шефа жандармов заявление, в котором излагает все обстоятельства дела, очень подробно доказывает несправедливость учинённого над ним насилия и выражает глубокое удивление, что «людей семейных и занятых можно отрывать от занятий по таким ничтожным поводам». Конечно, и в те времена Короленко отлично понимал, для чего бог создал и поселил в мире жандармов. Но обращение к наивысшей инстанции являлось для него последней надеждой на спасение голодающей семьи. А вступивши на этот путь, Короленко уже не в силах был отказаться от спокойного и всестороннего обсуждения излагаемых фактов. И отсюда этот благородный и сдержанный тон, точно он всецело доверяет абсолютному чувству справедливости, царящему в департаменте полиции; точно перед ним не царские жандармы, а прекрасные люди, которые способны прийти в негодование, если между ними окажется такой, который бесчестит высокое звание охранника и позволяет себе производство обыска и ареста без достаточных оснований. Вот небольшой отрывок из прошения Короленко.

«...Ввиду изложенных обстоятельств, которые я сообщил тогда же производившим обыск и арест г.г. жандармам, я мог надеяться, что эта мера будет принята со всей требуемой этими обстоятельствами осмотрительностью, только вследствие крайней необходимости, и что мне дана будет возможность рассеять породившее ее недоразумение (я не могу иначе назвать причины нашего ареста) в самом непродолжительном времени, пока наши семейные дела не расстроятся окончательно. Между тем, вот уже четвертая неделя, как я арестован, а я не знаю даже причины моего ареста. Если не ошибаюсь, последнее обстоятельство составляет прямое нарушение моего законного права, как арестованного, которому, по закону, до истечения трех дней со времени ареста, должна быть сообщена причина ареста. Я считаю это важным по двум причинам: во 1-х, это гарантирует за арестованным уверенность, что он арестован не по смутным, неосновательным и неясным подозрениям...».

Далее следует длиннейший ряд умозаключений и аргументов, при чтении которых невольно напрашивается сравнение Короленко с человеком, который раскрывает парусиновый зонтик, чтобы защитить себя от дождя жандармских пуль. Заканчивается это обращение к сердцу и справедливости тюремщиков такими словами:

«Позволю себе прибавить, что сколько я ни думал об этом во время моего заключения, я не мог решительно вспомнить ничего, что могло бы дать хоть какой-нибудь повод считать нас серьезно замешанными в какие-либо действия, которые бы оправдали принятые против нас меры. Дворянин Владимир Короленко».

Само собою понятно, что надежда на освобождение не оправдалась. Единственным результатом прошения явилась передача дела на распоряжение петербургского градоначальника. Долго пришлось дожидаться решения. Наконец последовало разрешение от бремени и на родильной постели III отделения появился нижеследующий плод жандармской изобретательности:

«...Доводится до вашего сведения, что проживающие в С.-Петербурге отставной штабс-капитан Владимир Лесевич, студент военно-медицинской академии Николай Лошкарев, дворяне Илларион, Владимир и Юлиан Короленки находились в сообществе с главными революционными деятелями и принимали участие по печатанию и распространению революционных изданий вольной типографии. Несмотря на указания, сообщенные III отделением, и сведения, имеющиеся у градоначальника, основанные на тщательной проверке действий и отношений названных лиц, они, *по неимению юридических данных к обвинению, не могут быть привлечены к ответственности по суду, но даже и к дознанию, производимому об их главных сообщниках, так как при изворотливости своей успели скрыть следы* своих преступных действий.

Кроме сего, о братьях Юл., Ил. и Влад. Короленках сообщены сведения, что *они совещались между собою убить одного из секретных агентов,* но злодейство свое не успели привести в исполнение, так как об этом получены были благовременные сведения, и агент от грозившей ему опасности охранен...»

Так завершилось обращение Короленко к голосу жандармской справедливости. «Изворотливые» братья, тайком «совещавшиеся между собой», были разоблачены секретным агентом в их тайных и преступных намерениях, и петербургский генерал-губернатор, на основании предоставленной ему власти, определил — Братьев Короленко выслать в Архангельскую губернию, Лесевича в Восточную Сибирь.

В ссылке

В Архангельскую губ. Короленко ехать, однако, не пришлось: по распоряжению градоначальника Архангельская губ. была заменена Вятской, куда «изворотливые» братья и были отправлены в мае 1879 года с указанием, что они «высланы под надзор полиции, как оказавшиеся в числе прочих *несомненно виновными* в сообществе с главными революционными деятелями, а равно в участии по печатанию и распространению революционных изданий вольной типографии».

По распоряжению попечительного начальства В. Г. Короленко попал в Глазов, один из самых захолустных уездных городков Вятской губ. С первого же дня по прибытии в Глазов Короленко восстановил против себя исправника, от которого стал добиваться ответа: за что?

Поле для романтических поединков с глазовским исправником оказалось весьма неподходящим. Ответа, конечно, не последовало, а Короленко попал за свою строптивость под особо строгий надзор, что выражалось, разумеется, в бесконечных придирках. Пребывание в Глазове сделалось прямо нестерпимым. Пять месяцев продолжалось это истязание. За всё это время, рассказывает сам Короленко, «наше существование не прерывалось ни одним из ряда выходящим столкновением с начальством, в отношениях к которому я ни разу не выступил ни на шаг, ни на иоту из чисто легальных форм».

Тем не менее, как требовали этого добрые жандармские нравы, на квартиру В. Г. явился исправник с понятыми, порылся в бумагах, ничего, как водится, не нашел, а Влад. Галактионовичу было об'явлено, что он высылается в Березовские Починки, в то время известные всем и каждому, как последняя ступень ссылки. «Мне осталось,—говорит по этому поводу Короленко, — только вновь предложить вечно остающийся безответным вопрос: за что?».

Ссылка В. Г. в Березовские Починки по капризу глазовского исправника надолго останется в нашей истории символом феодального самовластия. В сущности это было равносильно одиночному заточению где-то на краю света. Березовские Починки расположены в 30 верстах от Чердынского уезда—родины «Пилы и Сысойки». Сами починковцы гордо величали свою резиденцию деревней. Но на деле тут было около десятка домов, разбросанных на расстоянии 15 — 20 верст. В одном месте торчит занесенная снегом курная изба, версты за две, за три — еще одна и т. д. От избы к избе пробраться можно только зимою, на санях. Летом — кругом непролазная топь, по которой на колесах не проберешься, и починковцы ездят летом по суше — на санях (телег с колесами у починковцев в употреблении нет). Отрезанные не только от внешнего мира, но и друг от друга дремучими лесами и болотами, починковцы мало чем отличаются от первобытных дикарей и живут в курных избах вместе со скотом. Вот в одну из таких изб и вселили, по воле глазовского исправника, В. Г. Короленко. Курная изба, без трубы, вся закопченная плотным слоем сажи, как сталактитовая пещера. Во время топки клубы дыма заполняют всю избу от пола до потолка. И чтобы можно было дышать — распахивают двери, и тогда морозный воздух выбивает дым на уровень головы, задыхающейся в клубах едкого, черного дыма. Голове жарко, зато ноги стынут от 40-градусного мороза. Это продолжается с час. После того, как изба потеплеет, в избу пускают скотину. Лошади, овцы, коровы, свиньи чередуются друг с другом, и после каждого визитера на полу остаются заметные следы пребывания каждой породы.

Но даже и здесь Короленко не оставляли в покое его мучители. Пьяной ватагой наезжали становые, урядники полюбоваться на его житье-бытье. Короленко занимался сапожным мастерством. Как-то ночью к нему явились уездные власти и повелительно заявили:

— Собирайте свои сапожные пожитки.

— Куда? — удивился В. Г.

Ответа, конечно, не последовало. Короленко доставили в Вятку, продержали в остроге 15 дней, отправили в вышневолоцкую тюрьму,

откуда одна дорога — в Сибирь. На все недоуменные: — за что? Влад. Галактионовичу, по обыкновению, не давали никаких раз'яснений. И только в Томске ему по секрету сообщили, что он обвиняется в побеге и за это направляется в Якутскую область. Но так как известно, что в действительности никакого побега он не совершал, то из Томска приказано возвратить его в Пермь. «Не кажется ли вам, — говорит Короленко по поводу этого анекдота, — что едва ли жизнь может придумать что-либо траги-комичнее положения, в котором я очутился».

Оказалось, однако, что может. Жизнь, при помощи глазовских помпадуров и административного усмотрения умудрилась подсовывать В. Г. все новые и новые испытания.

В Перми, на первых порах, Короленко очутился в довольно сносных условиях. За ним учрежден был гласный надзор, но его не травили так открыто, как в Вятке. Материальные дела его окрепли настолько, что он отложил в сторону сапожное шило и дратву, поступил на службу в управление уральской железной дороги и даже собирался приняться за перо, т.-е. за приведение в порядок своих дневников, которые В. Г. вел почти на протяжении всей своей ссылки. Но в 1881 г. В. Г. был снова арестован и по предписанию из Петербурга отправлен прямо в Якутскую область. В известной книге английского писателя Д. Кеннана — «Сибирь и каторга» — история этой ссылки рассказана очень подробно. В 1881 году при воцарении Александра III от всех политических ссыльных была потребована присяга на верность новому государю. Пермские ссыльные, по распоряжению пермского губернатора, были вытребованы в собор и приведены к присяге. В числе других находился и ссыльный В. Г. Короленко. Но вскоре по распоряжению министра внутр. дел от В. Г. Короленко потребовали персональной присяги. Короленко отказался от принесения таковой присяги и представил мотивированное заявление с изложением всех фактов, подавших повод к такому отказу. Это превосходный документ, исполненный гражданского мужества и благородства. В нем нет уже и тени былой наивной романтики. Гражданин Короленко пользуется моментом, чтобы, протиснувшись между губернаторским произволом и административным усмотрением министра, громко и решительно воскликнуть:

— Я гражданин и буду отстаивать это звание всеми доступными мне способами.

Вот отрывки из этого заявления:

«...Вопрос поставлен передо мною прямо с требованием ответить,— я даю этот ответ согласно со своею совестью.

Я сослан без суда и следствия, без приговора. Вместе со мною сосланы: брат, двоюродный брат, зять; сестра и мать отданы под надзор полиции в гор. Красноярске; семья, лишенная всех работников, разбита; двоюродный брат, мальчик 19 — 20 лет, сошел под влиянием ареста и ссылки с ума. Принимая относительно целой семьи такие жестокие и страшные меры, нам не дали возможности не только представить какие-либо оправдания, нам даже не заявили, в чем нас подозревают, и относительно всего этого дела (?) мне доступны лишь самые смутные предположения и несомненное убеждение, что все осно-

вания высылки несомненно ложны... Я понимаю умолчание на все мои вопросы, ибо имею дело с административным подлогом...

К сожалению, я не могу смотреть на всё, происходившее со мною, как на пример исключительный. Я видел сотни таких же примеров... Я знаю факт ссылки за побег из Архангельской губ. человека, который никогда не был ни в Архангельской губ., ни вообще в ссылке. Я знаю случай, когда полициймейстер перед отправлением партии ссылаемых без дальних околичностей переправил в списке имя одного из назначаемых к высылке, и таким образом, Владимир отправлен в Восточную Сибирь вместо Андрея, — для сокращения переписки... Я мог бы привести множество фактов в том же роде, с точным указанием имен и всех данных, но думаю, что это излишне.

Из этого следует неопровержимый и несомненный вывод: законным властям дано опасное право, — право произвола, и жизнь доказала массой ужасающих фактов, что они злоупотребляют этим правом...

В виду всего изложенного выше, — я заявляю отказ дать требуемую от меня присягу. Я не считаю уместным давать какие бы то ни было указания или ставить условия, но считаю своим нравственным правом указать мотивы, по которым совесть запрещает мне произнести требуемое от меня обещание в существующей форме.

Имею честь просить, ваше превосходительство, дать соответствующее направлению моему настоящему заявлению. Влад. Короленко».

Пермским губернатором заявление было переслано в департамент полиции. В департаменте полиции оно было рассмотрено директором департамента, впоследствии знаменитым В. К. фон-Плеве, которым и положена следующая резолюция:

«Принимая во внимание предыдущую вредную деятельность Влад. Короленко и вредное направление, обнаруженное им ныне отказом от принятия присяги на верность подданства, полагал бы необходимым выслать Короленко на распоряжение ген.-губернатора Восточной Сибири для водворения его на жительство под надзор полиции».

Жизнь в Якутской области, куда и отправлен был Короленко, мало чем отличалась от жизни в Березовских Починках, так как Короленко не был оставлен в самом Якутске, а был выслан в уезд. Это было равносильно преданию голодной смерти. Ибо даже в Якутске ссыльным воспрещено было заниматься вольным трудом, а жить приходилось на казенный паек, исчислявшийся для лиц дворянского звания в 6 р. ежемесячно, тогда как пуд муки стоил 9 руб. Но и такая жизнь казалась «раем» тем ссыльным, которых назначали в уезд (Верхоянск, Средне-Колымск, Олекминск и Вилюйск). Некоторые из этих поселений отстоят от Якутска в 900 верстах, а от Колымска, расположенного почти на самом полярном круге, до Якутска — 2.300 верст. Верхоянск расположен еще дальше — за полярным кругом. Почта от Петербурга до Колымска шла *целый год*. Чтобы обменяться письмами из Петербурга в Колымск, необходимо было *два года*.

Но и эти ужасы меркли перед тем, что выпадало на долю ссылаемых не в эти уездные «города», а в глухие якутские улусы, рассеянные на расстоянии сотен верст один от другого в дикой пустынной

тайге, скованной сорокаградусными морозами и занесенной глубокими снегами.

В один из таких улусов, в 300 верстах от городского жилья, и был брошен Короленко. В якутской юрте, изнемогая в борьбе с молчанием и мраком, прожил В. Г. Короленко в улусе Амгу целых три года — с декабря 1881 года по сентябрь 1884 года. Здесь родились и были вынашены сибирские очерки Короленко.

Л. Войтоловский.

На царя!

(Отрывок из романа „Андрей Кожухов")

Великий день настал. С самого рассвета Андрей уже не спал, а только дремал, просыпаясь каждую четверть часа, из боязни опоздать.

Полоса яркого света, врывавшаяся в прореху шторы, играла на стене против кушетки, предвещая великолепную погоду. По его расчетам, ему следовало встать, когда светлая полоса достигнет угла комода. Но он предпочел подняться раньше.

Он снял постельные принадлежности с кожаной кушетки, служившей ему вместо кровати за время его пребывания в конспиративной квартире, аккуратно сложил их и спрятал в желтый комод, стоявший у стены.

«Сегодня я буду ночевать в крепости, если меня не убьют на месте», — сказал он самому себе.

Слова эти он произнес самым простым, обыкновенным голосом, как будто речь шла о погоде.

Задвинув ящик комода, он поднял обе шторы окон.

Он был в это утро в каком-то особенном настроении, столь же далеком от унылой покорности, как и от экзальтированности и вообще от какой бы то ни было странности. Он впал в равнодушно-холодное состояние души человека, покончившего все расчеты с жизнью, — которому нечего более ждать впереди, нечего бояться и нечем поделиться с другими. Правда, ему предстояло еще совершить свой подвиг. Но так много препятствий уже удалось преодолеть на пути, что то немногое, что оставалось сделать, казалось ему до такой степени несомненным и неизбежным, что он считал его почти совершившимся.

Будучи еще в живых и в полном обладании нравственных и физических сил, он в то же время испытывал странное, но совершенно реальное ощущение, что он уже умер и смотрит на себя, на всех близких и на весь мир с ровным, несколько сострадательным спокойствием постороннего наблюдателя.

Вся его жизнь ясно представлялась ему в мельчайших подробностях, — каждая из них в соответственной перспективе. Он подумал о жене, о друзьях, оставляемых за собою, о партии, о России, но с таким спокойным, бесстрастным чувством, как будто все, связывавшее его с жизнью, отошло на громадное расстояние. Он знал, что когда все кончится для него и когда без страха и злобы он завершит дело своей

жизни и станет, наконец, лицом к лицу с великою торжественностью смерти, то снова переживет те прекрасные, возвышающие дух, чувства, и они поддержат его в последнем испытании. Но покуда он подавлял в себе горячие порывы, как только они загорались. Ему необходимо было сохранить все свое хладнокровие и самообладание. Холодная, несокрушимая воля, выкованная железною необходимостью, больше всего нужна была ему в данную минуту.

Он был одет и совершенно готов, когда дверь тихонько отворилась и вошел Ватажко. Он приехал в Петербург по делам партии и, между прочим, принял на себя небольшую функцию тоже в предстоящем деле. Как временный посетитель, Ватажко тоже поселился в конспиративной квартире и спал в соседней комнате. Он давно был уже на ногах и ждал часа, когда нужно будет разбудить Андрея, на случай, если бы он проспал.

— Вы уже встали! — воскликнул он вместо приветствия.

Ватажко имел серьезный вид, но в то же время казался смущенным. Ему очень хотелось провести лишние полчаса в обществе Андрея, но он боялся , что ему, может быть, неприятно его присутствие.

Андрей, не произнеся ни слова, дружески кивнул ему головой. Он почти не замечал впившегося в него глазами молодого человека. Ватажко представлялся ему какой-то тенью.

— Один из ваших часовых,—нерешительно заговорил Ватажко,— спрашивает, можно ли ему притти проститься с вами теперь, так как это не удастся, когда вы оба будете на месте действия. Он говорит, что знаком с вами и надеется, что не потревожит вас.

— Нисколько. Я очень рад с ним повидаться, — отвечал Андрей по товарищескому чувству, хотя лично он оставался так безучастен, что даже не спросил, как зовут часового. Лишь после некоторой паузы он заметил свою оплошность и спросил, кто он такой.

— Зацепин, — отвечал Ватажко, — вы с ним познакомились, когда он уезжал за границу, а вы возвращались в Россию.

— Ах, да! — сказал Андрей.

Он вспомнил переправу через границу, немецкую гостиницу, шумные споры; но как далеко все это отошло теперь!

Зацепин явился немного спустя.

Они вспомнили про свою встречу на границе. Зацепин вернулся в отечество три месяца тому назад через южную границу.

Они говорили обо всем, но ни разу не коснулись дела, на которое им всем нужно было двинуться через несколько минут. Неминуемость чего-то необыкновенного проявлялась лишь некоторыми остановками и перерывами в разговоре. За чаем Зацепин рассказал Ватажко, как дворник принял его за полицейское начальство из-за его военной выправки и повелительного голоса. Оба рассмеялись. Андрей слабо улыбнулся. Он выпил чаю и с'ел кусочек хлеба, «по принципу», памятуя связь между духом и телом.

— Пора, — прервал его Андрей на полуслове, взглянув на часы. Они тотчас же замолкли и с серьезными лицами поднялись со своих мест. Они попрощались скоро и просто. Им всем было не до слов. Оба товарища расцеловались с Андреем.

— Желаю тебе успеха, брат! — сказал Зацепин, обращаясь к нему на ты в первый и последний раз.

Ватажко с Зацепиным вышли на черную лестницу, по которой они могла спуститься незамеченными. Андрей оставался еще дома, так как ему нужно было прождать еще минут двадцать. По условленному плану ему предстояло явиться последним на поле действия, чтобы по возможности не подвергаться риску: его могли бы заметить и постыдно схватить, прежде чем он успеет что-нибудь сделать.

Оставшись один, Андрей почувствовал себя легче, чем на глазах у товарищей. Его не огорчало, что никто больше не являлся с ним прощаться. Но он все еще не в состоянии был сосредоточиться. Несвязные обрывки мыслей и беспорядочные воспоминания кружились в его голове с такой лихорадочной быстротой, что у него окончательно пропала способность считать время. Каждые две минуты он смотрел на часы, вполне убежденный, что ему уже пора двигаться, и каждый раз проходил в изумление, что время так медленно идет. Если бы не движение секундной стрелки, он бы подумал, что его часы остановились.

Когда стрелка достигла, наконец, назначенного предела, он надел шляпу и вышел на улицу из дома на свою последнюю прогулку по городу. Ему еще раз придется прогуляться по улицам... Но не пешком, а на колеснице.

Он быстро повернул за угол площади, где находилась конспиративная квартира, чтобы как можно скорее отрезать всякое сообщение с домом, в котором он жил. Потом он замедлил шаги и пошел обыкновенной походкой, разглядывая широкую полосу неба, простиравшуюся вдоль улицы над его головой.

Вечно спокойное, бессмертное солнце ярко светило на своем пути к зениту, разливая потоки благодатного света на хлопотливый, деловой город, на плодоносную землю и на глупых, дурачливых людей. Неизменное, непорочное, оно смотрело, как любящее, широко раскрытое око, удивляясь неспособности своих любимых людей сделать лучшее употребление из теплоты, радости и жизни, проливаемых им.

Тонкие белые облака, похожие на расчесанную шерсть, плыли в глубине лазурного свода. Воздух был неподвижен и прозрачен. Выпал один из немногих прекрасных весенних дней, так скупо уделяемых природой северной столице и которыми так дорожат ее обитатели. Андрею тоже было приятно созерцание чудного ясного неба: он знал теперь, что прогулка не будет отложена из-за дурной погоды.

Для него это обстоятельство имело большое значение, так как за несколько дней конспираторы были извещены, что в предполагавшихся передвижениях произошла неожиданная перемена. Царь собирался в свое летнее путешествие раньше обыкновенного, и от'езд из города мог совершиться через два или три дня. В данном случае подобный день был чистая находка.

Расстояние до площади, на которой должно было совершиться нападение на царя, было довольно значительное. Но Андрей предпочел пройти его пешком, так как это давало ему больше независимости от разных случайностей. Он легко мог рассчитать свои шаги так, чтобы

не притти ни одной минутой раньше, ни одной минутой позже. Кроме того, как пешеход, он меньше обратил бы на себя внимание при приближении к месту царской прогулки, которое обыкновенно охранялось множеством шпионов.

Андрей шел частью с людским потоком прохожих, частью против него. Равнодушно воспринимал он впечатления лиц — молодых, старых, веселых, угрюмых; лошадей, карет, лавок полицейских — все моментально забывал, как только проходил мимо, стараясь лишь итти известным размеренным шагом.

Он миновал Таврический сад, прошел длинную Кирочную и часть Литейной, и только у Пантелеймоновской церкви у него мелькнула мысль, что он как будто идет медленнее, чем следует. Он посмотрел на часы — и кровь застыла в его жилах; сердце перестало биться на секунду от ужасного открытия: он опоздал! — Оставалось всего три минуты, а ему еще предстояло пройти с версту! Царь может назначить выезд на завтра, и тогда прогулка уже не состоится.

Весь бледный, Андрей бросился вперед, толкаемый и мучимый ужасною мыслью, что он все погубил своею медлительностью. Он предпочел бы бежать, но это обратило бы на него внимание полиции. Вперед, вперед! — он продолжал итти, но зашагал с такой быстротой, что опережал извозчиков, проезжавших по мостовой. Он пронесся стрелой по Пантелеймоновской улице, через мост, мимо Летнего сада, не чувствуя ни малейшей усталости. Страх, казалось, удвоил его силы; но это была только иллюзия; ужас, терзавший его и заставивший усиленно биться его сердце, на короткое время поднял было его силы; но вместе с тем он подкашивал их. Когда Андрей проходил Марсово поле, то почувствовал, что у него захватывает дух. Но — вперед, вперед! Он может еще поспеть, царь иногда опаздывает на несколько минут. И он снова ринулся, удваивая усилия, чтобы итти тем же скорым шагом...

Он задыхался. В груди у него колюло, как будто она была пронизана сотнею игл. Каждые несколько шагов стоили ему все больших и больших усилий.

Физическое ощущение, испытываемое им в этом бешеном беге, сразу напомнило ему другой случай из его юных дней, когда он мчался, преследуемый по пятам, через леса и болота, и лошадь пала под ним, а его спасение зависело от того, достигнет ли он города раньше своих преследователей. Но и тогда, в погоне за свободою и жизнью, он наполовину не так стремился достичь своей цели, как теперь в бешеной погоне за смертью. Но ему некогда было заниматься сравнениями и контрастами. Вперед, вперед! Он быстро перешел Марсово поле, насколько позволяли ему падавшие силы. Он не смотрел уже более на часы, чтобы не терять ни секунды драгоценного времени, но он опоздал. И все-таки он мчался с нечеловеческой энергией. Вперед, вперед! Всего оставалось пройти еще две улицы. Но уже земля уплывала под ним, и ноги его дрожали. Ему оставалось одно: либо замедлить шаги, либо грохнуться о земь и быть подобранным полицией, как пьяный. Да и какой смысл имело бы ворваться в цепь шпионов, напоминая собою человека, только что сбежавшего из сумасшедшего дома?

Он пошел медленнее. Когда он свернул в узкий переулок, где Ватажко поджидал его, он имел уже сдержанный и приличный вид, хотя в душе его были смерть и отчаяние. Он не сомневался более, что все дело пропало из-за него, он прочел это на расстроенном лице своего часового.

— Что? Опоздал? — спросил он дрожащим голосом, заранее предвидя ответ.

— Нет, но я этого опасался, — сказал Ватажко. — Царь делает сегодня более длинную прогулку по случаю хорошей погоды.

Андрей вздохнул с облегчением. Слова Ватажко привели его в себя и почти уничтожили усталость, вызванную скорее нравственным напряжением, чем физическим.

— Ничего такого не случилось, что вас задержало? — спросил Ватажко.

— Ничего решительно, — сказал Андрей. — Я буду ждать здесь, на скамье, — прибавил он, указывая на каменное сиденье возле тротуара. — Ступайте и пустите в ход часовых.

Оставшись один, Андрей поднял вверх правую руку. Он хотел убедиться в ее твердости. «Не совсем!». Пальцы немного дрожали. Он подождал немного, и, несколько минут спустя, поднял ее снова. Он убедился теперь, что рука больше не дрожит.

Он был совершенно готов и спокойно ждал.

Прошло еще несколько минут, и он увидел высокую фигуру Зацепина, медленно направлявшегося к нему. Андрей поднялся ему навстречу. Зацепин должен был сообщить окончательный сигнал к действию.

Лицо Зацепина было торжественно и даже печально. Когда они очутились совсем близко друг от друга, он устремил на Андрея многозначительный и в то же время почтительный взгляд, сделав головою утвердительный кивок, похожий на поклон.

— Говорите! — произнес Андрей.

Он понял, что сообщение было благоприятное, но в такую серьезную минуту ему хотелось услышать что-нибудь еще более утвердительное.

— Царь вышел на свою обычную прогулку, — прошептал Зацепин.

Андрей кивнул головой и двинулся вперед, сделав едва заметное движение рукой Зацепину, чтоб он проходил.

Теперь настал его черед!

Он находился еще на расстоянии трехсот шагов от площади, когда попал в самый рой шпионов и охранителей. Некоторые из них стояли неподвижно на своих местах, другие следили за всеми улицами, ведущими к месту царской прогулки, чтобы не пускать туда посторонних, и заарестовывали всех мало-мальски подозрительных прохожих, мужчин и женщин. Один из охранителей, седовласый, почтенный господин, которого Андрей никогда бы не принял за шпиона, подошел к нему.

— Потрудитесь, — сказал он вежливым, но решительным голосом, — пройти другой дорогой.

— Почему это? — спросил Андрей, подвигаясь, однако, на несколько шагов вперед.

— Здесь строго воспрещается ходить кому бы то ни было, — продолжал пожилой господин, идя с ним рядом. — Вернитесь тотчас же, если не хотите нарваться на неприятности.

Андрей пожал плечами.

— Но я ничего не вижу на улице, что мешало бы людям итти по ней, — сказал он, напуская на себя удивленный вид и все более продвигаясь вперед.

Почтенный господин сделал знак рукой, и два молодца в штатском платье, стоявшие шагах в тридцати, бросились к Андрею, очевидно, с намерением задержать его. Положение Андрея становилось критическим. Он остановился, намереваясь вступить в препирательство со шпионами и надеясь выиграть еще несколько минут.

Но конспираторы хорошо рассчитали свои движения. В этот самый момент царская собака показалась в конце улицы и шпионы мгновенно исчезли. Царь должен был проходить через минуту, и к этому времени дорога должна была быть свободной.

Андрей шел медленно и беспрепятственно достиг угла улицы.

Царь появился в эту минуту в нескольких шагах позади памятника Александра I, стоящего против дворца.

Из окна одного дома, выходящего на площадь, два молодых человека в сильном волнении следили за происходившим. Они видели столкновение Андрея с тремя шпионами и уже считали дело пропавшим. Но вот показался всероссийский самодержец, заворачивавший за угол памятника, и навстречу ему двигался Андрей, спокойный, непоколебимый, как судьба. Завидев незнакомца, царь вздрогнул, но все-таки продолжал итти вперед.

С замиранием сердца они следили, как шаг за шагом уменьшалось расстояние между ними, до тех пор, пока им не показалось, что их разделяло всего несколько шагов... и все-таки ничего еще не произошло, и они продолжали сходиться... Чего же он ждет? Что бы это могло значить? Расстояние, казавшееся в перспективе таким ничтожным, на деле было еще шагов двадцать.

Тут, по установленным правилам, Андрей должен был снять шляпу и оставаться с обнаженной головой, пока его государь и повелитель будет проходить. Но, вместо того, чтобы выполнить этот акт верноподданничества, Андрей опустил руку в карман, выхватил револьвер, прицелился и выстрелил в царя.

Пуля попала в стену дома саженях в двадцати позади царя, почти под самый карниз. Андрей дал промах: револьвер сильно отдавал, и нужно было целить в ноги, чтобы пуля не перелетала через голову. Андрей это открыл слишком поздно. На секунду он стоял ошеломленный неудачею, опустивши руки. Но в следующий же момент он бросился вперед с бледным лицом и сдвинутыми бровями, давая выстрел за выстрелом. Царь, тоже бледный, подобрал полы своей шинели и пустился бежать. Но он не потерял присутствия духа. Вместо того, чтобы бежать прямо, он делал зигзаги, и, таким образом, не давал своему преследователю возможности целиться. Одна только пуля пронизала капюшон его шинели, остальные же пролетели мимо.

Меньше чем в минуту Андрей израсходовал все свои шесть зарядов. Между тем, куча шпионов, которых прежде не было видно, стала сбегаться со всех сторон и все увеличивалась. Они раз'яренные окружили Андрея. Сперва они все держались поодаль, боясь приблизиться к нему. Но, видя, что он безоружен и не оказывает никаких признаков сопротивления, они сразу набросились на него.

Андрея полуживого отвезли в тюрьму. Но он оправился понемногу, и в свое время был предан суду, приговорен к смерти и казнен.

С. Степняк (Кравчинский).

Первомартовцы

Зимою 1881 года партия «Народной Воли», руководимая А. И. Желябовым, выделила группу в 4 человека для наблюдения за выездами царя. Наблюдательный отряд немедленно приступил к своей работе.

Через Дворцовую площадь плетется дряхлая, предряхлая старуха с корзинкою яблок. Старуха эта настолько стара, дряхла, что, кажется, любой порыв ветра ее свалит, и она плетется, опираясь на клюку, останавливаясь чуть ли не каждую секунду, тяжело дыша, охая, вздыхая; перейти Дворцовую площадь по диагонали для этой старухи — нужно потратить чуть ли не целых два часа. Но, идя через площадь, старуха все время незаметно кидает взоры на императорский под'езд, не стоит ли у него царская карета, не намерен ли император совершить выезд из Зимнего дворца.

В дальний угол той же Дворцовой площади, поближе к Певческому мосту, под'ехал извозчик — настоящая провинция, вахлак, еле-еле сидит на облучке, распустил вожжи, и лошаденка, ему под стать, такая же кляча, развесила уши, расставила ноги, как будто стоя спит... И стоит этот извозчик на площади, дремлет и ждет, не подойдет ли какой-нибудь седок до тех пор, пока блюститель порядка не обратит внимания на его клячу и не турнет его с Дворцовой площади, где извозчикам и не полагалось останавливаться. Но только уедет извозчик, прогнанный блюстителем порядка, как к последнему подойдет торговец папиросами, бойкий, разбитной парень, настоящий ярославец, предложит начальству папироску и вступит с ним в разговор... Понятно, что и старуха, торговка яблоками, и извозчик, и торговец папиросами были на самом деле члены наблюдательного отряда. Переодеваясь, меняя свой внешний вид, они с раннего утра до позднего вечера наблюдали за Зимним дворцом, за выездами императора. Свои наблюдения они сносили в одну конспиративную квартиру, где эти наблюдения проверялись, комбинировались, соединялись. После утомительного, долгого наблюдения, народовольцам стала ясна картина выездов Александра II, который, напуганный покушениями, выезжал только в манеж на войсковые разводы. И по этому пути народовольцы сделали свои приготовления — и путь был замкнут. Надо было спешить, так как Желябов был случайно арестован, а царь после 1 марта должен был уехать в Крым.

Народовольцы ожидали, что 1 марта царь проедет по Садовой улице, — тогда наблюдавшая у окна Якимова сделала бы знак сидевшему у батареи Богдановичу, последний соединил бы провода батареи, раздался бы взрыв минной галлереи, и карета Александра провалилась бы в воронку. Но царь поехал по другому пути, и тогда Перовская, которая руководила после ареста Желябова покушением, спешно перевела метальщиков снарядов на другой путь.

На повороте с Инженерной улицы на площадь Екатерининского канала кучер сдержал лошадей, и в это время шедший навстречу карете по тротуару набережной молодой человек бросил под карету какой-то белый сверток. При падении сверток разорвался со страшной силой, и, хотя карета была разбита, император остался цел и невредим. Несмотря на просьбы полицейских ехать как можно скорее во дворец, император захотел посмотреть, что случилось, и взглянуть на покушавшегося (Рысакова). Император направился к нему и спросил его фамилию; тот ответил: «мещанин Грязнов», на это государь, покачав головою, промолвил с укоризною — «хорош». Александр сделал еще несколько шагов вперед, затем задержался, как будто желая повернуться и сесть в сани. В это время между императором и стоявшим впереди толпы, собравшейся на взрыв, молодым человеком — он как бы облокотился на решетку Екатерининского канала — расстояние было не более двух шагов: молодой человек вынул руки из-за спины, и, подняв высоко над головою разрывной снаряд, бросил его между собою и императором, с таким расчетом, чтобы, разорвавшись, снаряд не пощадил ни императора, ни бросившего снаряд. Раздался страшный взрыв, которым был на месте убит Александр, у него были оторваны обе ноги, и смертельно был ранен Гриневицкий, бросивший снаряд.

3 апреля 1881 г. на Семеновском плацу публично были казнены первомартовцы: гениальный организатор и агитатор, бывший крепостной Желябов, Перовская, дочь петербургского губернатора, талантливый изобретатель Кибальчич — из разночинцев, питерский рабочий Михайлов и бросивший первую бомбу, студент Рысаков.

Л. Столпянский.

Халтурин в царском дворце

5 февраля 1880 г., около 6 часов вечера, из главных ворот Зимнего дворца, после произведенного легкого поверхностного обыска, вышел один из низших служащих и зашагал через Дворцовую площадь по направлению к Александровской колонне. Из тени последней выделился навстречу ему другой человек.

— Готово, — отрывисто произнес первый, — и, как бы в подтверждение этой фразы, сильный взрыв потряс всю площадь и далеким эхом отозвался за покрытой ледяною корою Невой.

Потухло освещение в Зимнем дворце, блестящий, горевший тысячами огней фасад потускнел, потемнел, слился с царившей над городом мглою.

В только что убираемой с такою заботой столовой мебель была раскидана, на полу зияло несколько отверстий, а в дверях, судорожно ухватившись за притолоку, с искаженным от страха лицом и открытым ртом стоял самодержец России, еще раз случайно избегнувший рокового конца.

Взрыв Зимнего дворца 5 февраля 1880 г. не достиг своей цели — пострадал только бывший в тот день караул Финляндского полка: 11 человек солдат были убиты, 56 ранены.

Вышедший из дворца человек был Степан Халтурин, устроитель взрыва; его встретил Андрей Желябов, руководивший этим делом.

Осенью 1879 г. в дворцовые столяры, по рекомендации одного из служителей, был принят Степан Батюшков, крестьянин Олонецкой губ., Каргопольского уезда, Троицкой волости, деревни Суток.

Обычное испытание Батюшков выдержал с честью, поддержал свою рекомендацию и был зачислен в штат дворцовых столяров, и как таковому ему полагалось пользоваться и квартирой.

Квартира отводилась в подвальном этаже, — чуть ли не в уровень с землею были пробиты в саженных толщиною стенах полукруглые окна, защищенные массивною чугунною решеткою; мало света проникало в этот подвал. Сыростью, затхлостью несло из углов темного подвала, но начальство полагало, что это жилье вполне подходит для мастерового человека, к тому же ведь в своей комнате он только спит — другое время он проводит в мастерской, где света и тепла достаточно. В один из углов такого подвала поставили деревянную кровать, около которой, в углу двух капитальных стен, Степан Батюшков уместил свой очень большой деревянный сундук.

— И куда ты такую махину припер?—смеялись над Степаном товарищи — у самого один рваный зипун, а в сундук чуть ли не всю гардеробную пустил.

— Ничего, — огрызался Степан, — на царской работе разбогатею, а сундук уж больно хорош и крепок, и укладист.

И началась жизнь регулярная, правильная, один день точно капля воды походил на другой: работа в мастерской или даже в самых царских покоях. Раз не успели убрать Степана из кабинета, и в то время, как он усердно лакировал какую-то ножку, в кабинет вошел сам император: пришлось Степану задом пятиться к двери, чтобы убраться и не мешать самодержцу.

По праздникам, да и после работы, Степан частенько уходил в город, но возвращался в «аккурате», без винного запаха и подозрительной походки, — словом, ни в чем не могли заметить этого нового столяра ни его товарищи, ни надзиравший за ними старик-вахтер.

А время было тревожное. У одного из террористов — Квятковского — при обыске был найден план Зимнего дворца, личных комнат императора Александра II, и на этом плане там, где помещалась столовая, был поставлен крест. Что означал этот крест—не могли решить ни жандармы, ни полиция, ни судейские. Под столовой находилась гауптвахта, а под нею подвал, где жили столяры. Были сделаны обыски, обшарили везде и повсюду и ничего не нашли. Обыск делали ночью, и Степан

Батюшков и тут свою деревенщину ярко обнаружил: когда жандармский полковник, производивший обыск, задал ему какой-то вопрос, Степан так и остался сидеть на постели с разинутым ртом и выпученными глазами.

— Деревня деревней и останется, — философствовал жандарм, поселенный в одной комнате со столярами. Он почувствовал к Батюшкову особенную симпатию и все обучал его благородному обхождению. «Ну, что ты все руки в затылок тычешь, — выговаривал он, — с тобою господин полковник говорят, а ты руки в затылок. Эх ты, деревня. Нужно, братец ты мой, по благородному». Жандарм, впрочем, имел свои виды: он помышлял о приличной партии для своей дочери и остановил выбор свой на молодом столяре. Тот со своей стороны не отказывался прямо, хотя и не особенно поощрял намеки старика. Вообще же эта неожиданная история сослужила ему хорошую службу.

Под именем Степана Батюшкова в царском дворце в течение полугода прожил Степан Николаевич Халтурин, рабочий, один из выдающихся народовольцев, основатель северно-русского рабочего союза. Пошел он на это место со специальной целью взорвать царский дворец вместе с царем.

И в течение 5 месяцев готовил Халтурин в помещении царских столяров — мину: для этого нужно было с воли тайком приносить небольшими порциями, ради постоянных обысков при входе во дворец, динамит и сохранять его в своем помещении.

Первое время Халтурин прятал динамит в подушку, на которой спал; ядовитые пары нитроглицерина, которые выделялись из динамита, отравляли Халтурина — у него были постоянные тяжелые головные боли, но это его не останавливало; когда же динамита набралось более пуда, то Халтурин его переложил в свой сундук. В сундуке находился динамит и капсюля с гремуче-кислою ртутью, соединенная со шнуром. Халтурин в день взрыва зажег шнур и ушел из подвала; шнур должен был гореть столько времени, чтобы взрыв произошел в 6 часов вечера, когда царь садился за стол.

Всеми операциями Халтурина сперва руководил Квятковский, после его ареста — Желябов, который доставлял Халтурину динамит. Мина была уже готова, но не подвертывался подходящий случай взорвать ее, и несколько раз вечерами Желябов при мимолетной встрече с Халтуриным слышал, как тот бросал ему отрывисто: «Сегодня нельзя»... «Опять незадача» и т. д., пока, наконец, 5 февраля 1880 года Халтурин не произнес — «Готово!»...

Л. Столпянский.

Взрыв Зимнего дворца

Из книги „Степан Халтурин")

Летом 1879 г. кому-то из членов Союза предложено было место столяра в Зимнем дворце. Он сообщил об этом своим ближайшим товарищам. «Что ж, поступай, — заметил один из них, — кстати уже и

царя прикончишь». Это было сказано в шутку. Но шутка произвела на присутствовавших глубокое впечатление; они серьезно задумались над мыслью о цареубийстве. Призвали на совет Халтурина. На первый раз он высказался неопределенно: посоветовал только не болтать, да разузнать получше о предлагаемом месте.... Новое покушение на жизнь Александра II, в случае неудачи, наверное, причинило бы Союзу новые потери, тем более, что самому Халтурину приходилось итти почти на верную смерть. Он знал, какое расстройство внесет его гибель в дела Союза. Но все эти соображения не устояли перед одним: смерть Александра II *принесет с собою политическую свободу,* а при политической свободе рабочее движение пойдет у нас не по-прежнему. «Тогда у нас будут не такие союзы, с рабочими газетами не нужно будет прятаться». Степан недолго колебался. Доступ во дворец был обеспечен. Оставалось запастись взрывчатыми веществами. И осенью 1879 года Халтурин предложил свои услуги «Исполнительному Комитету», сообщив ему о возможности совершить покушение против царя [1]).

Во дворец Халтурин поступил под фамилией столяра Батюшкова, кажется, около октября 1879 г. и первое время, конечно, был занят исключительно разведками в этом новом для него мире [2]). Царь в это время проживал еще в Ливадии [3]), и во дворце по этому случаю все было свободно, без стеснений, без присмотра. Нравы и обычаи новых сотоварищей поражали Халтурина. Прежде всего удивителен был беспорядок в управлении. Распущенность прислуги и страшное повальное воровство сверху до низу превосходили всякое вероятие. Дворцовые товарищи Халтурина устраивали у себя пирушки, на которые свободно приходили без контроля и надзора десятки их знакомых. В то время, как с парадных под'ездов во дворец не было доступа самым высокопоставленным лицам, черные ходы во всякое время дня и ночи были открыты для всякого трактирного знакомца самого последнего дворцового служителя. Нередко посетители оставались и ночевать во дворце, так как остаться там было безопаснее, чем итти поздно ночью домой по улицам, на которых усердствовала полиция Гурко. Воровство дворцового имущества оказывалось настолько всеобщим, что даже Халтурин принужден был ходить воровать с'естные припасы, чтобы не показаться подозрительным [4]). Впрочем, нельзя было и не воровать. Едва

---

[1]) По словам И. Халтурина (см. его «Семейные воспоминания о Степане Халтурине» в № 17 «Былого»), который сам основывается на рассказе Н. Башкирова, приятеля Степана по Вятке, встречавшего Степана в Петербурге как раз в это время, С. Халтурин попал на работы в дворцовом ведомстве через одного поставщика рабочих для двора, немца, которому очень приглянулся молодой, способный и искусный в своем ремесле столяр.

[2]) Дальнейший рассказ заимствован в большей части из „Календаря Народной Воли". Женева. 1883. Стр. 41—48.

[3]) Не этот ли факт ввел в заблуждение И. Халтурина, который, со слов Н. Башкирова, рассказывает, что до поступления во дворец Степан работал на императорской яхте „Ливадия". Другие источники об этом ничего не говорят.

[4]) Этот факт отчасти подтверждается рассказом Н. Башкирова (приведенным И. Халтуриным в его „Семейных воспоминаниях о Степане Халтурине"). Башкиров рассказывал, будто он и его приятели неоднократно (?) ходили во дворец к Степану,

ли кто мог поверить, чтобы у русского царя дворцовые камердинеры получали по 15 руб. в месяц. И однако, жалованье дворцовой прислуги было именно таково.

Халтурин, поступивший во дворец с фальшивым паспортом, в котором числился крестьянином Олонецкой губ., старался разыгрывать роль простака. Он всему удивлялся, обо всем расспрашивал. Его учили придворным порядкам, как говорить, как отвечать, как себя держать. Над его неуклюжими манерами, над его притворной привычкой чесать за ухом потешалось все «полированное» лакейство. — «Нет, брат, нет! Полировать ты, действительно, мастер, так что и блоха не вскочит [1]), а обращения настоящего не понимаешь». Неотесанному мужику всякий старался пустить пыль в глаза, и из множества рассказов Халтурин скоро познакомился с жизнью даже и верхних этажей дворца. Что касается самого здания, то Халтурин, конечно, скоро с ним вполне ознакомился. С любопытством осматривал он царские покои, видел все эти несметные богатства, видел комнату, где хранились груды золотых и серебряных вещей и множество драгоценных камней, видел и только удивлялся, почему это все не раскрадено еще: до такой степени небрежен был надзор.

Познакомившись с расположением комнат, Халтурин убедился, что подвал, где жили столяры, а в том числе и он, находится как раз под царской столовой, а в среднем этаже между подвалом и столовой помещается кордегардия дворцового караула. Обстоятельства таким образом складывались благоприятно для замыслов Халтурина; но несмотря на это, он не мог приступить ни к каким дальнейшим действиям, так как в это время во дворце началась усиленная уборка, чистка, вообще работа. Царь должен был скоро приехать, и во дворце засуетились. Халтурин был завален работою и, как лучший столяр, работал главным образом в царских покоях, в кабинете и т. д., между прочим, и в столовой, которую собирался взорвать. Выходить из дворца было некогда, работать над «своей» работой — тоже. В общей сложности вышло, что первоначальный план «Исполнительного Комитета» — превратить дворец в резервный пункт на случай неудачи в других местах, не осуществился. В Одессе, Александровске, Москве [2]),

---

где у них завелись знакомства со служащими дворца и где они, за занятия с детьми, получали продукты из царских кладовых, шедшие на пополнение скромного студенческого бюджета. Но полагаться на свидетельство Н. Башкирова невозможно, ибо он, например, сообщает, будто Халтурин все время осведомлял его о ходе дела с подготовкой мины. Кто поверит, чтобы террорист, подготовляющий цареубийство, стал посвящать в такое дело посторонних обывателей?!

[1]) Это—высшая похвала полировщику. Значит, если на отполированную им вещь пустить блоху, то она не может вскочить: настолько гладка поверхность, о даже блошиная нога скользит.

[2]) Осенью 1879 года народовольцы подготовили на пути царя из Крыма в Петербург следующие предприятия: 1) подкоп в Одессе на Итальянской (ныне Пушкинской) улице, в котором участвовали Исаев, Вера Фигнер и пр.; 2) покушение на железной дороге под Одессой, где поселился в качестве стрелочника Фроленко; 3) подкоп под полотно железной дороги близ г. Александровска, Екатеринославской губ. при участии А. Желябова, рабочих Тиханова и Окладского (взрыв не произошел, хотя провода были сомкнуты); 4 подкоп железной дороги под

ко времени от'езда царя из Крыма все было готово для его встречи, но дворец оставался совершенно невооруженным. В это время, по словам лиц, сообщивших эти сведения, Халтурин уже был «агентом» «Исполнительного Комитета» (т.-е. фактически его членом), и сношения вел с ним через А. Квятковского [1]).

Настала середина ноября. Царь выехал из Крыма сухим путем. Одесса, стало быть, осталась в стороне. Затем в Александровске произошла осечка, в Москве промах. Зимний Дворец должен был молчаливо принять в свои покои высокого гостя. Но зато, очевидно, с этого момента дворец сосредоточивает на себе все внимание революционеров. Минирование царского жилища, естественно, должно было быть поведено самым энергичным образом. Однако в это именно время произошел арест Квятковского с захватом у него плана Зимнего дворца. На этом плане царская столовая была помечена крестом. Обстоятельство это подвергло страшному риску все дело, а Халтурина в частности поставило в истинно-каторжное положение.

План дворца, захваченный на такой квартире, как квартира члена «Исполнительного Комитета» и террориста, заставил встрепенуться всю столичную полицию, в том числе и дворцовую. Начались строгости. Но хуже всего подействовал крест на столовой. Что он означает? Полиции, государственная и дворцовая, ломали себе голову и, хотя в точности не могли разобрать дела, но не могли не почуять вообще какой-то опасности. Все покои, прилегающие к столовой сверху, снизу и с боков, подверглись осмотру и самому тщательному надзору. Дворцовая полиция была усилена. В подвале, где жили столяры, поселился жандарм. Полковник, заведывавший дворцовой полицией, ввел систему внезапных обысков, дневных и ночных.

Халтурин, который уже успел перенести к себе некоторое количество динамита, в первый раз был страшно встревожен обыском. Ночью, когда уже все спали, двери подвального помещения вдруг отворились. Полковник в сопровождении жандармов быстро входит. Звук шпор, бряцанье сабель, наконец, приказание полковника встать разбудили столяров. Халтурин считал себя уже погибшим. Не зная о систематических обысках, только-что введенных, он, конечно, мог отнести ночное посещение только на свой счет. А у него лежал под подушкой динамит. Однако дело обошлось благополучно. Порывшись слегка в вещах рабочих, заглянувши в разные углы, охранители царского жилища с таким же громом, звоном и сверканьем удалились для обыска других помещений, а Халтурин только тут поверил, что еще не провалился.

С тех пор обыски в разное время стали повторяться все чаще. Но так как они большею частью были довольно поверхностны, то Хал-

---

Москвой (Гартман и Перовская —взорван был не царский поезд, а пущенный вперед поезд с дворцовой свитой. Несколько раньше предполагался взрыв на пристани в г. Николаеве (Витенберг, Логовенко и др.).

[1]) Александр Квятковский судился в Петербурге по процессу 16 террористов в 1880 году и по приговору военно-окружного суда повешен тогда же вместе с рабочим-террористом Пресняковым.

турин их еще не очень боялся. Гораздо хуже было то, что обыску стали подвергать всех рабочих, возвращавшихся во дворец из каких-либо отлучек. Как при таких условиях переносить на себе динамит? Вообще свободный вход и выход всякой прислуги чрезвычайно стеснили. Все живущие во дворце обязаны были постоянно иметь при себе значок (медная бляха), отлучки контролировались, возвращающиеся обыскивались. Посещения посторонних стали невозможны.

При таких-то условиях нужно было переносить во дворец динамит и устраивать мину. Желябов [1]), сменивший Квятковского в сношениях Халтурина с «Исполнительным Комитетом», лихорадочно торопил дело минирования [2]); но оно все-таки подвигалось черепашьим шагом. Не было никакой возможности проносить динамит иначе, как небольшими кусками, каждый раз изобретая разные хитрости, чтобы избежать осмотра или обмануть бдительность осматривающих. Переносил его Степан в кульках под видом сахара. С другой стороны, нельзя было и отлучаться из дворца слишком часто. При всем желании покончить, наконец, с таким мучительным положением, Халтурин мог наполнять свою мину только очень медленно. Доставлялся динамит для взрыва Царского цворца морским офицером Н. Сухановым [3]) из складов морского ведомства!

Впрочем, в сущности это вовсе и не была мина, потому что при существовавших тогда условиях Халтурин не мог сделать почти никаких приспособлений для направления силы взрыва. Он сперва держал свой динамит просто под подушкой, испытывая от этого страшные головные боли. Известно, что нитроглицерин — вещество крайне ядовитое, довольно сильно испаряется и отравляет кровь даже через вдыхание этих испарений, производя нервное расстройство и головные боли, которых ничем нельзя облегчить. Потом, когда динамиту набралось много, Халтурин переместил его в свой сундук, заложивши разными вещами. Таким образом роль мины играл простой сундук. Затем, по совету техников, Халтурин придвинул его возможно ближе к углу между двумя капитальными стенами, чтобы иметь наиболее шансов обрушить столовую. Для воспламенения динамита, сразу решено было прибегнуть к трубкам, начиненным особым составом, который мог гореть и при отсутствии воздуха. Само собою разумеется, трубки были рассчитаны на то время, которое требовалось для того, чтобы выйти из дворца на определенное число минут. Вот и все нехитрые приспособления, какие возможно было сделать. Что же касается помещения мины в стену и т. п., то об этом не стоило даже фантазировать. Риску на каждом шагу и каждую секунду и без того было достаточно.

Вообще положение Халтурина было самое неприятное. Постоянно следя за собою и всем окружающим, ему нужно было в то же время

---

[1]) Андрей Иванович Желябов (1850—1881)—один из главных представителей партии „Народной Воли“. Казнен в 1881 году за организацию цареубийства 1 марта 1881 года.

[2]) По тем же сведениям, переданным со слов Халтурина.

[3]) В 1882 году лейтенант Суханов за принадлежность к „Народной Воле“ и за участие в цареубийстве был приговорен к смертной казни и расстрелян.

тщательно скрывать свое напряженное душевное состояние, казаться беззаботным. Между тем Халтурин был человеком крайне нервным и впечатлительным. Чахотка, которая у него развивалась все больше, еще усилила эту нервность, не говоря уже о том, что самое положение, беспрерывная опасность, беспрерывная хитрость, беспрерывный переход от тревоги к надежде — все это страшно раздражало нервы. Нужно было постоянное напряжение воли для того, чтобы не выдавать своего волнения и всей внутренней душевной борьбы. Во что обошлась Халтурину эта игра, про то знает только он один. Но, в конце концов, он выдержал роль превосходно.

Подозрительность носилась в дворцовом воздухе, всеобщая мнительность готова была привязаться к малейшему обстоятельству. Но Халтурина никто все-таки не заподозрил. Попрежнему ему поручались работы в царских комнатах. Делалось это, конечно, в отсутствие царя; но однажды случилось, что царь возвратился не в срок, Халтурина не успели вывести, и Александр II неожиданно столкнулся с своим врагом [1]). Это был единственный случай их встречи за все время, но он все-таки показал Халтурину, как далеки во дворце от всяких подозрений относительно него. А между тем разговоры о социалистах (их так и называли там) шли между полицией и прислугой постоянно. Жандармы часто напоминали рабочим о злоумышленниках, о плане, найденном у Квятковского, и внушали, что нужно смотреть в оба, что крест стоял на плане недаром, и во дворце наверное где-нибудь кроется измена. Эти речи возбуждали всеобщую подозрительность, хотя надо сказать, что социалисты рисовались нижним этажам дворца в довольно фантастическом свете. — «Вот хотелось бы взглянуть на кого-нибудь из них, — говорит, например, один служитель: — хоть бы встретить на улице, что ли». — «Да ведь как же ты его узнаешь? — возражал Халтурин, — разве на нем написано?» «Не узнаешь! Эх ты, деревня! Его сейчас видно. Он, брат, идет, так сторонись. Того гляди пырнет. Ничего не боится, глядит высоко, вид у него отчаянный. Его, брат, сразу признаешь!» По таким приметам, разумеется, нелегко было узнать Халтурина, и он продолжал свое дело при общем доверии, получивши даже к празднику (на Рождество) 100 рублей награды.

А дело уже шло к развязке. Около трех пудов динамиту было перенесено в сундук. По расчетам техников, этого казалось достаточно для того, чтобы взорвать столовую, не производя в других частях дворца бесполезного опустошения. Вообще со стороны Желябова, следившего за ходом дела, постоянно сказывалось желание по возможности уменьшить число жертв. Халтурин, напротив, не хотел этого принимать в соображение. Он доказывал, что число жертв все равно будет огромное. «Человек 50 перебьет без сомнения, — говорил он: — так уж

---

[1]) По рассказу И. Халтурина (все со слов того же Башкирова) Степан, даже находясь уже в Зимнем Дворце, был первоначально против убийства царя путем взрыва, при котором посторонние жертвы были неизбежны. Он предпочитал убить тирана кинжалом или из револьвера. Но рассчитывать на удачу такого способа не приходилось. Встреча Халтурина с Александром II была чисто случайной и совершенно неожиданной.

лучше класть побольше динамиту, чтобы хоть люди недаром пропадали, чтобы наверное свалить и *самого* и не устраивать нового покушения» [1]). Страшный риск при переноске динамита и постоянно усиливающаяся строгость надзора во дворце заставили однако действительно торопиться. Сверх того, носились даже слухи, что столяров переведут куда-то. Мнение Желябова, естественно, в силу обстоятельств восторжествовало. Решено было действовать при данном количестве динамита, как только представится случай.

Благоприятный случай этот требовал совпадения двух обстоятельств. Нужно было, чтобы царь находился в столовой, а Халтурин в подвале без всякого надзора. В столовой царь обедал ежедневно, хотя с некоторым колебаниями во времени, так, с полчаса раньше или позже. Что касается столяров и жандарма, то их отсутствие зависело отчасти от распределения дежурства в работе, отчасти же от простой случайности. Совпадение всех этих благоприятных условий происходило однако не так часто. И когда в начале февраля Халтурин должен был «действовать», то несколько дней испытывал постоянные неудачи. Он в это время каждый день, после времени предполагаемого взрыва, должен был видеться с Желябовым, чтобы сообщить об исходе, так как, в случае неудачи, ему следовало скрыться при помощи Желябова. Они встречались на площади, в темноте, не всегда здороваясь. Халтурин, мрачный и злой, проходил быстро мимо, произнося нервным шопотом: «нельзя было...», «ничего не вышло»...

Эти ответы Желябов слышал несколько дней подряд. Наконец, 5 февраля Халтурин, замечательно спокойный, поздоровался с ним и, словно фразу из самого обычного разговора, произнес: «Готово» [2]). Через секунду страшный грохот подтвердил его слова. Мину взорвало. Огни во дворце потухли. Черная Адмиралтейская площадь стала как будто еще темнее. Но что скрывалось за этой темнотой там — на другом конце площади? Жив ли он, для которого пожертвовано столько жизней? Ни Желябов, ни Халтурин не могли ждать раз'яснений, несмотря на жгучее любопытство. Ко дворцу сбегались люди, прискакали пожарные. Что-то выносили оттуда: это были трупы и раненые. Их казалось ужасно много. Но что с самим виновником

---

[1]) Эти сведения передаются в одинаковом смысле со слов и Желябова, и Халтурина. Халтурин всегда потом жаловался, что его не послушали и испортили дело. По словам И. Халтурина, предполагалось зарядить мину 15 пудами динамита (об этом будто бы Степан рассказывал Башкирову. Но просто невероятно, чтобы террорист посвящал посторонних делу людей в такие подробности). При этом И. Халтурин сообщает прямо противоположные сведения об отношении Степана к возможности случайных жертв. По его словам, они страшили Халтурина, он их не желал и именно потому склонялся якобы к плану единоличного убийства. Он же сообщает, будто именно Степан начал торопить дело со взрывом ввиду усилившегося к нему подозрения и попытки жандарма при последнем проносе динамита обыскать его. Но сообщения И. Халтурина, основанные на словах совершенно постороннего делу Башкирова, вряд ли заслуживают серьезного доверия.

[2]) Все это передано со слов Желябова, который был просто восхищен самообладанием Халтурина.

этой бойни, с Александром II? Желябов и Халтурин быстро удалились [1]).

Для последнего уже готово было верное убежище, насколько, конечно, они вообще существовали в царской России. И только по прибытии туда нервы Халтурина будто сразу размякли. Усталый, больной, он едва мог стоять и только немедленно справился, есть ли в квартире достаточно оружия? «Живой я не отдамся», — говорил он. Его успокоили: квартира была защищена динамитными бомбами.

5 февраля 1880 года в Петербург приехал в гости к царю принц Баттенбергский. По этому случаю в Зимнем Дворце должен был состояться торжественный обед, и этот именно момент избран был заговорщиками для взрыва. Предполагалось, что взрыв разрушит столовую и похоронит под развалинами дворца всю царскую семью со всей свитой приглашенных. Халтурин и произвел взрыв в назначенное время. По словам В. Фигнер [2]), взрыв произошел как раз в момент, когда царская семья входила в столовую. По другим, более многочисленным свидетельствам, из-за приезда принца царь к обеду опоздал на полчаса, и таким образом взрыв произошел преждевременно. Но он все равно не мог дать ожидаемых результатов ввиду слабого заряда мины. Столовая уцелела, хотя пол в ней покоробился, а посуда попадала на столе. Зато пострадали подвал и расположенная между ним и царской столовой кордегардия, где находился конвой Финляндского полка, из состава которого около 50 человек было убито и ранено.

Известие о том, что царь спасся, подействовало на Халтурина самым угнетающим образом. Нравственные страдания его были ужасны. Он свалился совсем больной, и только рассказы о громадном впечатлении, произведенном 5 февраля на всю Россию, могли его несколько утешить, хотя никогда он не хотел примириться со своею неудачей и не простил Желябову того, что называл его ошибкой.

А впечатление от взрыва 5 февраля было действительно потрясающим — не только в России, но и во всем мире. Итак, самодержавный тиран, попирающий тяжелой пятой величайшую страну, не может чувствовать себя безопасным в своем собственном дворце! Революционная же партия настолько сильна и имеет столько связей, что может свободно проникать в такие заповедные места и устраивать на могучего деспота настоящую облаву! Насколько же прогнил этот режим! Престиж царизма сильно пал, обаяние же партии «Народной Воли» настолько же возросло. В русском обществе усилилось течение в

---

[1]) И. Халтурин, со слов уже упоминавшегося Н. Башкирова, сообщает: «И в этот решительный момент Степан прежде всего озаботился о том, чтобы устранить всякую опасность от своих товарищей по работе, и увел их заблаговременно из дворца под тем предлогом, что в этот день он празднует день своего рождения и хочет угостить своих товарищей. Отведя их в трактир и организовав там пирушку, он вернулся во дворец, чтобы устроить запал для взрыва, и затем ушел на заготовленную ему конспиративную квартиру». Все это, повидимому, придумано от начала до конца или Башкировым, или автором «Воспоминаний». Неужели же Степан не рассказал бы о таком факте Желябову или другим товарищам по партии?

[2]) См. ее книгу «Запечатленный Труд», ч. I, стр. 163.

пользу конституции. Испуганный царизм, с одной стороны, усилил гонения на революционеров, а с другой, — принужден был прибегнуть к заигрыванию с либеральной буржуазией, чтобы не допустить об'единения террористов с либеральным обществом. Провозглашена была «диктатура сердца»; диктатором назначен был Лорис-Меликов, который, одной рукой затягивая петлю на шее революционеров, другой пытался создать видимость либеральных преобразований для замирения всеобщего недовольства. Во всяком случае казалось, что позиции самодержавия серьезно поколеблены, и Степан мог хотя бы в этом находить некоторое основание для утешения.

Если верить одному показанию В. Короленко, то Халтурин впоследствии раскаивается в уходе от деятельности среди рабочих и в увлечении террористической борьбой. Об этом сообщил В. Короленке питерский рабочий Павлов, находившийся вместе с ним в ссылке в Якутской области, куда Павлов был сослан за участие в издании «Рабочей Зари» (выше цитированной нами). Павлов был учеником Халтурина и участником «Северно-Русского Рабочего Союза». И вот этот Павлов рассказывал Короленке, что Степан Халтурин со слезами убеждал своих учеников рабочих продолжать пропаганду среди своей братии, но ни в каком случае не вступать на путь террора. «С этого пути возврата уже нет», — говорил он [1]).

Разговор этот, если только он точно передан Павловым, имел место приблизительно около того времени, когда Халтурин организовывал взрыв в Зимнем Дворце. Тем более он характерен. Даже в этот момент, т.-е. в разгар своей террористической деятельности, Халтурин, значит, чувствовал, что террор окончательно отрывает его от рабочего дела, к которому его, видимо, тянуло по-прежнему. Но выхода не было. Сам Халтурин признал, что, раз ставши на террористический путь, приходится итти по этому пути до конца. И собственный его пример подтвердил справедливость его слов.

После 5 февраля С. Халтурин продолжал действовать около двух лет. Пробовал он вернуться к своему «рабочему делу». Но логика раз принятого способа действий ставила свои неотразимые требования. Степан снова пошел на «террор». Наиболее громким актом из этой области деятельности Халтурина было участие его в убийстве Стрельникова.

Ю. Стеклов.

Убийство прокурора Стрельникова и смерть Халтурина

(Из книги „Степан Халтурин")

Еще будучи киевским военным прокурором в конце 70-х годов, Стрельников обратил на себя внимание как правительства, так и революционеров бесчисленными обысками, арестами без разбора, циническим нахальством, с которым он обращался с арестованными, осыпая их бессмысленными клеветами и до суда, и на суде. Во время своих

[1]) Вл. Короленко — История моего современника, «Голос Минувшего» 2019—1921, стр. 28.

обвинительных речей этот палач, требуя для подсудимых смертной казни, «веревки», как он выражался, кричал: «Вот что ему надо!», обхватывал свое горло пальцами и, высовывая язык, шипел и корчился, как повешенный. «Достаточно одного моего убеждения в вашей виновности, — говорил Стрельников, не находя ни одной улики против арестованного: — суд на все будет смотреть моими глазами». И драконовские приговоры киевских судов того времени, в особенности же казнь 19-летнего Розовского за то только, что он не захотел выдать лицо, давшее ему прокламацию, служили блистательным подтверждением слов прокурора Стрельникова. Суд, действительно, на все смотрел его глазами [1]).

Осенью 1881 г. царь поручил Стрельникову производство дознаний по политическим преступлениям на всем юге России. Снабженный чрезвычайными полномочиями и правом помимо генерал-губернаторов прямо сноситься с министром внутренних дел и даже с самим царем, Стрельников развернулся. Полетели телеграммы и приказы об арестах. По железным дорогам, на пароходах и на почтовых тройках отовсюду свозили арестованных; тюрьмы быстро переполнились; жандармы выбивались из сил. «По целым неделям глаз не смыкали», — жаловались жандармы, вспоминая об этом «горячем» времени. Забирали огульно всех, чья фамилия так или иначе стала известной Стрельникову: студентов, рабочих, частных лиц, отцов и матерей семейств и молодежь обоего пола, часто невышедшего еще из детского возраста. На детей Стрельников набрасывался с особенной жестокостью, ругался и кричал на допросах, запугивал казнью, читал подложные показания товарищей, уличавшие их в неслыханных преступлениях, и наименее стойких доводил до слез, до истерики, до отчаяния. Арестовывают, например, совсем молоденькую девушку за какую-то невиннейшую переписку. На допросах Стрельников обещает ей виселицу за ее «преступления», изложенные в показаниях такого-то и такой-то (называет фамилию), а затем к потрясенной, измученной допросом девушке подсылает тюремного смотрителя, который с самым сострадательным видом говорит ей о страшной участи, ее ожидающей, о страданиях ее семьи и друзей и «отечески» советует ей во всем сознаться. Как истинный хам, он обращался с рабочими на допросах особенно грубо, хватал за горло и пр... Стрельников производил над арестованными и другие эксперименты: выпускал на волю, опять арестовывал, снова выпускал и т. д. Матерям, просившим за своих арестованных детей, этот садист говорил с сладострастным восторгом: «Ваш сын будет повешен, сударыня!» и доводил их до отчаяния. Никогда попытки самоубийства не были так часты между арестованными, как во время производства им дознаний.

Революционеры решили покарать этого гнусного царского палача. Это случилось в Одессе. Приговор над злодеем исполнен был Халтуриным и молодым народовольцем, студентом Желваковым.

---

[1]) Этот предшественник будущих военных прокуроров столыпинской эпохи хорошо описан в «Воспоминаниях» Вл. Дебагорио-Мокриевича, который сам судился в 1879 году в киевском военно-окружном суде, где подвизался Стрельников.

В. Н. Фигнер [1]), работавшая в то время на юге в качестве представительницы партии «Народной Воли», ознакомила находившийся тогда в Москве «Исполнительный Комитет» с охарактеризованной выше деятельностью Стрельникова и передала общую просьбу убрать этого палача с занимаемого им места. Учитывая вместе с тем тот вред, который наносится партии «Народной Воли» работой Стрельникова, Фигнер настояла на принятии «Исполнительным Комитетом» постановления об убийстве Стрельникова, которое должно было произойти в Одессе, куда он наезжал по делам службы.

После того, как В. Фигнер собрала в Одессе нужные сведения, могущие облегчить выполнение задуманного предприятия, «Исполнительный Комитет» по ее просьбе выслал туда двух человек, из которых 31 декабря 1881 г. прибыл только один. Этот один был С. Халтурин. Фигнер передала Халтурину все имевшиеся у нее сведения о Стрельникове, и теперь Степан сам занялся слежкой за этим извергом. Но Стрельников неожиданно уехал из Одессы. За время его отсутствия Халтурин выходил из себя от нетерпения и несколько раз собирался ехать в Киев, где находилась постоянная резиденция Стрельникова, чтобы там организовать покушение. Но в феврале 1882 года Стрельников снова появился в Одессе и приступил к своей обычной работе, выразившейся в многочисленных арестах.

Постановлено было совершить покушение во время послеобеденной прогулки Стрельникова по Приморскому бульвару. В виду предположения, что Стрельников носил кольчугу, решено было целить ему в голову и стрелять в упор. Для бегства исполнителей приговора заготовлены были лошадь и кабриолет, купленные на деньги, переданные Халтурину В. Фигнер. В помощники Халтурину «Исполнительный Комитет» прислал студента Желвакова.

Теперь все было готово, и развязка не замедлила воспоследовать.

18 марта 1882 года Стрельников, пообедавши по обыкновению во французском ресторане, вышел на бульвар для обычной послеобеденной прогулки и, пройдясь несколько раз по средней аллее, сел на скамейку у прохода из крайней аллеи на среднюю, от которой она отделялась изгородью, окружавшей ряд деревьев. Рядом с ним сел один подозрительный суб'ект, который в Новороссийском университете выдавал себя то за студента Энгельгарда, то за вольнослушателя Смирнова. Это был, очевидно, охранник, сопровождавший Стрельникова. Когда Желваков, все время следивший за Стрельниковым, подходил к скамейке, нащупывая в кармане револьвер, Стрельников встал и пересел на соседнюю скамейку, оглядывая в полоборота среднюю аллею. Желваков остановился у конца изгороди, за которой сидел Стрельников, вынул револьвер и, прицелившись в правую сторону затылка, спустил курок. Голова Стрельникова мгновенно склонилась на правый бок и оперлась о спинку скамейки. Публика так и замерла на месте: никто не шевельнулся даже и тогда, когда через мгновение на крайней аллее появился человек с револьвером в руке и, перепрыгнув через изгородь, пустился вниз по крутому спуску к Гаванной улице. Он поравнялся

[1]) См. ее «Запечатленный Труд», стр. 261 и след.

уже со зданием Думы, когда Смирнов подбежал к краю аллеи и, махая руками, стал кричать вниз: «Ловите! держите!... Убили среди бела дня». Тогда ожила и публика на бульваре; послышались голоса: «за доктором!»... Одна барыня решилась даже подойти к Стрельникову и приложить платок к ране, но ее заботы оказались напрасными: он был уже мертв. Через несколько минут появился генерал-губернатор Гурко (роковая скамейка стояла как раз против его дворца) и, воскликнув: «какие беспорядки!», приказал отнести еще теплый труп Стрельникова в ближайшую гостиницу. Появилась, наконец, и полиция, начавшая свою деятельность с отобрания адресов у присутствующих.

Желваков между тем бежал вниз, отстреливаясь от преследователей, нагонявших его или пытавшихся преградить ему путь. Все, кто видел этот бег и эту необычайную защиту на узком и крутом спуске, не могли хладнокровно говорить о силе, ловкости и самообладании молодого героя. Выпустив все заряды из двух револьверов, он выхватил кинжал и, продолжая отбиваться, приближался все более к белой лошади, запряженной в пролетку, на которой поджидал его Халтурин у конца узкого спуска, выходившего на Гаванную улицу. Между тем внизу перед спуском собралась уже куча прохожих. Они не знали, конечно, что совершилось там наверху, но с изумлением смотрели на несущегося к ним вооруженного человека, поранившего уже многих, пытавшихся его задержать. Им скоро стала заметна цель этого отчаянного бега; многие бросились к выходу спуска, чтобы в этом узком месте задержать бегущего, и окружили пролетку. В эту критическую минуту Халтурин, убедившись, что Желвакову пробиться к пролетке невозможно, соскочил с нее и, выхватив револьвер, хотел поспешить на помощь товарищу, но на первых же шагах споткнулся. Приказчик из угольного склада, околоточный надзиратель и несколько карантинных рабочих бросились его задерживать. «Оставьте! Я — социалист, я за вас!», — крикнул Халтурин. Рабочие инстинктивно остановились. — «Чтобы ты так жил, как ты за нас!», — отвечал приказчик, здоровенный негодяй, вместе с околоточным всею тяжестью навалившийся на Халтурина. — «Конечно, не за таких мерзавцев, как ты, а за несчастный рабочий народ», — проговорил тот, с трудом переводя дыхание. Подоспевшая полиция помогла им связать Халтурина, зверски скрутив ему руки глубоко впившимися в тело веревками.

Желваков увидал, что делается около пролетки, и, почти у самого прохода, свернул в сторону по направлению к Карантинной площади, все продолжая бежать, хотя силы, должно быть, уже начинали оставлять его. Столкнувшись с чиновником Игнатовичем, тоже бросившимся преграждать ему путь, он приостановился немного; тогда погоня мгновенно окружила его, обезоружила, повалила и связала. Обоих арестованных тотчас же увезли в полицию.

Постепенно распространяясь с бульвара, вести дошли и до нижних улиц. Сперва сведения были разноречивы: «Стрельников убит!». «Градоначальника пристрелили!». — «Самого Гурко!». Но к ночи всюду уже было известно, что убийство — «политическое», и убит именно Стрельников. Отношение тотчас же изменилось: «Если бы знали, отбили бы», — говорили карантинные рабочие. Рассказывали, будто

даже сам Игнатович заболел от угрызения совести, что помог задержать убийцу Стрельникова. В городе стало заметно возбуждение. Одни спешили на бульвар посмотреть на место происшествия, кровь, скамейку; другие толпились у полицейского участка, куда привезли арестованных. Сочувственное отношение к событию можно было подметить повсюду.

Полиция вся на ногах. Пешие и конные патрули попадаются на каждом шагу: по тротуару, перед зданием полиции запрещено ходить; сюда то и дело под'езжают предержащие власти, генерал-губернатор, градоначальник и другие, а в самом здании идут допросы. Желваков отказался отвечать, пока ему не скажут, убит ли Стрельников. «Убит», — отвечали ему. — «Ну, теперь делайте со мной, что хотите». Допросы ни к чему не приводили. Узнали, где была куплена лошадь, узнали и квартиры арестованных, так как при них были паспорта, но ни их личности, ни настоящие фамилии установлены не были. Поздно ночью под сильным конвоем их перевезли в тюрьму и поместили в подвальном этаже. Допросы шли беспрерывно, и до самой казни арестованным не дали ни одного часа отдыха. По городу шли слухи, что их пытали, но фактических доказательств этому нет.

В ночь с 20 на 21 февраля собрался суд, невиданный даже и в царской России. Вообразите себе глухую ночь, неизвестное публике место суда и в заседании — никого, кроме Гурко, им самим избранных судей, да подсудимых.

Даже высшие чины военного и судебного ведомств не были допущены. И все-таки стало известно в общих чертах, что происходило на суде, что говорили подсудимые. Халтурин заявил, что приехал в Одессу с целью заняться организацией рабочих, но в деятельности Стрельникова встретил сильное к тому препятствие. Он сообщил об этом «Исполнительному Комитету» и получил от него поручение организовать убийство Стрельникова, что и было им выполнено [1]).

Желваков, говорят, сказал: «Меня повесят, но найдутся другие. Всех вам не перевешать! От ожидающего вас конца ничто не спасет вас!».

Из Гатчины было получено царское предписание — немедленно повесить убийц Стрельникова, и в виду такой поспешности Гурко решил, не беспокоя Фролова [2]), выбрать палача из содержавшихся в одесской тюрьме приговоренных к каторге уголовных арестантов.

Весть о том, что Стрельников убит, а арестованные террористы привезены в тюрьму, быстро разнеслась между уголовными арестантами. Факт убийства был встречен всеобщим одобрением, а арестованные террористы возбуждали живейшее сочувствие, особенно Желваков своим удальством и молодостью. Поэтому предложение повесить за известное вознаграждение убийц Стрельникова было встречено уго-

---

[1]) Мы не знаем, достоверно ли так показывал Халтурин; но по воспоминаниям В. Фигнер видно, что Халтурин прибыл в Одессу со специальной целью привести в исполнение постановление Исполнительного Комитета об убийстве Стрельникова.

[2]) И верный в те времена палач, казнивший большинство террористов, в том числе и цареубийц 1-го марта 1881 года.

ловными арестантами решительным отказом. Некоторые выражали его в самой резкой форме: «Да не сойти мне с этого места, да подохнуть мне совсем, если я их хоть на эстолько трону!», или «Скорее всех генералов передушу, чем их хоть мизинцем трону!» слышалось в ответ на позорное предложение.

Наконец, напали на одного, который, видимо, начал колебаться, прельщенный обещаниями льгот и подарков. — «Я только вешать не умею», — отговаривался еще он. — «Ну, это пустяки, — возражали ему: — вешать доктор (тюремный врач Розен) подучит» [1]).

Ни о суде, ни о приговоре, ни о самой казни никто не должен был знать раньше, чем все будет кончено, но тем не менее при повешении требовалось присутствие представителей «общества». Эта дилемма была разрешена следующим образом: двум-трем благонадежным гласным Думы и известному редактору «Новороссийского Телеграфа», черносотенцу Озмидову, был послан лаконический приказ: явиться в 5 часов утра к городскому голове. Несчастные представители «общественной гласности» провели очень тревожную ночь и на рассвете явились к Маразли (городскому голове), который и повез их прямо в тюрьму.

В 6 часов вывели Халтурина и Желвакова. Последний быстро взошел по ступенькам на эшафот и пересчитал их. — «Четырнадцать, о, как высоко!», — сказал он. Сам надел петлю на шею и повис. Чахоточного, больного Халтурина должны были поддерживать. Слишком много выпивший для бодрости палач долго возился, надевая на него петлю, и несколько раз поправлял ее. Благодаря его неумелости, Халтурин страшно долго мучился, прежде чем был окончательно задушен. Полицеймейстер, присутствовавший при казни, отвернулся, чтобы не видеть его судорог, а офицеру, распоряжавшемуся процедурой, сделалось дурно [2]).

Так погиб Степан Халтурин, один из первых провозвестников и организаторов русской рабочей партии и борец за освобождение пролетариата. То, о чем мечтал этот выдающийся рабочий, осуществилось в наши дни. Рабочий класс России сбросил с себя цепи рабства, уничтожил старый политический и экономический строй и основал царство социализма. И одним из первых шагов освободившегося русского пролетариата было открытие памятников своим великим предшественникам, — бойцам за социальную революцию. Среди них — рабочий Халтурин занимает одно из самых почетных мест.

Москва, куда он попал впервые юношей, первая воздвигла памятник столяру Халтурину. Мы уверены, что скоро такие же памятники будут поставлены Степану и в красном Питере, где он положил основание «Северно-Русскому Рабочему Союзу», и в освобожденной от буржуазии Одессе, где он сложил за народ свою голову, и на его родине в Вятской губернии, давшей России такого великого сына.

Ю. Стеклов.

---

[1]) Этот военный врач Розен был еще врачом в одесской тюрьме, когда я там сидел в 1894 году. При мне он был уже в генеральском чине. О нем упорно говорили, что он помогал вешать Халтурина и Желвакова.

[2]) «На родине», № 3-й, стр. 52—59. Женева. 1883.

Заявление А. И. Желябова прокурору Петербургской судебной палаты

Если новый государь, получив скипетр из рук революции, намерен держаться в отношении цареубийц старой системы; если Рысакова намерены казнить, было бы вопиющей несправедливостью сохранять жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь Александра II и не принявшему физического участия в умерщвлении его лишь по глупой случайности. Я требую приобщения себя к делу 1 марта и, если нужно, сделаю уличающие меня разоблачения. Прошу дать ход моему заявлению.

2 марта 1881 г. Д. пр. закл. *Андрей Желябов.*

P. S. Меня беспокоит опасение, что правительство поставит внешнюю законность выше внутренней справедливости, украся корону юного монарха трупом юного героя лишь по недостатку формальных улик против меня, ветерана революции. Я протестую против такого исхода всеми силами души моей и требую для себя справедливости. Только трусостью правительства можно было бы об'яснить одну виселицу, а не две.

Андрей Желябов.

Русская политическая тюрьма—Петропавловская крепость

(Из книги „Каторга и ссылка")

Петропавловская крепость служит в России большой государственной тюрьмой, в которую рано или поздно попадают все важные и опасные политические преступники. Всякий посетивший Петербург путешественник помнит тонкий позолоченный шпиц, поднимающийся примерно до высоты 400 футов над плоским берегом Невы против Зимнего дворца, и который издали блестит как золотое копье на фоне болотистого берега реки и низменных вод Финского залива. Это шпиц собора крепости, в котором погребены кости русских царей и вокруг заживо погребены враги царского правительства. Все, что можно видеть от крепости со стороны реки, на которую она выходит, представляется в виде длинной невысокой стены из серого камня, с резко выступающими и входящими углами и немногими пушками en barbette; виден флаг, развивающийся с парапета, а над ним — белая колокольня с полированным шпицем собора и дымящиеся трубы царского монетного двора. Главным входом в крепость служит длинный под сводами переход, ведущий сквозь стену вблизи конца Троицкого моста в довольно обширный зеленый и тенистый парк или бульвар, в который публика допускается во все часы дня и через который обитатели Петербургской стороны (так называется прилегающая часть города) могут проходить в свои дома. Но сколько ни гуляй по этому переходу, нельзя составить точного понятия ни о величине, ни о характере этой большой русской тюрьмы для полити-

ческих. Крепость составляет в целом совокупность многочисленных бастионов, равелинов, куртин, бараков и кладовых, занимающих примерно три четверти квадратной мили и пересекающихся описанным бульваром и каналом, или рвом, отделяющим собственно цитадель крепости от кронверка. В какой части этого обширного лабиринта стен, ворот, двориков, бастионов и редутов заключены политические, этого не знают они сами. Их привозят в крепость ночью с жандармами в наглухо завешанных каретах и, когда после многих переходов то туда, то сюда, через разные ворота, между глухих стен и сводов, их выводят на свет, они видят себя в маленьком дворике, из которого ничего кроме высокого неба не видно. Они могут только делать предположения о местоположении этого дворика. Есть некоторое основание думать, что та часть крепости, куда запирают политических преступников в ожидании суда, есть бастион, выходящий на реку в направлении к бирже, но и это еще недостоверно. Все, что я узнал от политических ссыльных, с которыми познакомился в Сибири, это — что, по их догадкам, они были заключены в Трубецком бастионе. И вот этой-то части крепости они могли дать мне довольно полное описание.

Бастион этот представляет массивное, пятиугольное, двух'этажное здание из камня и кирпича, длиной около 300 футов от флангового угла к основанию и 250 футов шириною по линии, проведенной между двумя боковыми углами (приводимые размеры бастиона основаны на глазомере). Он расположен во дворе, на 25 или 30 футов более длинном и широком, чем самый бастион, и окруженном высокой стеной, прилегающей к лицевой стороне бастиона и отделенной от него пространством в 12 или 15 футов. Назначение этой стены — совершенно замкнуть собою бастион. Казематы, служащие камерами для политических преступников, расположены в двух этажах, одни над другими, и находятся в центре здания между узким наружным двором и более широким внутренним. Двери в них отворяются в коридор, который внутри обходит казематы, а окна выходят на окружающую белую стену, столь же высокую, как самый бастион, и которая не только ограничивает вид во всех направлениях, но и лишает нижний этаж света и воздуха. Число казематов во всем бастионе — 72, по 36 в каждом этаже, и они все совершенно одинаковы, за исключением угловых. Так как они первоначально предназначались для постановки тяжелых орудий, то и величина камер более обыкновенных тюремных. Их приблизительные размеры равняются 24 футам длины от двери к окну, 16 футов ширины между боковыми стенами и 12 футов вышины от потолка, слегка изогнутого сводом. Стены и потолки кирпичные, а пол покрыт цементом. Массивный наружный фас бастиона имеет у каждого каземата сводчатое окно на высоте 8 — 9 футов от полу; это глубокое, как туннель, отверстие, защищено двойной решоткой и имеет небольшую железную форточку на петлях, которую можно открывать для пропуска воздуха. При данной высоте окна от полу узник не в состоянии без подставки достать до окна и не видит через него ничего кроме верхней части наружной стены и ближайшего клочка неба. Тяжелая деревянная дверь казематов имеет в средине широкое отверстие, закрытое подвижной доской, которую можно спускать и

поднимать, и когда последней дается горизонтальное положение, она образует полку, на которую сторож ставит пищу для узника. Сейчас над этим окошком находится горизонтальная щель, приблизительно столь же широкая, как отверстие в уличных почтовых ящиках, и закрытая деревянной дощечкой; это приспособление на языке заключенных известно под именем «иуды» и позволяет сторожу во всякое время заглядывать в камеру незаметно для арестанта. Нагревается камера обыкновенной русской печью с топкой из коридора; мебель состоит из железной кровати, ввинченной в стену, так что один конец ее можно поднять, из железной же доски, также привинченной к стене около головного края кровати и заменяющей стол, из неподвижного железного умывальника, деревянного ящика с ведром для испражнений, маленького дешевого образа Богородицы, перед которым узник может молиться, и жестяной чашки, подвешенной под окном для собирания влаги, стекающей с откоса глубокого подоконника. Общий вид камеры—мрачный, темный и отталкивающий и, при первом взгляде, своими массивными стенами, сводчатым потолком, железными решетками, тяжелым, спертым воздухом и глубоким безмолвием напоминает могильный склеп.

Когда арестанта привезут ночью в один из этих казематов, прежде всего его раздевают до-нага. Производится тщательный осмотр, не спрятано ли у него чего в волосах, во рту, ушах или ноздрях, и когда тюремщик убедится, что ничего нет, то ему вместо его собственного платья выдается тюремное, заключающееся в серой рубашке из грубого холста, толстых подштанниках, длинном синем холщевом халате, шерстяных чулках и паре мягких войлочных туфель. Как только он оденется, солдатский караул удаляется, тяжелая дверь за ним захлопывается, ключ скрипит в ржавом замке, и узник, наконец, один в своей скудно освещенной камере. Могильная тишина окружает его, не слышно ни шагов, ни голоса, ни вообще какого-нибудь звука, указывающего на присутствие другого живого существа в бастионе. Каждую четверть часа колокола крепостного собора медленно отбивают священную мелодию «Спаси, Господи», и каждый час другую такую же: «Коль славен наш Господь в Сионе!» Спертая, глухая атмосфера, мокрые стены, подавляющее безмолвие и умирающие вдали звуки соборных колоколов—все, кажется, говорит поминутно расстроенному узнику: «хотя ты не умер, но уже похоронен». Подавленный мыслью, что здесь конец всем его надеждам, стремлениям и борьбе за благо родины, мучимый беспокойством за участь близких и дорогих ему существ, он вскакивает с узкой железной кровати, на которую было бросился в первом пароксизме отчаяния, и начинает ходить взад и вперед по камере. «Как долго,—спрашивает он себя,—может это продолжиться?» Он мысленно переживает все, что предшествовало и сопутствовало его аресту, припоминает все вопросы, предложенные ему на предварительном допросе, и старается на основании фактов составить спокойное суждение о вероятной продолжительности своего заточения. Тяготеющее на нем обвинение ему кажется не серьезным, нет никаких осложняющих обстоятельств, которые могли бы затянуть следствие. Авось процесс его начнется через несколько недель, и тогда его освободят. Согретый этим лучем надежды, проникшим в его сердце, он наклоняется, чтобы надеть

свалившуюся с ноги войлочную туфлю, и в это время ему кидается в глаза едва видная тропинка, протоптанная на полу из одного угла камеры в другой, как раз по той диагонали, по которой он ходит. Смущенный темною догадкой, он хватает лампочку и осматривает ее тщательно. Не подлежит сомнению, что это отпечаток стопы, не глубокий, но заметный, оттиснутый на твердом полу человеческими шагами. Зловещее значение этого открытия действует на него, как удар нового несчастия. Он, стало быть, не первый уже узник, похороненный в этом глухом каземате; не он первый ищет здесь в физическом утомлении спасения от одолевающих его дум. Может быть, кто-то, как и он, обвиненный в политическом преступлении, и как он, вполне уверенный в близком освобождении, пробил эти следы своих шагов в полу. Кто-то, тоже с изнывшим сердцем и с обманутыми надеждами, шагал здесь не сотни, не тысячи раз, а сотни тысяч раз из угла в угол, так долго, что твердый пол каземата был придавлен его уставшими ногами и сохранил отпечаток от его однообразной прогулки. Это меланхолическое напоминание об одиночестве и тоске его неизвестного предшественника обескураживает узника больше, чем все, что его постигло со времени ареста. Ему вспомнилась история декабристов, как в той же самой крепости многие из этого доблестного революционного круга утрачивали год от году мужество и кончали тем, что умирали, или решались на самоубийство или сходили с ума. Один из них, полковник Батенков, томился здесь в одиночном заключении почти четверть столетия.

(История попытки многих офицеров вызвать при восшествии на престол императора Николая революцию и ввести конституционный образ правления хорошо известна. Один из участников движения, Батенков, был подвергнут одиночному заточению в крепости с декабря 1825 до февраля 1846 г. и в течение более чем 20 лет он ни разу не перешагнул за пределы Алексеевского равелина и, кроме своих стражей, не видал ни одного человеческого существа. Ему разрешили иметь библию на еврейском языке и лексикон, и он большую часть своего времени употребил на новый перевод ветхого завета на русский язык. Это умственное занятие, вероятно, спасло его от помешательства, этой обычной угрозы для политических преступников и почти неизбежного последствия продолжительного тюремного заточения. Кроме лексикона и немногих духовных книг, Батенкову другой литературы не позволялось, и он во все 20 лет не видел ни разу газеты и не имел понятия о том, что происходит на свете. Он был буквально похоронен живым. В феврале 1846 г., наконец, его освободили и сослали в Западную Сибирь. Некоторые интересные сведения о его жизни и характере можно найти в письме его друга г. А. Лучшева, напечатанном в иркутской газете «Сибирь» от 30 января 1883 г. и в сочинении Максимова «Сибирь и каторга», т. II, стр. 166). Другой, мичман Дыбов, пробыл в заточении, пока смерть не сжалилась и не пришла освободить его. Третий, поручик Заикин, не будучи в силах перенести пытку одиночного заключения, раздробил себе череп о стену, — тогда как четвертый, предпочитая также смерть жизненной агонии, омраченный помешательством, наглотался обломков стекла от разбитого окна в своей камере. («Воспоминания декабриста». Стр. 185, А. Беляева. Спб. 1882.

Много вычеркнуто цензором в рукописи Беляева, но вышеприведенные факты уцелели.)

В этой крепости до сих пор находится в одиночном заключении какой-то офицер, хотя надзиратели доносят, что он давно перестал отвечать на вопросы, а официальное исследование показало, что он впал в полное безумие. Он продолжает есть, пить и исполнять все отправления, к которым приучен многолетнею рутиной, но его блуждающие, точно стеклянные глаза прямо говорят, что последняя искра человеческого разума в нем угасла; и целые дни он сидит без движения на кровати в глубоком и бессмысленном оцепенении.

(Ни имя этого офицера, ни свойства его преступления неизвестны. Факт его существования обнаружился на процессе жандармов, исполнявших должность тюремщиков в Алексеевском равелине в 1882 г. и в этом же году осужденных на ссылку в Сибирь за допущение сношения политических преступников с их друзьями. По показанию этих жандармов, безумный офицер, известный только по номеру своего каземата, был посажен в крепость за несколько лет до того, как они его увидали, за нанесение какого-то оскорбления императору Александру II; как говорили, поводом к оскорблению послужила гибель сестры офицера. Насколько это верно, я утверждать не могу. Жандармы не без патетичных подробностей описывали постепенный упадок умственных способностей несчастного узника.)

Подавленный мрачными воспоминаниями крепостных драм, узник не может дольше ходить по камере; ему кажется, что его обутая нога осязает оттиск в полу, сделанный ногою его неизвестного предшественника, а это наводит его на мысль о страданиях, о которых он не смеет и подумать. Сидя на узкой постели, он долго прислушивается и старается поймать хоть какой-нибудь звук внешнего мира, какое-нибудь проявление человеческой деятельности, чтобы рассеять мучительный ночной кошмар своего погребения в подземном склепе, населенном видениями замученных самоубийц и сумасшедших. Колокола собора продолжают позванивать «Спаси, Господи!», но эти слабые звуки мрачной мольбы замирают как будто еще в большей, чем прежде, глубине безмолвия. Вдруг заключенный замечает, что из средних дверей каземата на него устремлены два человеческие неподвижные глаза. Испуганный, нервный, возбужденный, он думает в первый момент, что фантазия его расстроенного воображения принимает, наконец, осязательную форму, что духи политических самоубийц в этот молчаливый час ночи приносятся в темный каземат, где они однажды покинули свою истощенную тленную оболочку на полу, с проломленным черепом или изрезанным осколками стекла горлом. Но между тем как он не может оторваться от таинственного и холодного взгляда, глаза эти вдруг скрываются, и стук дверной форточки указывает, что мнимое видение было не что иное, как наблюдающий за ним из коридора сторож. Моментальное чувство успокоения заменяется еще большим угнетением при мысли, что хотя он и абсолютно один, но тем не менее находится под постоянным надзором и наблюдением. Притом глаза сверх'естественного посетителя могут еще выражать сострадание и сочувствие, а безличный, безвыразительный холодный взор неведомого сторожа, появляющийся по

временам без шума в отверстие «иуды», делает положение его еще более невыносимым: уж лучше быть совершенно одному, чем оставаться постоянно под этим бдительным, безжалостным и даже враждебным наблюдением, от которого нельзя укрыться.

А когда, наконец, возбуждение узника уляжется, и даст ему себя почувствовать пронизывающая сырость каземата, тогда, с дрожью, частью вследствие холода, частью вследствие нервной реакции, он скорчится на узкой кровати, натянув на плечи жиденькое байковое одеяло. Последний звук, доносящийся до его слуха в момент погружения в беспокойный сон—это все тот же звон соборных колоколов, наигрывающих в полночь мелодию: «Боже, царя храни».

День узника в Трубецком бастионе начинается подачей ему в 8 ч. утра горячей воды для чая. Кроме горячей воды правительство за свой счет ничего не дает, но если у арестанта есть собственные деньги на руках смотрителя, то последний доставляет ему чай, сахар, белый хлеб, табак и тому подобные предметы роскоши, не воспрещаемые тюремными правилами. Около 2 часов сторож ставит в дверное отверстие обед из супа, в котором плавает несколько кусочков мяса, каши из немолотого ячменя или овса, сваренного на воде, и ½ фунта черного хлеба. Суп, оставшийся от обеда, разогревается на ужин и вечером же дается еще горячая вода для чая. Пища приносится в жестяных кружках или оловянных чашках и с'едается деревянными ложками: ножи и вилки считаются опасными орудиями и ни под каким видом не должны попадать в руки заключенного. До 1879 г. пища политических преступников в Трубецком бастионе была удовлетворительна и обильна. Тридцать пять или сорок из пятидесяти и даже более ссыльных, которых я расспрашивал на этот счет в Сибири, говорили мне, что трудно было желать лучшей пищи за время их заточения в крепости от 1873 по 1878 г. Она была и качественно и количественно лучше пищи, которая давалась в других русских тюрьмах. Но с того времени, как террористы начали свою деятельность, в 1879 г., содержание политических преступников подверглось перемене к худшему, и в крепости эта перемена проявилась в уменьшенном количестве пищи и в более небрежном ее приготовлении. Наконец, после убийства Александра II заключенные политические преступники лишились всех привилегий, какими до того пользовались, были подвергнуты большей строгости и стеснениям и переведены на одну пищу со всеми остальными арестантами. Когда, в 1882 г., один знакомый мне студент-юрист Стасов был посажен в Трубецкой бастион, то он сначала никак не мог есть предлагаемую ему пищу, несмотря на то, что он перед этим просидел 4 месяца в губернской тюрьме. Сторож, заметив, что он оставляет свои обеды и ужины нетронутыми, сказал ему: «Что же, вы хотите уморить себя голодом?»

— А, положим, что и так, — возразил ему узник; — кому же до того дело?

— А мы вам не дадим, — отвечал сторож, — мы вас будем кормить насильно.

— Как насильно?

— Очень просто; вставим вам в горло трубку и будем вливать молоко.

— Да, друг любезный, — сказал Стасов, — зачем же трубку? Если вы мне дадите молока, я его выпью без всякой трубки. Сторож, молодой веселый солдат, засмеялся и удалился, посоветовав арестованному есть то, что стоит перед ним. Голод, наконец, принудил Стасова проглотить тюремную порцию, но до чего была эта пища плоха и недостаточна, доказывает то, что через три месяца он был доведен до сильного скорбута, а по истечении 4 месяцев найдено было необходимым перевести его в дом предварительного заключения, для спасения его от смерти. Он стал до того слаб, что не мог подняться с постели, изнуренное лицо его было бледно, глаза ввалились и из распухших десен сочилась кровь при всякой попытке пить. Он пробыл 8 месяцев в одиночном заключении без суда, и его крепкое здоровье дошло до такого жалкого состояния, что призванный для осмотра его крепостной врач сказал: «Надо вас высвободить из этой могилы, а то скоро будет слишком поздно».

Скучное однообразие жизни в Трубецком бастионе до некоторой степени облегчается выпуском на 10—15 минут на маленький внутренний дворик. Каждое утро или после полудня в положенный час сторож входит в камеру с платьем, которое имел узник на себе при аресте, и, бросив его на кровать говорит: «Пожалуйте на прогулку». По тюремным правилам узник при выходеи из своей клетки должен всякий раз надевать собственное платье за тем, чтобы во время его отсутствия его тюремная одежда могла быть старательно обыскана; его заставляют переодеться совершенно, переменить даже подштанники и чулки и при этом строго присматривают, чтобы он чего-нибудь не успел переложить из одной перемены платья в другую. Когда переодевание кончено, его выпускают на маленький дворик, где он прохаживается взад и вперед между двумя жандармами в продолжение 10 минут. Из этого своего манежа он видит немного более, чем из своей клетки; но летом и в хорошую погоду даже этот дворик может доставить великое наслаждение после сырого, темного и мертвенно-тихого каземата: над ним все же виднеется небо, и когда узник ходит взад и вперед, солнце тепло и ярко светит ему в лицо, а зеленые листья нескольких кустарников и приземистых деревьев ласкают его жадный взор; по временам до его слуха доносится свисток идущего по Неве парохода или слабые звуки из близлежащего зоологического сада, а до его ноздрей, при небольшом ветре — свежее и влажное благоухание леса. Если бы такая прогулка продолжалась 2—3 часа, то, конечно, она могла бы иметь самое благотворное влияние на здоровье и дух арестанта; но так как в бастионе иногда живет 60 или 70 политических преступников и правительство желает, чтобы они не могли ни видеть друг друга, ни обмениваться какими-нибудь знаками, то каждому позволяется гулять в дворике только очень недолго, большею частью, не более 10 минут. А во время этой прогулки камера арестанта подвергается тщательному обыску, чтобы удостовериться, не раздобылся ли он каким-нибудь способом старым ржавым гвоздем, не припрятал ли кусочка папиросной бумаги для тайной переписки, не скапливает ли спичек, чтобы со временем отравиться,—словом, нет ли чего такого, что бы помогло или скрасить жизнь узника, или поскорее развязаться с нею. По возвращении с прогулки в камеру, узник снова

надевает свое грубое тюремное и только что обысканное платье, и жандарм уносит снятую одежду для нового обыска. Этим заканчивается «рекреация» дня.

По единогласным отзывам 50 ссыльных, с которыми я беседовал в Сибири, скука, безмолвие и полное отсутствие занятий составляют самое тяжкое лишение в Трубецком бастионе. С физическими лишениями, плохой пищей, гнилым воздухом, сыростью и холодом, еще можно свыкнуться, но умственная и нравственная пытка вследствие полного одиночества и отсутствие всякого физического и умственного труда решительно невыносимы.

Дисциплина в крепости самая строгая. В 1881 г. в каждом коридоре Трубецкого бастиона караул состоял из 2 надзирателей, 5 солдат с винтовками и револьверами и 4 жандармов. Их обязанность заключалась в подаче пищи и воды в камеры, в топке печей зимой, в удалении по мере надобности ведер с нечистотами, в наблюдении за тем, чтобы ни в одной части бастиона не было шума, а также в постоянном, днем и ночью непосредственном наблюдении за узниками через дверную форточку. На ногах у них были мягкие войлочные туфли, для того, чтобы они могли подкрадываться вдоль коридора и заглядывать в камеру, не производя никакого шума; им позволено было только шопотом говорить между собою и с узником; при том с последним запрещено даже вовсе разговаривать, за исключением крайних случаев; им предписано немедленно доносить о всяком необычном или подозрительном поступке со стороны заключенного в той или другой камере их коридора. Наконец этим 3 классам караула, т.-е. надзирателям, солдатам и жандармам, поручалось наблюдать не только за арестантами, но и друг за другом; так что всякий солдат, например, который начал бы чувствовать привязанность или симпатию к узнику и пожелал бы помочь или защитить его, уже заранее знал, что за ним присматривают жандармы и что всякое его послабление или выражение сочувствия будет замечено и донесено. В русских тюрьмах всегда существует опасение, что политические преступники, по большей части люди образованные и с сильным характером, могут завязать дружеские отношения со стражей, особенно с солдатами, с тем, чтобы при их помощи вступить в тайную переписку с своими друзьями или в самой крепости, или вне ее. Это удавалось во всех тюрьмах империи и даже не раз в самой крепости. Чтобы предупредить это, правительство не только поставило солдатам и жандармам в обязанность наблюдать друг за другом, но даже распорядилось менять их так часто, чтобы узники не успевали завязывать с ними прочного знакомства. В 1881 г. в Трубецком бастионе солдаты сменялись в карауле каждый час и набирались тюремным начальством все из разных частей из числа 50—60 тысяч войска, собранного в Петербурге или его окрестностях. Жандармы тоже переменялись часто, то же делалось и с надзирателями, которые — их всего 24 — ежедневно переводились из одного этажа или коридора в другой без всякой правильности, чтобы арестант никогда не мог дважды видеть в течение 2 недель одного и того же надзирателя и никак не мог рассчитывать, что в известный час будет дежурным в его коридоре известное лицо. Раз в месяц арестантов водят по одиночке в баню, где они моются

в присутствии 2 жандармов, и по мере надобности в камеры присылается цирюльник для стрижки волос и ногтей. Арестантам не даются в руки острые инструменты ни на минуту, и если какой-нибудь арестантке разрешается шить в своем каземате, то всякий раз, как ей понадобятся ножницы, она должна призывать сторожа и тот режет сам по ее указаниям.

Скука и однообразие жизни в Трубецком бастионе для некоторых узников нарушается свиданиями с родными. Раз в месяц отец, мать, сестра, брат, жена или дети политического преступника могут получить от министра внутренних дел или шефа жандармов разрешение приехать в крепость в закрытой карете и под стражею, и поговорить 10 минут с узником. В комнате, где происходят свидания, установлены две сетчатые перегородки или решетки из железной проволоки, на расстоянии 5 — 6 футов одна от другой, с четыреугольным отверстием в каждой, на подобие окошечка кассира в банковских конторах и на высоте головы человека от полу. Посетитель стоит у одной решетки, а арестант — у другой с лицами, обращенными к оконцам, а тут же между решетками, за узким столом сидит жандармский офицер, чтобы следить за разговором. И посетитель и арестант заранее предупреждаются, что беседа должна строго ограничиваться личными и домашними материями, что она должна быть совершенно понятной для присутствующего офицера и в ней не должно употреблять имен личностей и касаться общественных дел. Для того, чтобы предупредить возможный обмен какими-нибудь тайными знаками, поставленный за узником жандарм следит за всяким движением и выражением лица посетителя, тогда как другой жандарм, стоящий за посетителем, наблюдает точно так же за узником; за малейшую попытку, с той или другой стороны, к нарушению этих запрещений свидание прекращается и арестант лишается на будущее время привилегий свиданий. Многие из заключенных принимают эту так называемую льготу прямо за издевательство и отказываются сами от свиданий с родными. Доктор Мельников, умный и образованный врач, встреченный мною в ссылке в Восточной Сибири в деревне около монгольской границы, говорил мне по этому поводу: «Свидания мои с женой были для меня источником не радости, а нового горя и отчаяния. То, что мне хотелось бы сказать ей, я говорить не мог, я не только не мог обнять ее, но не смел даже пожать ей руки, и было бы осквернением любви говорить о ней в присутствии наемных шпионов и тюремщиков, для которых это было бы пищей для насмешек и издевательств. Я мог только ответить на несколько формальных вопросов, смотреть с болью в сердце на бледное и омоченное слезами лицо жены, наконец проститься с ней и уйти в свою камеру. Целые дни и ночи потом меня преследовало это измученное лицо, и я еще больше страдал, чем прежде. Наконец я отказался вовсе от этих свиданий».

Единственная и действительно драгоценная привилегия арестованных в Трубецком бастионе — это разрешение пользоваться книгами и письменными принадлежностями. В бастионе есть хорошая библиотека, приблизительно из 1000 томов, составившаяся из книг, которые были присланы узникам или куплены ими в течение последних 20 лет, но которых им не позволено было взять с собой по окончании срока зато-

чения. Многим, а может быть большинству политических, ожидающих суда, разрешается брать книги из этой библиотеки. Письменный материал — перо, чернила и небольшая тетрадь из полдюжины листов серой бумаги выдаются также некоторым на несколько часов в день с условием, чтобы тетрадь возвращалась в целости, без всяких повреждений. Эти привилегии однако же допускаются не всегда и не всем. Николай Хорушин, один из прежних пропагандистов, просидевший 2½ года в Трубецком бастионе, первые 5 месяцев не видал ни одной печатной строки. Соломон Чудновский, известный публицист и член западносибирского императорского географического общества, в том же бастионе, весной 1878 г., был облечен в горячечную куртку за то, что настаивал на своем законном праве получить перо и бумагу для написания жалобы прокурору. Многие другие, без всякого об'яснения причин со стороны тюремной администрации, были лишаемы той или другой привилегии. Кажется, что по временам правительство имеет в виду отказом во всяких средствах для умственного упражнения сломить упорство политических преступников и даже довести их до сумасшествия. Доктор Мельников, о котором я упомянул выше, долго был лишен и книг и письменных принадлежностей, и когда тоска от отсутствия занятий стала невыносима, он начал припрятывать кусочки черного хлеба и лепить из него различные фигурки. Развлечение было самое безобидное, даже с точки зрения самой строгой дисциплины, и будь оно разрешено, оно дало бы возможность молодому врачу коротать длинные и скучные часы без мучительных помыслов о помешательстве. Но лишь только дежурные в коридоре жандармы узнали, чем он занимается, тотчас же отняли у него фигурки и хлеб и пригрозили, что если он снова придумает какую-нибудь подобную забаву, то будет наказан.

Могильная тишина каземата вскоре стала невыносимой доктору Мельникову при отсутствии занятий. Ноги его, одетые в мягкие войлочные туфли, не производили никакого звука, когда он ходил; он не смел стучать или барабанить пальцами и он так давно не слыхал собственного голоса, что по временам сомневался, сохранился ли еще он у него. Наконец, он забрался в самый дальний угол своей камеры и, прижавшись к нему, спиною к двери, начал тихо разговаривать сам с собою. Вскоре сторож заглянул в форточку и сказал, что разговаривать вслух с собою нельзя, а если он будет продолжать, то будет посажен в темный карцер. Смущенный молодой врач пробыл несколько дней молча, но он снова вернулся к мысли издавать какой-нибудь звук, чтобы убедиться в нормальном отправлении своих голосовых связок и попробовал искусственно икать. Это ему удалось. Дежурный сторож потребовал, чтобы он прекратил икоту, но узник об'явил, что икота происходит от спазматического сокращения грудобрюшной преграды и голосовых связок, независимо от его воли, и что лучше пускай сторож принесет ему лекарства против икоты от крепостного доктора. Солдат, послушавшись совета, отправился к фельдшеру бастиона, а между тем узник, с полною уверенностью в безнаказанности, продолжал икать радостно и так громко, что его слышно было во всем коридоре. Все старания тюремных властей вылечить доктора Мельникова оказались

безуспешны. Икота стала его хроническим недугом вплоть до окончания тюремного заточения, притом каждый день или через день она усиливалась до степени острого пароксизма, — и никакие лекарства не помогали... Когда Мельников рассказал мне этот эпизод своей тюремной жизни, я заметил, что по выходе на свободу, он, вероятно, тотчас же избавился от мучительного припадка. «О, нет, — отвечала со смехом его жена. — И теперь, когда ему делается скучно, он начинает искусственно икать в продолжение четверти или получаса, но он делает это бессознательно, так что икота обратилась у него как бы в действительную болезнь».

Главная цель строгой тюремной дисциплины в Трубецком бастионе есть предупреждение сношений между заключенными. Так как в этой части крепости все содержатся политические преступники, еще не судившиеся, то для правительства весьма важно, чтобы они не имели возможности тайно переговариваться друг с другом и вырабатывать сообща план защиты; не могли передавать друг другу после предварительных допросов обвинительные пункты и свои догадки и чтобы прежде арестованные не могли узнать от вновь арестованных, что произошло вне тюремного мира после их заточения. Правительство старается изолировать всякого политического преступника так, чтобы он считал себя единственным человеческим существом в этой части крепости и не пытался стуканием в стену или другим каким способом привлечь к себе сочувственное внимание. Такое отчуждение было бы не осуществимо, если позволить арестантам говорить громко со сторожами или самим с собою, так как узники, слыша подле голоса, скоро узнали бы тогда о близости своих сообщников; а если бы не преследовать всякий, даже малейший стук, то они скоро бы изобрели способ условно переговариваться постукиванием в стены своих камер. Если бы на ногах у них были не мягкие войлочные туфли, то всякий шаг по твердому полу мог бы послужить числом или буквой для составления шифра. В этих-то видах правительство и устраивает постоянный надзор за узниками и поддерживает в бастионе гробовое безмолвие. Но и тут результаты такой строгой системы наблюдения и запрещений на практике не всегда оправдывали теорию, и политические преступники изобрели три или четыре пути для сношений между собою вопреки всем официальным предосторожностям. Первый способ для переговоров у них составляет постукиванье. Тюремные власти попытались в 1876 г. расстроить этот потайной телеграф, покрыв стены в каждом каземате сетчатыми решетками, обитыми мягким, толстым войлоком. Выдумка эта создала только новую беду, не устранив той, против которой предназначалась: пространство между решеткой и стеной узники обратили в потаенную кладовую для хранения лоскутков папиросной бумаги, старых гвоздей, булавок, веревок, обгорелых спичек и тому подобных предметов, которые до этого было ужасно трудно скрыть от жандармов. Притом проволочные заслоны не прекратили и выстукиваний. Узники скоро догадались, что железные столики, вделанные в стену каждого каземата около головного края кровати, передают звуки так же хорошо, как и стена, и стоит только посвященному в этот секрет человеку приложить ухо

к такому столу — и он ясно услышит самый легкий стук по соответствующему столу в камере, лежащей выше или ниже. Это открытие сделало сношения между камерами обоих этажей еще более безопасными и удобными; для этого стоило только арестанту сесть на кровать и прижаться головой, охваченной руками, к столу, как бы в позе сильной скуки или отчаяния, и постукивать потихоньку концом пальца по железной доске под прикрытием своих плеч. Такая поза совершенно натуральна и не может вызвать подозрения в тюремщике; а когда нужно слушать ответ, то достаточно только чуть-чуть изменить позу, приложивши ухо к доске. Легкие удары по железу дают слабый звук, но слышный на другом конце камеры, и всякий удар вызывает легкую вибрацию в столе, которая передается соответствующему столу верхней или нижней камеры в виде тихого мягкого дрожания. Этот способ еще безопаснее обыкновенного, ибо, если бы тюремные власти и вздумали, как это они нередко делают, устроить ловушку для выстукивающих, внезапно выведя 3—4 арестантов из их камер и посадив на место их жандармов, то этим ничего не добились бы. Выстукивание продолжалось бы, но официальные подслушиватели и не подозревали бы этого, потому что им и в голову не придет приложить ухо к столу, без чего не слышно ни малейшего звука.

Крепостные власти имеют только два действительные средства предупредить сношения между узниками выстукиванием; это или держать пустыми все камеры, прилегающие к занятым политическими преступниками, или же посадить к каждому преступнику по жандарму или солдату. Но даже и при этом сношения не совсем прекращаются, если только заключенный не лишен права на ежедневную прогулку и на получение книг из библиотеки. Если он убеждается, не получая ответов на свои удары, что соседние камеры пусты, то он сберегает кусочки папиросной бумаги, протыкает в ней дырки или пунктирует ее концом обгорелой спички таким образом, чтобы группа дырок или точек по счету соответствовала известным буквам в общеупотребительном квадратном шифре, затем обволакивает этот бумажный лоскуток размоченным хлебом и хранит его до тех пор, пока не будет выпущен на прогулку. Как только он услышит, что жандармы идут за ним, он прячет эту хлебную пилюлю в рот, а проходя во дворик, он старается незаметно выбросить ее так, чтобы тот арестант, который после него будет выведен на прогулку, мог ее найти. Маленький буроватый шарик черного хлеба так мало отличается от цвета земли, что не может остановить на себе внимания стражи, тогда как он наверное будет замечен человеком, с страстным нетерпением поджидающим тайного известия о брате, жене или дорогом друге, который, по его предположению, томится тут же где-нибудь в сыром каземате. А если узник не может достать папиросной бумаги, тогда он выщипывает немного шерсти из чулков или несколько нитей из своей бумажной простыни и, завязав на них несколько узелков в таком порядке, чтобы группа их соответствовала цифрам в квадратном шифре, также выбрасывает в дворике. Первый арестант, заметивший хлебную пилюлю или нитку с узелками, старается поднять их, притворившись, что ему нужно завязать башмак или употребив какую-нибудь иную уловку; захватив добычу, он прячет

ее в рот, приносит таким образом в свою камеру и при первом удобном случае дешифрирует послание. Такие послания, конечно, немногословны, но тем не менее иногда полны значения и содержания. В ноябре 1880 г. сидел в крепости известный революционер Гольденберг; умственные его способности были отчасти не в порядке вследствие одиночного заключения. В припадке нравственного угнетения он уверил себя, что революционное движение не представляет никакой надежды на успех, что продолжение борьбы может привести только к худшим последствиям и бедствиям, и что для спасения молодежи от новых и бесплодных жертв самое лучшее — прямо и искренно открыть шефу жандармов все, что ему известно, и таким образом дать возможность правительству решительным ударом сокрушить всю революционную организацию. Этот план был плодом расстроенного мозга, но Гольденберг привел его в исполнение и передал правительству все сведения о намерениях и персонале организации, к которой принадлежал сам. Это предательство почти в конец расстроило революционную партию, приведя к немедленному аресту большого числа самых отважных и способных ее представителей. Сделав этот злополучный шаг, Гольденберг стал мучиться мыслью, что его товарищи в тюрьме неправильно истолкуют себе побудившие его к сознанию мотивы и, может быть, припишут его сознание низкой измене или трусости. Он находился еще в одиночном заключении в крепости и не имел возможности об'яснить или оправдать свой поступок, но его товарищи из подбрасываемых им в дворике шифрованных сообщений видели, что ему надо в чем-то об'ясниться. Один из значительных революционеров, сидевший тогда в крепости, а теперь сосланный в Восточную Сибирь, говорил мне: «Редкий день проходил, чтобы кто-нибудь из нас не поднял во дворе хлебную пилюлю или клочек папиросной бумаги с зашифрированными словами: «Я могу об'яснить — Гольденберг». Тяжко было видеть, как бедный товарищ силился об'ясниться с нами и как его грызла мысль, что мы будем считать его за предателя или труса». Гольденберг еще до конца этого года умер загадочно в тюрьме, и смерть его приписывалась самоубийству. Правительство воспользовалось его исповедью против Желябова на суде цареубийц в 1881 г., но отказалось сообщить о времени и обстоятельствах его смерти (см. стенографический отчет о суде над цареубийцами, стр. 7. Петербург, 1881).

По другому способу сношения, когда почему-нибудь перестукивание делалось невозможным, производились посредством библиотечных книг. Когда книга после прочтения возвращалась арестантом, то жандарм тщательно осматривал в ней всякую страницу прежде чем поставить ее на место в библиотеку, разыскивая, нет ли в ней каких закладок или заметок на полях. Несмотря на такую предосторожность, узники ухитрялись делать отметки в книге таким образом, что они оставались незамеченными жандармами, тогда как те товарищи, в чьи руки потом книга попадала, умели их отыскать. Они пером или спичкой делали слабое вдавливание на некоторых буквах печати. Эти надавливания были совсем незаметны, если держать лист книги под прямым углом к полю зрения, но они становились ясными, если держать страницу к свету под острым углом и смотреть близко и снизу. Вдавливание

на второй букве от начала строки означало цифру 2, а на 3 букве той же строки означало 3, цифра же 23 соответствовала в шифрованном квадрате букве «х». Таким образом послание могло расшифровываться даже в присутствии жандарма, и едва ли могло случиться из 100 случаев хоть один раз, чтобы эти слабые значки рисковали быть замечены официальными досмотрщиками, просматривавшими 300 или 400 страниц в 5 минут и часто относившимися к этой обязанности формально и небрежно.

Можно подумать, что человеческая изобретательность не может итти дальше этой выдумки в способах тайного обмена мыслей и ощущений с другими узниками, для сокращения однообразия тюремного заточения, но в крепости иногда бывали в ходу способы, еще более необыкновенные. «Однажды летом 1881 г., после обеда,—рассказывал мне доктор Мельников при описании своей тюремной жизни,—я лежал на кровати в своем каземате, придумывая, как бы убить остальную часть дня, как вдруг в дверную форточку из коридора влетела ко мне большая синебрюхая муха. Достаточно всякого пустяка в казематной скуке и одиночестве, чтобы привлечь к себе внимание, а случайное посещение мухи составляет важное событие в этой жизни. Я с наслаждением прислушивался к жужжанию мухи и следил глазами, как она летала вдоль и поперек камеры, как вдруг мне представилось что-то не натуральное в очертаниях ее тела. Мне показалось, что к ней что-то подвязано. Я поднялся с кровати, чтобы рассмотреть лучше, и скоро убедился, что к ней прикреплен кусочек бумаги. Я сумел бы ее поймать и скрыть бумажку, не привлекая внимания коридорного сторожа, но муха летала так высоко, что я не мог достать ее. Я подкарауливал ее 10—15 минут, придумывая, как схватить ее, и наконец, когда она спустилась ниже к полу, и пролетела мимо меня, мне удалось поймать ее в ладонь, не помявши крыльев. Тонким человеческим волоском был привязан к ее телу сложенный кусочек папиросной бумаги и на нем была написана обгорелым концом спички какая-то фамилия. Имя это мне было совсем незнакомое, но было ясно, что какой-то строго содержимый арестант надеялся этим путем дать знать своим друзьям в бастионе или что он арестован, или что жив еще, а потому я снова сложил бумажку, привязал ее и выпустил муху через дверную щель в коридор, сказавши: «С богом!».

— Слышали ли вы что-нибудь потом об участи мухи и разыскали ли того, кто ее отправил? — спросил я.

— Нет, — отвечал он. — Муха исчезла в коридоре, и попала ли бумажка в чьи-нибудь руки, кто знаком был с арестантом, я не знаю, но думаю, что едва ли, так как для этого было 1000 шансов против одного.

Если страницы эти попадутся тому политическому преступнику, который написал свое имя на лоскутке папиросной бумаги и если он жив и еще в Сибири, то пусть он узнает, что его маленький крылатый вестник не пропал бесследно, а доставил его имя другому узнику, хотя и незнакомому с ним, но который часто о нем думал с сочувствием и состраданием и вспоминает о нем, прозябая в сибирской ссылке.

Джордж Кеннан.

Цветок в тюрьме

(Отрывок из книги „Запечатленный труд")

На другой день меня, действительно, перевели в камеру в другом коридоре. Это была небольшая, но гораздо более уютная комната, выходящая, должно быть, на юго-запад. Несмотря на крепостную стену против окна, в него около полудня проникало несколько косых лучей никогда невидимого солнца. Стена отстояла от окна в некотором расстоянии, большем, чем в камере № 43, в которой я жила до тех пор. В новом помещении, чтобы обозреть окрестность, я взобралась на железный стол, прикованный к стене подле койки и увидала в небольшой выемке стены, на ее откосе, слабое деревцо. Неприхотливая бузина взросла тут на камне из крошечного зернышка, занесенного ветром. Она требовала немногого: разрушенная часть стены, обвалившейся в виде мусора, была достаточна для ее питания. С наступлением весны, каждый день около полудня, я влезала на стол, чтобы взглянуть на зеленеющую листву деревца, которое называла *своим*, потому что никто кроме меня не мог его видеть и не смотрел на него.

В Шлиссельбургской крепости, в том месте, где высокая стена старой цитадели смыкается в угол с наружной стеной крепости, на недоступной высоте нескольких саженей, каждое лето выростал и цвел одинокий куст круглолистного колокольчика. Его изящные лиловые венчики, в виде опрокинутых маленьких зубчатых вазочек, были прелестны среди голых серых плит известняка, заграждавших от нас весь живой мир. Слабые корешки колокольчика проникали в выветрившуюся горную породу; дождь, бросая свои капли, доставлял им влагу, а несколько лучей солнца, озаряя листья, обеспечивали существование. Для меня петропавловская бузина и шлиссельбургские колокольчики, ютившиеся на высоте, были своего рода картиной Ярошенко: «Всюду жизнь». Они как будто говорили: «Пускай кругом — холодный мертвый камень, но мы живем и будем жить, радуя тех, кто видит нас».

В. Фигнер.

Узница

Что мне она? — не жена, не любовница
И не родная мне дочь,
Так отчего ж ее доля проклятая
Ходит за мной день и ночь?
Словно зовет меня, в зле неповинного,
В суд отвечать за нее —
Словно страданьем ее заколдовано
Бедное сердце мое.
Вот и теперь, мне как будто мерещится
Жесткая койка тюрьмы,
Двери с засовами, окна под сводами,
Мертвая тишь полутьмы.

Из полутьмы этой смотрят два знойные
Глаза без мысли и слез,
Не шевелятся ни губы, ни смятые
Космы тяжелых волос,
Не шевелится ни локоть, ни тощие
Руки на тощей груди,
Слабо прижатые к сердцу без трепета
И без надежд впереди. —
Сколько же лет ей? Семнадцать неужели?
Правда ли, — мне говорят, —
Что эта девушка, в счастьи не жившая,
Что ей не верят и мстят, —
Мстят ей за бедность ее без смирения,
Мстят за свободу речей,
Мстят ей за страстный порыв нетерпенья,
Мстят за любовь без цепей.
Может ли быть? Мне как будто не верится.
Что так тяжел приговор
Света, в котором кишат лицемерные
Плуты — разратник иль вор.
Скоро ли ж будет бедняжка оправдана,
Снова любить и желать?
Или уж скоро ли в саване вынесут
Тело ее отпевать?
О, что нибудь! или жизни придавленной
Дайте вздохнуть и расцвесть,
Иль до суда поспешите добить ее,
Чтоб утолить вашу месть.

Я. Полонский.

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ

1905 г.

Предисловие к отделу третьему

На развалинах «Земли и Воли»— после воронежского с'езда в 1879 г.—возникла партия «Народной Воли», поставившая во главу своей деятельности борьбу с правительством путем террористических актов. Мысль о цареубийстве завладела всеми умами народовольцев. Гибель царя от руки революционера казалась им актом потрясающей важности, под влиянием которого власть совершенно потеряет голову и либо совершенно уйдет, либо пойдет на значительные уступки. Но убийство Александра II, не давшее никаких практических результатов, было в сущности идейным крахом народовольцев. Партия продолжала существовать, но ее идейное влияние на умы прекратилось.

Совершенно в другом положении находилась другая группа, возникшая на том же воронежском с'езде — так назыв. «чернопередельцы». Считая необходимым опереться на передовые массы и не видя других пригодных масс, кроме крестьянских, чернопередельцы, после нескольких бесплодных попыток завязать сношения с крестьянством, вынуждены были отказаться от активной работы. Вожди этой группы—в лице Плеханова, П. Аксельрода, В. Засулич, Л. Дейча и В. Игнатова перекочевали за границу и там, ознакомившись с рабочим движением на Западе, положили основание первой русской социал-демократической организации под именем группы «Освобождение Труда» (1883 г.). Но еще задолго до этого и Плеханов, и В. Засулич, и другие идейные члены «Народной Воли» пытались знакомить читателей «Вестника Н. Воли» с остальными мыслями Маркса, но безуспешно. Группа «Освобождение Труда» вынуждена была заняться самостоятельной издательской деятельностью. А вышедшие вскоре две работы Плеханова «Социализм и политич. борьба» (1883 г.) и «Наши разногласия» (1884 г.) выяснили теоретические воззрения этой группы. Деятельность группы «О. Т.» не была одинокой попыткой в этой области. Уже в начале 70-х годов, по инициативе интеллигентов и рабочих, возникло несколько рабочих организаций на юге и на севере («Южно-Русский рабочий союз», «Северный союз русских рабочих»), которые просуще-

ствовали недолго, но успели вовлечь в движение десятки сознательных рабочих, ставших впоследствии бродилом социал-демократической пропаганды. Начиная с этого времени революционное движение в России уже идет под флагом марксизма. Группа «О. Т.» была первым определенным шагом к формированию с.-д. партии в России. В то же время в экономической жизни России наблюдается ряд явлений, совершенно перестраивающих характер страны: крестьянство нищает, потоками вливается иностранный капитал, города неудержимо растут и вырастают, промышленность достигает невероятного оживления (1895—1900 г.г.), рабочий класс увеличивается с каждым днем, в столицах и на юге образуются крупные промышленные центры, рельсовые линии протягиваются по всем направлениям, банки и кредитн. учреждения растут, как грибы. Бешено развивающийся капитализм пробуждает к жизни рабочее движение. Налаживается связь с рабочими массами у с.-дем. партии. Возникают местные организации. Формируются новые группировки. Откалываются либералы-освобожденцы. Выделяются новые течения: рабочедельцы и «Рабочая Мысль». Революционно разгорается «Искра» (и «Заря»). Партийные силы собираются в боевой кулак. Ведется жестокий бой с социалистами-революционерами новой формации. Вскрываются внутриидейные разногласия. Город, накопивший первые запасы революционной энергии, оплодотворяет ею бунтующую деревню и в лице социал-демократической партии становится во главе первой русской революции.

В этой главе помещаются лишь наиболее яркие эпизоды периода первой революции. Сюда включены:

Н. Ленин, — «Революционный авантюризм» (две статьи из «Искры» о программе и тактике эс-эров).

«Бой за правду»—рассказ рабочего о стачке 1896 г.

А. Немоевский, —«Летучка» (рассказ).

Самобытник, — «9 января».

М. Горький, — «Ко дворцу».

Сверчков, — «9 января».

Л. Троцкий, — «9 января».

Старовер, — «Он прощает».

М. Горький, — «Буревестник».

Л. Троцкий, — «Декабрь в Москве».

Норов, — «Декабрьское восстание».

В. Ленин, — «Уроки Московского восстания».

Н. Клюев, — «Я надену черную рубаху».

И. Ионов, — «Цветы казненных».

По соображениям временного характера не включены в настоящее издание отрывки из Л. Толстого, В. Короленко, Л. Андреева и Достоевского.

Революционный авантюризм

Помещаемые ниже извлечения из 2-х статей Н. Ленина в № 23 „Искры“ от 1/VIII и № 24 от 1/X 1902 г. о программе и тактике партии с.-ров имели весьма важное значение для революционного движения рабочего класса, разоблачая с.-р., как партию мелкобуржуазного революционного авантюризма.

I.

Мы переживаем бурные времена, когда история России шагает вперед семимильными шагами, каждый год значит иногда более, чем десятилетие мирных периодов. Подводятся итоги полустолетия пореформенной эпохи, закладываются камни для социально-политических построек, которые будут долго-долго определять судьбы всей страны. Революционное движение продолжает расти с поразительной быстротой, и «наши направления» дозревают (и отцветают) необычайно быстро.

Направления, имеющие солидные основания в классовом строе такой быстро развивающейся капиталистической страны, как Россия, находят почти сразу «свою полочку» и нащупывают родственные им классы. Пример: эволюция г-на Струве, с которого революционеры-рабочие всего 1½ года тому назад предлагали «сорвать маску» марксиста и который уже теперь выступил без маски сам, как вождь (или прислужник) либеральных помещиков, гордых своей почвенностью и трезвенностью. Наоборот, направления, выражающие только традиционную неустойчивость воззрений промежуточных и неопределенных слоев интеллигенции, стараются заменить сближение с определенными классами тем более шумным выступлением, чем громче гремят события, «шумим, братец, шумим» — таков лозунг многих революционно-настроенных личностей, увлеченным вихрем событий и не имеющих ни теоретических, ни социальных устоев.

К таким «шумным» направлениям принадлежат и «социалисты-революционеры», физиономия которых вырисовывается все яснее и яснее. И пора уже пролетариату внимательно присмотреться к этой физиономии, отдать себе точный отчет в том, что представляют из себя в действительности люди, которые тем настойчивее ищут его дружбы, чем ощутительнее становится для них невозможность существовать, как особому направлению, без тесного сближения с действительно революционным общественным классом.

Троякого рода обстоятельства всего более посодействовали выяснению настоящей физиономии соц.-революционеров. Это, во-первых, раскол между революционной соц.-демократией и оппортунизмом, поднимающим голову под знаменем «критики марксизма». Это, во-вторых, убийство Балмашевым Сипягина и новый поворот к террору в настроении некоторых революционеров. Это, в-третьих, и, главным образом, новейшее движение в крестьянстве, заставившее людей, привыкших сидеть между 2 стульев и не имеющих никакой программы, выступить post factum хоть с чем-нибудь похожим на программу. Рассмотрим все эти три обстоятельства.

С принципиально теоретическим заявлением соц.-революционеры собрались выступить в № 2 «Вест. Русск. Рев.» в редакционной неподписанной статье: «Мировой рост и кризис социализма». Мы усердно рекомендуем эту статью всем тем, кто хочет иметь наглядное представление о полнейшей теоретической беспринципности и шаткости (а также об искусстве прикрывать таковую потоком слов). Все содержание этой высоко замечательной статьи может быть передано в двух словах.

Социализм вырос в мировую силу, социализм (марксизм) раскалывается теперь вследствие войны революционеров («ортодоксов») с оппортунистами («критиками»). Мы, соц.-революционеры, «конечно», не сочувствовали никогда оппортунизму, но мы скачем и играем по поводу «критики», освободившей нас от догмы, мы тоже боремся за пересмотр этой догмы,— и хотя мы еще ровно никакой (кроме буржуазно-оппортунистической) критики не показали, хотя мы ровно ничего еще не пересмотрели, но эта наша свобода от теории и должна быть вменена нам в нарочитую заслугу. Тем более должна быть вменена в заслугу, что в качестве свободных от теории людей мы яро стоим за всеобщее об'единение, мы горячо осуждаем всякие принципиально-теоретические споры.

Серьезно разбирать эту теорию уклонения (по случаю собственно споров) от социализма, разумеется, не приходится. По нашему мнению, кризис социализма обязывает сколько-нибудь серьезных социалистов именно к тому, чтобы обратить усиленное внимание на теорию,— решительнее занять строго определенную позицию, резче отмежеваться от шатких и ненадежных элементов. По мнению же соц.-революционеров, раз существует «даже у немцев» раскол да разброд, так нам, россиянам, и сам бог велел гордиться тем, что мы сами не знаем, куда бредем. По нашему мнению, отсутствие теории отнимает право существования у революционного направления и неизбежно осуждает его, рано или поздно, на политический крах. По мнению же соц.-революционеров, отсутствие теории — весьма хорошая вещь, особливо удобная «для об'единения». Как видите, нам и им не столковаться, ибо и говорим-то мы на разных языках. Одна надежда: не образумит ли их г. Струве, который тоже (только посерьезнее), говорит об устранении догмы и о том, что «наше» дело (как и дело всякой буржуазии, обращающейся к пролетариату) не раз'единить, а об'единить. Не увидят ли когда-нибудь соц.-рев., при помощи г. Струве, какое действительное значение имеет их позиция освобождения от социализма для об'единения, и об'единения по случаю освобождения от социализма?

Перейдем к второму пункту, к вопросу о терроре.

Защищая террор, непригодность которого так ясно доказана опытом русского революционного движения, соц.-рев. из кожи лезут, заявляя, что они признают лишь террор вместе с работой в массах, и что поэтому те доводы, которыми русские соц.-демократы опровергали (и на долгое время опровергли) целесообразность такого приема борьбы, к ним не относятся. Тут повторяется история, очень похожая на их отношения к «критике». Мы не оппортунисты,—кричат соц.-рев., и в то же время сдают в архив догму пролетарского социализма на основании одной только оппортунистической и никакой иной критики. Мы не повторяем ошибки террористов, мы не отвлекаем от работы в массах,—уверяют соц.-рев.; и в то же время усердно рекомендуют партии такие акты, как убийство Балмашевым Сипягина, хотя всякий прекрасно знает и видит, что ни в какой связи с массами этот акт не стоял и, по способу его совершения, не мог стоять, что ни на какое определенное выступление или поддержку толпы совершавшие этот акт лица и не рассчитывали, и не надеялись. Соц.- рев. наивно не замечают того, что их склонность к террору связана самой тесной причинной связью с тем фактом, что они с самого начала стали и продолжают стоять в стороне от рабочего движения, не стремясь даже сделаться партией ведущего свою классовую борьбу революционного класса. Усердная божба очень часто заставляет насторожиться и заподозрить правдивость того, кто нуждается в крепкой приправе. И мне часто вспоминаются слова: как божиться-то не лень?— когда я читаю уверение соц.-рев.: мы не отодвигаем террором работы в массах. Ведь это уверяют те самые люди, которые уже отодвинулись от соц.-демократического рабочего движения, действительно поднимающего массы, и которые продолжают отодвигаться от него, хватаясь за обрывки каких-угодно теорий.

Прекрасной иллюстрацией сказанного может служить прокламация 3 апреля 1902 г., изданная «партией соц.-рев.». «Постановка вопроса о террористической борьбе» в этой прокламации «целиком совпадает» и с «партийным воззрением», по ценному свидетельству «Рев. России» (№ 7).

Прокламация 3 апреля замечательно аккуратно копирует шаблон «новейшей» аргументации террористов. Вам прежде всего бросаются в глаза слова: «мы зовем к террору не вместо работы в массах, а именно для этой самой работы и одновременно с нею». Бросаются же они в глаза потому, что набраны шрифтом втрое более крупных размеров, чем остальной текст (прием, повторяемый, конечно, и «Рев. Россией»). Это ведь так просто, в самом деле! Напечатать жирным шрифтом «не вместо, а вместе»—все доводы соц.-демократов, весь урок истории сразу отпадает. А попробуйте-ка прочитать всю прокламацию, и вы увидите, что божба жирного шрифта всуе приемлет имя масс. То время, «когда выйдет из тьмы рабочий народ» и «мощной народной волной в куски разобьет железные ворота—увы! (буквально так: увы!) еще не так скоро наступит, и страшно подумать, сколько при этом будет жертв!». Разве эти слова: «увы, еще не скоро» не выражают собой полного непонимания массового движения и неверия в него? Разве не выдуман нарочно этот довод в насмешку над тем фактом, что рабочий

народ уже поднимается? И, наконец, если бы даже этот избитый довод был так же основателен, как он на самом деле вздорен, то из него вытекала бы особенно рельефно негодность террора, ибо *без* рабочего народа бессильны, заведомо бессильны всякие бомбы.

Но это еще цветочки. Ягодки впереди будут. «В кого бить?» спрашивает партия соц.-рев. и отвечает: в министров, а не в царя, ибо «царь не доведет дело до крайности» (откуда это они узнали...), да притом же «это и легче» (буквально так): «никакой министр не может засесть во дворце, как в крепости»... Что единственная «надежда» революции есть «толпа», что бороться с полицией может единственно революционная организация, руководящая (на деле, а не на словах) этой толпой, это—азбука. Это стыдно доказывать. И только люди, которые все позабыли и ровно ничему не научились, могли решить «наоборот», договорившись до баснословной вопиющей нелепости, что «спасти» самодержавие от толпы могут солдаты, от революционных организаций—полиция, а от отдельных личностей, охотящихся на министров, не спасет ничто.

Это баснословное рассуждение, которому, мы уверены, суждено сделаться знаменитым, вовсе не простой только курьез. Нет, оно поучительно тем, что смелым доведением до абсурда разоблачает основную ошибку террористов. Эта ошибка состоит, как мы уже много раз указывали, в непонимании основного недостатка нашего движения. Благодаря необычайно быстрому росту движения, руководители отстали от массы, революционные организации оказались недоросшими до революционной активности пролетариата, неспособными итти впереди и руководить массами. В такое время, когда революционерам недостает сил и средств для руководства поднимающейся уже массой, звать к такому террору, как устройство отдельными личностями и неизвестными друг другу кружками покушений против министров,—это значит тем самым не только обрывать работу в массах, но и вносить в нее прямую дезорганизацию. Мы, революционеры, «привыкли робко жаться в кучу,—читаем мы в прокламации 3 апреля,—и даже тот новый, смелый дух, который повеял в последние 3—4 года, создал пока более под'ем настроения толпы, чем личностей». В этих словах много нечаянно сказанной правды. И именно это правда наголову разбивает проповедников терроризма. Из этой правды всякий думающий социалист делает вывод: надо энергичнее, смелее и стройнее действовать кучей. А соц.-рев. умозаключает: «стреляй, неуловимая личность, ибо куча, увы, еще не скоро, да и солдаты против кучи есть». Совсем уж это неразумно, господа.

Не обходится прокламация и без теории эксцитативного террора. «Каждый поединок героя будит во всех нас дух борьбы и отваги», говорят нам. Но мы знаем из прошлого и видим в настоящем, что только новые формы массового движения или пробуждение к самостоятельной борьбе новых слоев массы действительно будят во всех дух борьбы и отваги. Поединки же именно постольку, поскольку они остаются поединками Балмашевых, непосредственно вызывают лишь скоропреходящую сенсацию, а посредственно ведут даже к апатии, к пассивному ожиданию следующего поединка.

Социал-демократия всегда будет предостерегать от авантюризма и бесжалостно разоблачать иллюзии, неизбежно оканчивающиеся полным разочарованием. Мы должны помнить, что революционная партия только тогда заслуживает своего имени, когда она на деле руководит движением революционного класса. Мы должны помнить, что всякое народное движение принимает бесконечно разнообразные формы, постоянно вырабатывая новые, отбрасывая старые, создавая видоизменения или новые комбинации старых и новых форм. И наш долг активно участвовать в этом процессе выработки приемов и средств борьбы. Нисколько не отрицая в принципе насилия и террора, мы требовали работы над подготовкой таких форм насилия, которые бы рассчитывали на непосредственное участие массы и обеспечивали бы это участие. Мы не закрываем глаз на трудность этой задачи, но мы твердо и упорно будем работать над ней, не смущаясь возражениями, что это—«неопределенно далекое будущее». Да, мы стоим и за будущее, а не за одни только прошлые формы движения. Мы предпочитаем долгую и трудную работу над тем, за чем есть будущее, «легкому» повторению того, что уже осуждено прошлым.

Кто действительно ведет свою революционную работу в связи с классовой борьбой пролетариата, тот прекрасно знает, видит и чувствует, какая масса непосредственных и прямых запросов пролетариата (и способных поддерживать его народных слоев) остается неудовлетворенной. Тот знает, что в массе мест, в целых громадных районах рабочий народ буквально рвется на борьбу, и его порывы пропадают даром за недостатком литературы, руководителей, за отсутствием сил и средств у революционных организаций. И мы оказываемся,—мы видим это, что мы оказываемся,—в том же проклятом порочном круге, который, как злой рок, тяготел так долго над русской революцией. С одной стороны, пропадает даром революционный порыв недостаточно просвещенной и неорганизованной толпы. С другой стороны, пропадают даром выстрелы «неуловимых личностей», теряющих веру в возможность итти в ряду и шеренге, работать рука об руку с массой.

II.

Отношение соц.-рев. к крестьянскому движению представляет особый интерес. Именно в аграрном вопросе всегда считали себя особенно сильными и представители старого русского социализма, и их либерально-народнические наследники, и те многочисленные в России сторонники оппортунистической критики, которые крикливо уверяют, что в этом пункте марксизм уже окончательно сбит с позиции «критикой». И наши соц.-рев. разносят марксизм, что называется, на все корки: «догматические предрассудки... изжитые, давно разбитые жизнью догматы... революционная интеллигенция закрыла глаза на деревню, революционная работа в крестьянстве запрещалась ортодоксией», и мн. т. п. Это нынче в моде лягать ортодоксию. Но к какому подвиду надо отнести тех из числа лягающих, которые до начала движения в крестьянстве не успели даже наметить своей собственной аграрной программы? Когда «Искра» еще в № 3 обрисовала свою аграрную про-

грамму, «Вестн. Р. Рев.» только и нашелся пробормотать: «при такой постановке вопроса значительно стушевывается еще одно из наших разногласий», при чем с редакцией «В. Р. Р.» случилось то маленькое несчастье, что именно постановки вопроса «Искрой» («внесение классовой борьбы в деревню») она абсолютно не поняла. Теперь «Рев. Россия» ссылается задним числом на брошюру «Очередной вопрос», хотя программы и там никакой нет, а есть лишь превознесение таких «знаменитых» оппортунистов, как Гертц.

И вот эти-то люди, которые до начала движения были согласны и с «Искрой» и с Гертцем,—на другой день после крестьянского восстания выступают с манифестом «от крестьянского союза партии соц.-рев.», при чем в этом манифесте вы не найдете ни одного звука, исходящего действительно от крестьянина, вы встретите только дословное повторение того, что вы сотни раз читали у народников, либералов и «критиков»... Говорят, что смелость города берет. Это так, господа с.-р., но о такой смелости свидетельствует грубо размалеванная реклама.

Мы видели, что главное «преимущество» с.-р. состоит в свободе от теории, главное искусство их—уменье говорить, чтобы ничего не сказать. Но, чтобы дать программу, надо как-никак высказаться. Надо, напр., выкинуть за борт «догмат русских с.-д. конца 80 и начала 90 г.г. о том, что нет революционной силы, кроме городского пролетариата». Какое это удобное словечко: «догмат». Достаточно извратить слегка враждебную теорию, прикрыть это извращение жупелом «догмата», и готово дело.

Весь современный социализм, начиная с Комм. Манифеста, покоится на той несомненной истине, что единственным действительно революционным классом капиталистического общества является пролетариат. Остальные классы могут быть и бывают революционны лишь отчасти и лишь при известных условиях. Спрашивается, что же надо думать о людях, которые «превратили» эту истину в догмат русских с.-д. определенной эпохи и пытаются уверить наивного читателя, будто этот догмат был «всецело основан на вере в отдельность открытой политической борьбы»?

Против учения Маркса о единственном действительно революционном классе современного общества с.-р. выдвигают троицу «интеллигенция, пролетариат и крестьянство», обнаруживая этим безнадежную путаницу понятий. Если вы противополагаете интеллигенцию пролетариату и крестьянству,—значит, вы понимаете под ней известный социальный слой, группу лиц, занимающих такую же определенную социальную позицию, как определенна социальная позиция наемных рабочих и крестьян. Но в качестве такого слоя русская интеллигенция является именно буржуазной и мелко-буржуазной интеллигенцией. По отношению к этому слою вполне прав г. Струве, называющий свой орган органом русской интеллигенции. Если же вы говорите о тех интеллигентах, которые еще не заняли никакой определенной социальной позиции или уже выбиты жизнью со своей нормальной позиции и переходят на сторону пролетариата,—то тогда совершенно нелепо противопоставлять эту интеллигенцию пролетариату. Как и всякий дру-

гой класс современного общества, пролетариат не только вырабатывает свою собственную интеллигенцию, но и берет себе также сторонников из числа всех и всяких образованных людей. Поход с.-р. против основного «догмата» марксизма лишний раз доказывает только, что всю силу этой партии представляет та кучка русских интеллигентов, которые от старого отстали, а к новому не пристали.

Что касается до крестьянства, то о нем суждения с.-р. еще более сбивчивы. Они не понимают принадлежности современного крестьянства, как целого, к «мелко-буржуазным слоям». Не попробуете ли вы нам дать ответ по этому пункту, г.г. с.-р.? Не скажете ли вы нам, почему это, повторяя обрывки теории русского марксизма (напр., о прогрессивном значении крестьянского отхода и бродяжничества), вы закрываете глаза на то, что тот же марксизм доказал мелко-буржуазный уклад русского крестьянского хозяйства? Не раз'ясните ли вы нам, как это могут «собственники или полусобственники» в современном обществе относиться к мелко-буржуазным слоям?

Нет, не надейтесь. С.-р. не ответят, не скажут и не раз'яснят ничего по существу, ибо они твердо усвоили тактику сказываться по части теории в нетях.

Соц.-рев. соблюли себя в чистоте от тлетворного влияния современных социалистических учений. Они сохранили целиком добрые старые приемы вульгарного социализма. Пред нами—новый исторический факт, новое движение в известном слое народа. Они не исследуют положения этого слоя, не задаются целью об'яснить его движение характером этого слоя и отношения его к развивающемуся экономическому строю целого общества. О чем говорят сами представители подымающегося слоя? О земле, прирезке, переделе. Ну, вот вам и все. Вот вам «полусоциалистическая программа», «совершенно правильный принцип», «светлая идея», «идеал, который в зародышевой форме уже живет в голове крестьянина» и т. д. Надо только «очистить и разработать этот идеал», вывести «чистую идею социализма». Вы не верите, читатель? Вам кажется невероятным, чтобы эта народническая ветошь снова вытаскивалась на свет божий людьми, которые так бойко повторяют, что им книга последняя скажет? А между тем это факт, и все процитированные нами словечки взяты из заявления «от крестьянского союза».

Но современное крестьянское движение вовсе не является социалистическим, направленным против буржуазии и капитализма движением. Наоборот, оно об'единяет буржуазные и пролетарские элементы крестьянства, которые действительно едины в борьбе с остатками крепостничества. Современное крестьянское движение ведет, и приведет,— к установлению не социалистического и не полусоциалистического, а буржуазного сельского уклада, очистив созревшие уже буржуазные устои нашей деревни от крепостнических пут.

Программа самих с.-р. (уравнительное пользование землей, перешедшей в собственность общества) не выходит еще из рамок буржуазной программы, ибо сохранение товарного производства и допущение частного хозяйства, хотя бы и на общей земле, нисколько не устраняет капиталистических отношений в земледелии.

«Надо быть слепым, чтобы не видеть, насколько легче перейти к идее социализации земли от традиции общинного управления землей». Не наоборот ли? Не являются ли безнадежно слепыми и глухими те, кто до сих пор не знает, что именно средневековая замкнутость полукрепостной общины, раздробляющей крестьянство на крохотные союзы и связывающей по рукам и ногам сельский пролетариат, поддерживает традиции косности, забитости и одичалости? Не побиваете ли вы сами себя, признавая пользу отхода, который уже на три четверти разрушил пресловутую уравнительность общинных традиций и свел эти традиции к одной полицейской склоке?

Программа-минимум соц.-рев., будучи основана на вышеразобранной теории, является настоящим курьезом. Два пункта в этой «программе»: 1) «социализация земли, т.-е. переход ее в собственность всего общества и в пользование трудящихся»; 2) «развитие в крестьянстве всевозможных видов общественных соединений и экономических кооперации для «чисто»-политической борьбы»... для постепенного высвобождения крестьянства из-под власти денежного капитала... (под власть промышленного?)... и для подготовления грядущего коллективного земледельческого производства». Как солнце в малой капле вод, отражается в этих двух пунктах весь дух современного «социал-революционаризма». В теории—революционная фраза вместо продуманной и целой системы воззрений, на практике—беспомощное подхватывание того или иного модного средствица вместо участия в классовой борьбе,—вот все, что у них есть. Поставить рядом в программе-минимум социализацию земли и кооперацию, для этого необходимо было, признаемся, редкое гражданское мужество. Наша программа-минимум, с одной стороны,—Бабеф, с другой—г. Левицкий. Это неподражаемо!

Если бы можно было серьезно отнестись к этой программе, то нам бы пришлось сказать, что, обманывая себя звуком слов, соц.-рев. обманывают и крестьянина. Это обман, будто «всевозможные кооперации» играют революционную роль в современном обществе и подготовляют коллективизм, а не укрепление сельской буржуазии. Это—обман, будто, как « минимум», как нечто столь же близкое, как кооперации, можно ставить в виду «крестьянства» — социализацию земли. Всякий социалист пояснил бы нашим соц.-рев., что уничтожение частной собственности на землю может быть теперь лишь непосредственным преддверием уничтожения ее вообще, что одна передача земли в «пользование трудящихся» еще не удовлетворила бы пролетариат, ибо миллионы и десятки миллионов разоренного крестьянства не в состоянии уже вести хозяйства на земле, даже, если бы она у них была. А снабжение этих разоренных миллионов орудиями, скотом и пр. было бы уже социализацией всех средств производства и требовало бы социалистической революции пролетариата, а не крестьянского движения против остатков крепостничества. Соц.-рев. смешивают социализацию земли с ее буржуазной национализацией. Эта последняя мыслима, говоря абстрактно, и на базисе капитализма, без уничтожения наемного труда.

Пусть послужит аграрная программа соц.-рев. уроком и предостережением для всех социалистов, наглядным примером того, к чему приводят безыдейность и беспринципность, называемые некоторыми легко-

мысленными людьми свободой от догмы. Как только дошло до дела, у соц.-рев. не оказалось налицо ни одного из трех условий, необходимых для выставления последовательной социалистической программы: ни ясной идеи о конечной цели, ни правильного понимания того пути, который ведет к этой цели, ни точного представления о действительном положении дел в данный момент и о ближайших задачах этого момента. Конечную цель социализма они только затемнили, смешав социализацию земли с ее буржуазной национализацией, спутав примитивную крестьянскую идею о мелком уравнительном землепользовании с учением современного социализма о переходе всех средств производства в общественную собственность и об организации социалистического производства. Их представление о пути, ведущем к социализму, бесподобно характеризуется заменой классовой борьбы развитием кооперации. В оценке данного момента аграрной эволюции России они забыли мелочь: остатки крепостничества, давящие нашу деревню. Знаменитая троица, выражавшая их теоретические взгляды,—интеллигенция, пролетариат и крестьянство,—дополнилась не менее знаменитой «программной» троицей: социализация земли,—кооперация,—прикрепление к наделу.

Сравните с этим программу «Искры», которая указывает единую, конечную цель всему борющемуся пролетариату, не сводя ее до «минимума», не принижая ее ради приспособления к идеям некоторых неразвитых слоев пролетариата или мелких производителей. Путь для достижения этой цели один и в городе, и в деревне—классовая борьба пролетариата против буржуазии. Но, кроме этой классовой борьбы, продолжает еще вестись в нашей деревне и другая: борьба всего крестьянства против остатков крепостничества. И в этой борьбе партия пролетариата обещает свою поддержку всему крестьянству, стараясь указать настоящую цель его революционному порыву, направить его восстание против его настоящего врага, считая нечестным и недостойным относиться к мужику, как к подопечному, скрывать от него, что он может добиться в настоящее время и немедленно только полной отменой всех следов и остатков крепостничества, только очищением пути для более широкой и более трудной борьбы всего пролетариата против всего буржуазного общества.

Н. Ленин.

„Бой за правду“

Рассказ рабочего о стачке 1896 г.

(Из книги К. М. Тахтарева „Очерк Петербургского рабочего движения 90-х годов“)

Один из участников Максвелльской стачки в 1897 г. дает описание расправы правительства с рабочими, последовавшей вслед за стачкой. Это описание дышит непосредственной жизненной правдой, и, между прочим, оно дает некоторое представление об уровне политических понятий среднего фабричного рабочего того времени. Приводим его целиком:

«Фабричный народ пред'являл фабричной министрации, что расценок мал на пуд или на кусок материи.

Фабричная министрация не приняла рабочих слов и делала по своему. Тогда фабричный народ задумал сделать стачку.

В это время появились печатные листки. Фабричный народ читал листки 13 декабря в 12 часов ночи, а 14 декабря была устроена стачка.

В это время приезжал инспектор и требовал с рабочих жалобы. А фабричная министрация в это время в главной конторе сняла рабочих фотографической машиной.

На 15 декабря рабочие увидели гибель братий. Тогда рабочие пред'явили писарю, который служил в доме фабриканта, чтобы не пускать полицию по ночам, на то день даден, чтобы ходить забирать: писарь не обратил на слова рабочих внимания.

Полиция каждую ночь убавляла рабочих. Тогда рабочие захотели открыть кровавый бой. На 17 декабря в коридоре была полная партия русского народа, некоторые народы играли в карты и у каждого человека было полено в руках или больше. В 11½ часов ночи залаяла собака, которая была у двери входа. В это время рабочие были готовы приняться за бой, вдруг на пороге входа появилась полиция. Рабочие бросились на полицию и полиция была разбита. Тогда сам пристав потребовал еще больше войска, конного.

Пристава приказ был исполнен, и приблизилось войска 310 человек, конных городовых и жандармов.

В это время некоторые рабочие видали, что каждому городовому и жандарму было принесено водки для разгара сердца; откуда водку представляли, это известно.

В это время открылся бой настоящий. Рабочие бросали в полицию ведрами, бочками, чашками, дровами и даже фабрикантовыми часами.

В эту несчастную войну, я знаю, много малых детей пострадало, потому что война была полных 4 часа, а в это время был очень большой шум и крик, потому что у русского народа не было командира, а также городовые были все пьяные. От такого шуму и крику малютки-дети испугались и кричали дурным голосом.

Каких-нибудь минут 15,—тогда бы полиция сдалась в плен рабочим.

В это время рабочие видят, что нечем бросаться, а неприятель уже в 4-м этаже. Пришел неприятель уже в 5-й этаж.

Когда полиция вошла в 5-й этаж, в 5-м этаже была большая масса народа; в это время один городовой ударил женщину опасную и женщина через два дня выбросила малого мертвого ребенка, а полицей-местер кричал: «я вас вышлю в Сибирь, а детей на отбросную яму выброшу»; а пристав кричал: «все по местам». Рабочие видят, дело неустойка и побежали—кто куда, кто в квартиру убежал, а несколько человек ушли на чердак, а один человек ушел на крышу дома.

Пристав дал полиции приказ, чтобы у каждой квартиры было 15 человек городовых. Приказ пристава был исполнен, некоторые городовые вытащили шашки наголо и рубили шашками лари, в ларях находились рабочего разные припасы: водка, мясо, сыр и т. п. Городовые водку пили, а мясом закусывали.

В 4½ часа пошла кровавая переборка русскому народу. Пристав ходил по квартирам с писарем; еще было с приставом несколько сыщиков.

Когда выводили арестованного человека на волю, то на воле стояло два ряда городовых, по обеим сторонам по двадцать городовых; это происшествие называется «сквозь строем». Городовые пихали рабочего сквозь строй и рабочего секли плетьми, после чего рабочий видал на своем теле раны, хоть и не очень большие.

Пристав обходил все квартиры, а на чердаке еще не был. Идет пристав на чердак и видит там людей, эти люди были взяты в плен, также и с крыши дома был человек стащен и взят в плен.

Теперь пристав собрал вольных дворников в свидетели. Дворники с радостью шли в свидетели, а сами дела не видели.

Теперь русского народа взято в плен 50 человек с лишком. Забранные люди были замечены сыщиком или писарем, а больше всего простым русским человеком, т.-е. русский человек не замечал ни в чем, а выдавал по осердке или чтобы защитить сам себя.

Кровавая битва кончилась в 12 часов пополудни. 17 числа, в 9 часов утра, были пленники посажены на дилижаны и отправлены в Рождественскую часть.

Прибавлю, что я вам не все пред'явил притеснения министрации и также фабричных подмастерьев. Фабричная министрация очень притесняет рабочих совсем не за что; так что за какие-нибудь безделушки дают рабочему расчет, не отработавши двух недель; еще фабричная министрация дала волю подмастерьям, а подмастерье, что хочет, то и делает. Однажды одного человека, т.-е. рабочего, мастер уволил и дал пропуск за ворота, а подмастерье Лисицын увидал и взял от рабочего пропуск и разорвал, а рабочего послал работать на старое место. Мастер Карла Карлович своего лакея поставил в подмастерья; а лакей не знает, как держать ключ в руках, всячески занимает две должности: лакея и подмастерья. (Подпись.)

К. Тахтарев.

Летучка

Рассказ

Свечка, Гужим и Свободный получили от партии распоряжение взорвать динамитом железнодорожный мостик на четвертой версте. Они вышли в сумерки и пробирались полями, потому что по дороге раз'езжали казаки и всех останавливали. Свободный, старый каменолом хорошо умел обращаться с динамитом; Свечку и Гужима ему дали лишь в помощники.

Вечер был сырой; в низинах стал подыматься туман, и в этот седой туман погружались перелески, деревни и телеграфные столбы. Они шли так, чтобы не терять из виду железнодорожной насыпи и иметь возможность высмотреть, так ли хорошо ее охраняют, как об этом доносили партии. Вскоре пришлось убедиться, что сведения партии правильны. По тропинке с левой стороны трусцою ехало пять казаков.

Рабочие притаились в заросли и переждали, пока патруль совершенно скрылся во мраке. Он направился в сторону, противоположную той, куда шли они. Так как поросли в этом месте подходили к самой насыпи, то они могли итти очень близко, не упуская из виду телеграфной проволоки. Вскоре они наткнулись на два сваленных столба. Внимательно осмотрелись кругом, чтобы запомнить место. Потом отправились дальше. Сечка вскарабкался на насыпь и стал искать верстового камня. Наконец нашел. Теперь уж близко.

Необходимость взорвать мост явилась вследствие того, что среди железнодорожников начинало брать верх контр-революционное течение; уже не раз усиленно пытались сорвать продолжительную забастовку. На помощь призывали полицию, войска; поезда отправлялись со специальной охраной, вооруженной револьверамс. Но все это мало, потому что толпа собиралась на рельсах и кричала машинисту: «Валяй через нас!» Машинист свистал, замедлял ход и, наконец, должен был останавливать поезд. Тогда забастовщики врывались в вагоны, и горе изменнику, если он не успевал спрятаться среди пассажиров. Паровоз отцепляли и, бросив вагоны среди поля, отправляли его лишь до ближайшего раз'езда, откуда он должен был вернуться в свое «стойло». За последние дни борьба с контр-революционерами достигла высшей степени напряжения. Минутами кровопролитие казалось неизбежным. Предательство прикрашивали фразами об общественном благе, разглагольствованиями о «трех друг за другом следовавших восстаниях», и белому орлу вменяли в обязанность взмахами невинных его крыльев загонять в мастерские бастующих железнодорожных рабочих. И каждому уже поперек горла стали и эти «друг за другом следовавшие восстания» и этот «белый орел», из которого контр-революция сделала символ лояльности. Слово «Польша» не сходило с уст этих Искариотов и также всем стало поперек горла. Если «народовцы» хотели привить рабочим массам любовь к старине, то в действительности они добивались обратного, ибо пробудили у рабочих отвращение к этой старине. Патриотизм, народность, восстания, Косцюшко, Килинский, легионы—все это было лишь фоном, на котором изображалась одна только мысль: «Всякое движение преступно!» В то время, как известия о событиях, разыгрывающихся в Петербурге, Ревеле, Севастополе, Харькове, воспламеняли лучшие чувства в рабочих и закрывалась мало-по-малу историческая рана ненависти к русскому народу,—контр-революция вновь вскрывала эту рану и растравляла ее крикливыми возгласами: «Москаль предаст вас. Москаль устраивает провокацию, чтоб потом получше прибрать вас к рукам!» А в то же время приходили вести о том, как эта контр-революция пресмыкалась в Москве перед земцами, как отрекалась она от законодательного собрания, удовлетворяясь «законосовещательным», как в своих органах выступала против всеобщего права голоса, подавляла все забастовки правительственной школы. Если же в какой-либо области достигался успех, она засыпала страну целой тучей сообщений о «новых приобретениях» и продолжала давать директивы, которых никто не слушался и которые распаляли партийную рознь. Когда забастовка развивалась, она приписывала это себе; когда же решали ее прекратить, она оповещала, что это делается по поста-

новлению «народового комитета». И в данном случае она действовала так же. И она старалась преодолеть нечеловеческие усилия железнодорожного союза. И Гужим, вспоминая все это, скрежетал зубами. Несомненно, он давно уложил бы не одного такого предателя, если бы не строгая партийная дисциплина.

Теперь партия решила поддержать железнодорожный союз и выделила из боевой организации трех ее членов. Взрыв моста являлся делом нелегким, так как требовал хладнокровия и предусмотрительности; кроме того, приходилось пробираться среди частых патрулей.

Время близилось к полуночи. Пропустив несколько проезжих патрулей, от которых приходилось укрываться в канавах и кустах, они, наконец, добрались до места. Гужим прокрался вперед еще шагов на 200. Сечка на столько же подался назад, чтобы не попасться врасплох, а Свободный направился под мост, чтобы выполнить там свое дело. Надо было заложить динамит либо под железную балку, либо в свод каменного устоя. Он уже почти покончил с этим и даже приправил фитиль, как вдруг полотно дороги начало дрожать сначало тихо, а потом все сильнее. Свободный высунул голову и крикнул: «что там?» Вдоль полотна бежал во весь дух Сечка и давал какие-то знаки. «Возвращаются казаки!»—крикнул он наконец. Свободный хладнокровно вытащил спички, потер, вспыхнул огонек, фитиль загорелся и шипя стал быстро окорачиваться. Между тем показался Гужим, который бежал с другой стороны и кричал: «Постой, постой, ради самого Бога!» Свободный внимательно посмотрел на него и, очевидно, поняв, в чем дело, перерезал ножом фитиль, бросил горящий конец в воду, а сам быстро скрылся под мост. Гужим и Сечка, согнувшись, сбежали в заросли и, раздвинув ветви, стали смотреть, что будет.

Издали доносился хорошо знакомый им свист, протяжный, неумолкающий. Из ночной мглы вынырнули вдруг два глаза паровоза, а третий фонарь был как-то странно укреплен на хребте машины, освещая трубу и еще какой-то предмет. Товарищи не могли понять, что означает этот одиноко мчащийся паровоз с фонарем наверху, этот неумолкающий свист. Лишь когда он был на расстоянии всего нескольких сот шагов, они разобрали, что над ним развевается красное знамя. Его освещал рефлектор фонаря, прикрепленного позади трубы. Знамя было прикреплено к ее верху. Сечка сразу сообразил, что, вероятно, вследствие перерыва сообщения, партия послала свои распоряжения с паровозом. И он свистнул 2 раза Свободному—сигнал осторожности; тот ему ответил тем же.

Между тем с другой стороны во весь опор мчались казаки. Они соскочили с лошадей, и один взял в руки все поводья, а остальные выстроились вдоль полотна и приготовили винтовки. Железный гигант с развевающейся революционной эмблемой, свистя, изрыгая клубы пара и дыма, стремительно приближался, словно какое-то чудовище революции, словно вестник пожара, охватившего пол-Европы и пол-Азии. Угроза, мощь и величие гудели там вверху на рельсах все ближе и ближе, а свисток звучал все громче и пронзительнее. Он, казалось, взывал: «берегись!». Вот уж это чудовище революции достигает мостика,

вот промчалось по нем. Три человека стоят у рычагов. Казаки прицелились, выстрелили. Одно тело со вскинутыми кверху руками свалилось на полотно. Паровоз промчался, как молния, свист его становился все тише и отдаленнее. Все произошло так быстро, что Гужим не успел даже шепнуть: «Господи!» Казаки стали стегать труп нагайками. Потом обыскали его, зажгли фонарь и направились к мостику. Сечка тронул товарища за рукав. Они взглянули друг другу в глаза, и оба побледнели. Казаки, повесив фонарь на барьере моста, пересматривали бумаги убитого. Гужим затаил дыхание, а Свечка перекрестился.

Через мгновенье грянул оглушительный взрыв. Сотрясенье воздуха было так сильно, что оба они повалились на землю. Затем послышался лишь топот разбегавшихся лошадей и распространился запах динамита. Переждали еще несколько времени. Оттуда доносились стоны. — «Оставайся здесь, — прошептал Гужим, а я посмотрю». Раздвигая втеви, он потихоньку направился к мосту, и вскоре Сечка потерял его из виду. Стоны затихли, наступила гробовая тишина. Сечка весь оцепенел от холода и волнения. Он закрыл лицо руками и щелкал зубами. Вдруг почувствовал прикосновение руки и услышал: «Идем». Он поднялся. Гужим был смертельно бледен. Не говоря ни слова, Сечка поплелся за ним.

Они возвращались одни.

А. Немоевский.

Девятое января

1.

Неволи царской боль остра...
Кто дерзко станет на порог?
Кто прозвенит в мятежный рог:
Пора, пора, пора...

О, день суровых первых проб,
Призывный праздник Января,
Отцовской веры верный гроб,
Грядущего заря!

Довольно в сумерках гореть!
Пора свободу дать сердцам,
Разрушить гнет иль умереть,
В последний раз—к дворцам!

О, дайте, дайте нам вздохнуть,
Открыть на волю дайте дверь!
И грянул залп... Железом в грудь
Ответил лютый зверь...

Но в окровавленном снегу
Услышит ветер наш зарок,
Он прозвенит в железный рог,
В ответный рог—врагу.

2.

Из темных корпусов завода
Выходят толпы там и тут...
Сегодня в первый раз свобода
Зажгла огнем мятежный труд.

А ветер в воздухе полощет
Хоругви сумрачной крыло.
Сегодня выйдет царь на площадь,
И будет солнечно, светло.

В грядущих звуках колокольных
Душа куда-то рвется в даль...
И он прочтет из рук мозольных
Железной повести печаль...

Зачем же скорбною разлукой
Мне сердце юное гнетет?
Подаст ли нам свою он руку
И защитит ли от господ?..

А если в ледяной пустыне
Порыв живой погибнет зря...
Тогда мы скажем, что отныне,
Отныне нет у нас царя!

3.

Свершилось! Круг волшебный начат.
Взметнулось пламя гордых душ.
Зачем же ветер скорбно плачет,
И белый снег угрюмо прячет
Следы кровавых, темных луж?..

Глухой дворец смеется скупо:
Вот, мол, вам царская любовь...
Кругом неубранные трупы,
Да взвод солдат нетрезвых глупо
Свои винтовки целит вновь...

Мираж рассеялся лукавый,
Угасло пламя первых встреч,
Он был не царь—палач кровавый,
Так пусть гремит грозою правой
Над ним карающий наш меч!

4.

Вставай, подымайся, рабочий народ.
В суровой борьбе—поворот...

Дохнул из предместий, сквозь копоть и гарь,
Грозой обожженный Январь.

«Вставай, подымайся», — в подполье глухом
Гремит искупительный гром!

И гневных сердец окрыленную ширь
Не сломит тюрьма и Сибирь...

«Вставай, подымайся», — предместья поют,
Стальные гиганты встают.

И выстрелам царским ответит набат
Мятежным огнем баррикад...

5.

За нашу кровь придет расплата—
Душа солдата не мертва,
В грозе весеннего раската
Созреют вольные слова.

В казарме сумрачной, острожной
Он страх свой ложный проклянет,
И наша кровь в душе тревожной
Священным гневом расцветет.

В неумолимом приговоре,
В железном споре—дрогнет враг.
Как буревестник, в Черном море
Взовьется вольный красный флаг.

И пролетарской власти дверца,
Как лев, поднимается Кронштадт,
Свеаборг—пламенное сердце—
Забьется с нашим сердцем в лад.

И грянет колокольной песней
Старушка—древняя Москва.
Над окровавленною Пресней
Сплетется красная молва.

И ни сомненьем, ни изменой
Не осквернится наша кровь,
В тревожных выстрелах над Леной
Она грозой воспрянет вновь.

И в годы горя жизни бледной
Она скует железный щит
И, словно колокол победный,
В Октябрьский праздник зазвучит.

А. Маширов (Самобытник).

Ко дворцу

(Из очерка „9 января“)

... Толпа напоминала осенний, темный вал океана, едва разбуженный первым порывом бури; она текла вперед медленно; серые лица людей были подобны мутно-пенному гребню волны.

Глаза блестели возбужденно, но люди смотрели друг на друга, точно не веря своему решению, удивляясь сами себе. Слова кружились над толпой, как маленькие, серые птицы.

Говорили не громко, серьезно, как бы оправдываясь друг перед другом.

— Нет больше возможности терпеть, вот почему пошли...

— Без причины народ не тронется...

— Разве «он» [1]) это не поймет?..

Больше всего говорили о «нем», убеждали друг друга, что «он»— добрый, сердечный и—поймет, все поймет... Но в словах, которыми рисовали его образ, не было красок. Чувствовалось, что о «нем» никогда не думали серьезно, не представляли его себе живым, реальным лицом, и даже плохо понимали—зачем «он» и что может сделать? Но сегодня «он» был нужен, все торопились понять его и, не зная того, который существовал в действительности, невольно создавали в воображении своем нечто огромное. Велики были надежды и требовали великого для опоры своей.

Порою в толпе раздавался дерзкий человеческий голос:

— Товарищи! Не обманывайте сами себя...

Но самообман был необходим, и голос человека заглушался пугливыми и раздраженными всплесками криков толпы.

— Мы желаем открыто...

— Ты, брат, молчи!

— К тому же отец Гапон...

— Он знает, как надо...

Лица у толпы еще не было, было только неясное очертание чего-то широкого, расплывчатого, мягкого. Взволнованное, оно нерешительно плескалось в канале узкой улицы, разбиваясь на отдельные группы; сливалось густою толпой, гудело, споря и рассуждая, толкалось о стены домов и снова заливало середину улицы темной, жидкой массой—в ней чувствовалось смутное брожение сомнений, было ясно видно напряженное ожидание чего-то всем нужного, что осветило бы путь к цели верою в успех, и этой верой связало, сплавило все куски в одно крепкое, стройное тело.

День был такой же пестрый, как настроение толпы. На небе, между серых облаков, являлось солнце, освещало лица холодным блеском и изчезало вновь, покрывая их одноцветной тенью неуверенности.

Переливаясь из улицы в улицу, масса людей быстро росла, и этот рост внешний постепенно вызывал ощущение внутреннего роста, будил сознание права народа-раба просить у власти внимания к своей нужде.

---

[1]) Т.-е. царь Николай II.

— Мы тоже люди, как ни как...
— «Он», чай, поймет,—мы просим...
— Должен понять!.. Не бунтуем...
— Опять же отец Гапон...
— Товарищи! Свободу не просят...
— Ах, Господи!..
— Только бы допустили нас...
— Да погоди ты, брат!..
— Гоните его прочь, дьявола!..
— Отец Гапон лучше знает, как...

Лица загорались, глаза сверкали ярче, ускорялся шаг, быстрота движения тела еще больше волновала душу. Все увеличивалась масса толпы, на улице стало теплее, голоса звучали с большей силой.

— Не надо нам красных флагов!— кричал лысый человек. Размахивая шапкой, он шел во главе толпы, и его голый череп тускло блестел, качался в глазах людей, притягивая к себе их внимание.

— Мы к отцу идем!..
— Так!
— Верим ему!..
— Не даст в обиду!
— Красный цвет—цвет нашей крови, товарищи!—упрямо звучал над толпой одинокий, звонкий голос.
— Нет силы, которая освободит народ, кроме силы самого народа.

Толпа, опьяняясь своим настроением, обрадованная тем, что, наконец, пришло оно и крепко обняло ее,—ворчала.

— Не надо!..
— «Он» поймет...
— Вот человек, ах ты...
— Ежели до него допустят...
— Смутьяны, черт, !..
— Отец Гапон — с крестом, а он — с флагом.
— Молодой еще, но тоже, чтобы командовать...
— Мы желаем мирно!

Наименее уверовавшие шли в глубине толпы и оттуда раздраженно и тревожно кричали:

— Гони его с флагом!..

Когда толпа вылилась из улицы на берег реки к Троицкому мосту и увидела перед собой длинную, ломаную линию солдат, преграждавшую ей путь на мост,—людей не остановила эта тонкая, серая изгородь. В фигурах солдат, четко обрисованных на голубовато-светлом фоне широкой реки, не было ничего угрожающего, они подпрыгивали, согревая озябшие ноги, махали руками, толкали друг друга. Впереди, за рекой, люди видели темный дом—там ждал их «он», хозяин дома. Великий и сильный, добрый и любящий, он не мог, конечно, приказать своим солдатам, чтобы они не допускали до него народ, который его любит и желает мирно говорить с ним о своих нуждах.

Но, все-таки, на многих лицах явилась тень недоумения, и люди впереди толпы замедлили свой шаг. Иные оглянулись назад, другие отошли в сторону, все старались показать друг другу, что о солдатах—они

знают, это не удивляет их. Некоторые спокойно поглядывали на золотого ангела, блестевшего высоко в небе над унылой крепостью, другие улыбались. Чей-то голос, соболезнуя, произнес:

— Холодно солдатам!..

— Н-да-а..

— А надо стоять!

— Солдаты — для порядка.

— Спокойно, ребята!.. Смирно!..

— Иди, иди!..

— Ура, солдаты!—крикнул кто-то.

Офицер в желтом башлыке на плечах выдернул из ножен саблю и тоже что-то кричал навстречу толпе, помахивая в воздухе изогнутой полоской стали. Солдаты встали неподвижно плечо к плечу друг с другом.

— Чего это они? — спросила полная женщина.

Ей не ответили. И всем как-то вдруг стало трудно итти.

— Назад! — донесся крик офицера.

Несколько человек оглянулось—позади их стояла плотная масса тел, из улицы в нее лилась бесконечным потоком темная река людей, толпа, уступая ее напору, раздавалась, заполняя площадь перед мостом. Несколько человек вышло вперед и, взмахивая белыми платками, пошли навстречу офицеру. Шли и кричали.

— Мы — к Государю нашему...

— Вполне спокойно!..

— Назад. Я прикажу стрелять!..

Когда голос офицера долетел до толпы, она ответила его словам гулким эхом удивления. О том, что не допустят до «него»—некоторые из толпы говорили и раньше, но чтобы стали стрелять в народ, который идет к «нему» спокойно, с верою в его силу и доброту, это нарушало цельность созданного образа. «Он»—сила выше всякой силы, и ему некого бояться, ему незачем отталкивать от себя свой народ штыками и пулями... Угроза стрелять была необ'яснима, обидна...

Худой высокий человек с голодным лицом и черными глазами вдруг закричал:

— Стрелять? Не смеешь!..

И, обращаясь к толпе, громко, злобно продолжал:

— Что? Говорил я—не допустят они...

— Кто? Солдаты?

— Не солдаты, а там...

Он махнул рукой куда-то вдаль.

— Выше которые... Ага? Я же говорил!

— Это еще неизвестно...

— Узнают, зачем идем—пустят!..

Шум рос. Были слышны гневные крики, раздавались возгласы иронии. Здравый смысл разбился о нелепость преграды и молчал. Движения людей стали нервнее, суетливее; от реки веяло острым холодом. Неподвижно блестели острия штыков.

Перекидываясь восклицаниями и подчиняясь напору сзади, люди двигались вперед. Те, которые пошли с платками, свернули в сторону,

исчезли в толпе. Но впереди все,—мужчины, женщины, подростки,—тоже махали белыми платками.

— Какая там стрельба? К чему она?—солидно говорил пожилой человек с проседью в бороде.—Просто они не пускают на мост... дескать,—идите прямо по льду...

И вдруг в воздухе что-то неровно и сухо просыпалось, дрогнуло, ударило в толпу десятками невидимых бичей. На секунду все голоса вдруг как бы замерли. Масса продолжала тихо подвигаться вперед.

— Холостыми...—не то сказал, не то спросил бесцветный голос.

Но тут и там раздавались стоны, у ног толпы легло несколько тел. Женщина, громко охая, схватилась рукой за грудь и быстрыми шагами пошла вперед, на штыки, вытянутые навстречу ей. За нею бросились еще люди и еще, охватывая ее, забегая вперед нее.

И снова треск ружейного залпа, еще более громкий, более неровный. Стоявшие у забора слышали, как дрогнули доски,—точно чьи-то невидимые зубы злобно кусали их. А одна пуля хлестнулась вдоль по дереву забора и, стряхнув с него мелкие щепки, бросила их в лица людей. Люди падали по-двое, по-трое, приседали на землю, хватаясь за животы, бежали куда-то, прихрамывая, ползли по снегу, и всюду на снегу обильно вспыхнули яркие красные пятна. Они расползались, дымились, притягивая к себе глаза... Толпа подалась назад, на миг остановилась, оцепенела, и вдруг раздался дикий, потрясающий вой сотен голосов. Он родился и потек по воздуху непрерывной, напряженно дрожащей пестрой тучей криков острой боли, мести, ужаса, протеста, тоскливого недоумения и призывов на помощь...

Солдаты стояли неподвижно, опустив ружья к ноге, лица у них были тоже неподвижные, кожа на щеках туго натянулась, скулы остро высунулись. Казалось, что у всех солдат—белые глаза и смерзлись губы...

В толпе кто-то кричал истерически громко.

— Ошибка! Ошибка вышла, братцы!.. Не за тех приняли... Не верьте!.. Иди, братцы... надо об'яснить!.. Ах, Господи... ведь это что-же?

— Гапон изменник, — вопил подросток-мальчик, влезая на фонарь.

— Что, товарищи, как встречают вас?..

— Постой... это ошибка... не может этого быть, ты пойми. Али ты не человек?..

— Это вы не люди, вы — овцы, стадо, и вот как вас...

— Пропусти... сторонись...

— Дай дорогу раненому!..

Двое рабочих и женщина вели высокого худого человека; он был весь в снегу, из рукава его пальто стекала кровь. Лицо у него посинело, заострилось еще более, и темные губы, слабо двигаясь прошептали:

— Я говорил... не пустят... они его скрывают... что им—народ...

— Ребята ... Конница!

— Беги!..

Стена солдат поколебалась и растворилась, как две половины деревянных ворот; танцуя и фыркая, между ними проехали лошади, раздался крик офицера, над головами конницы взвились, разрезав воздух,

сабли, замахнулись все в сторону. Толпа стояла и кричала, волнуясь, ожидая, не веря.

Стало тише.

— Ма-арш!—раздался неистовый крик.

Как будто вихрь ударил в лицо людей, и земля точно обернулась кругом под их ногами, все бросились бежать, толкая и опрокидывая друг друга, кидая раненых, прыгая через трупы. Тяжелый топот лошадей настигал, солдаты выли, их лошади скакали через раненых, упавших, мертвых, сверкали сабли, порою был слышен свист стали и удар ее о кость. Крик избиваемых сливался в гулкий и протяжный стон...

— А-а-а!..

Солдаты взмахивали саблями и опускали их на головы людей, и вслед за ударом тела их наклонялись на бок. Лица у них были красные, безглазые и точно опухшие. Ржали лошади, страшно оскаливая зубы, взмахивая головами...

Народ загнали в улицы...

М. Горький.

9 января 1905 г.

(Из книги „На заре революции")

Настало роковое воскресенье. Был солнечный, слегка морозный день. На улицах уже чувствовалось оживление, и росла атмосфера напряженного ожидания.

Дворцовая площадь была занята войсками. Туда никого не пропускали. У Александровского сада стоял кучками народ. Все в большем и большем числе стали появляться группами и в одиночку рабочие. Они были одеты по праздничному. Направляясь по Невскому и с Адмиралтейской улицы к Александровскиму саду, они наталкивались на военные патрули, не пропускавшие на площадь, и останавливались в ожидании. Вскоре появились конные раз'езды жандармов и казаков и стали оттеснять собравшихся назад, к Гороховой улице, у которой также выстроилась шеренга городовых. Попытки рассеять толпу, однако, ни к чему не приводили: она без всякого сопротивления переходила на другое место, а потом вновь просачивалась к Александровскому саду.

Вскоре около сада набралось большое количество народа. Все чего-то ждали. Было мирное настроение. На полицию смотрели с добродушием.

— Для порядку выехали! Чего беспокоются? Сами такой порядок держим, какого они и не видывали.

Все мирно разговаривали друг с другом. Шутили, смеялись.

Я был возле Гороховой улицы, когда в мое сознание вползли и с мучительной болью засели в мозгу слова откуда-то прибежавшего мальчишки:

— А у Нарвской заставы стреляют!.. Народу перебили, — и-и-и!..

На него накинулись с разных сторон.

— Пошел вон, дурак, я тебе дам народ смущать!..

Оторопелый мальчик бормотал:

БІБЛІОТЕКА НАУК. ТОВ. ІМ. ШЕВЧЕНКА

— Я, дяденька, ничего... Только я сам видел...

Какая-то огромная тяжесть легла на сознание. Впереди на Дворцовой площади заиграл рожок горниста. Публика двинулась туда еще теснее, желая посмотреть, в чем дело.

— Нашли время парады устраивать!..—говорил кто-то.

Мальчишки бросились к деревьям Александровского сада и быстро забрались на самые верхушки, чтобы посмотреть на маневры войск. Вдруг впереди, разрывая на клочки тишину ясного воздуха, грянул залп... За ним — второй. Потом — третий... Никто не понимал, что это такое, и, лишь увидев убитых и стонущих раненых в своих рядах, толпа подалась назад и в ужасе стала разбегаться по поперечным улицам.

Третий залп был направлен по мальчишкам, забравшимся на деревья Александровского сада. Многие из них комьями упали вниз и, неестественно скорчившись, остались лежать на снегу... Казаки бросились на разбегающуюся толпу...

У Нарвской заставы войска преградили путь рабочим, шедшим во главе с Гапоном. Впереди рабочие несли царские портреты, иконы и церковные хоругви. После безрезультатного приглашения разойтись, которого почти никто не слышал, в толпу было произведено несколько залпов. Гапона прикрыли своими телами шедшие около него рабочие, перебросили его через какой-то забор, откуда он пробрался к друзьям, которые его переодели и остригли.

Такая же бойня произошла у Невской заставы, за Московской заставой, на Выборгской стороне, у Троицкого моста. Повсюду шла стрельба, везде казаки гонялись за убегавшими и рубили их. На Васильевском острове изрубили студента, вышедшего вперед и приглашавшего войска не стрелять в народ... Там было к вечеру повалено несколько телеграфных столбов, улицы поперек опутаны проволокой. Пытались строить баррикады.

Солдаты озверели. Стреляли и кололи всякого, кто попадется на дороге. В Обуховскую больницу был доставлен труп *пятилетнего ребенка с семью штыковыми ранами*... Особенно отличался Семеновский полк. Руководство расправой осуществляли полковники Мин и Риман (произведенные потом в генералы).

Избиваемый народ дошел до крайней степени отчаяния. Войскам и казакам кричали: «Опричники!», «Палачи!», «Убийцы»... В ответ следовали залпы. По сведениям, собранным организованной потом специальной комиссией (в нее вошли передовые из петербургской адвокатуры), в больницы Петербурга было привезено за 9 января 1.216 убитых и свыше 5.000 раненых. А сколько трупов избегло больниц, попало в полицейские участки, а оттуда было вывезено ночью и зарыто в первой яме,—никто не знает.

Отношение всего населения к войскам, а особенно к офицерам, сделалось резко враждебным.По рукам впоследствии ходило написанное кем-то стихотворение:

Вот, наконец, сошел на наши флаги
Победный луч удачи боевой.
Там —в Порт-Артуре, отдали мы шпаги,

Зато на Невском, полные отваги,
Мы ринулись—и выиграли бой.

Они пошли к царю толпой голодной,
Чтоб рассказать нужду и скорбь свою...
Мы бросились на них, и снег холодный
Горячей, алой кровию народной
Окрасили мы в доблестном бою.

О, славный час! Победы нашей рати
Ждала вся Русь. Давно было пора!
Пускай погибли сотни наших братий
И Русь полна рыданий и проклятий,
Но спасена честь армии! Ура!

Вечером 9 января собралось большое количество народа в Вольно-Экономическом Обществе. Кем и для чего было созвано собрание, я не помню, как не помню и того, при каких обстоятельствах я туда попал. Приходили все новые и новые люди и рассказывали о том, что они видели и что происходит на улицах. Кто-то принес известие, что толпа народа перебила камнями окна во дворце великого князя Сергея Александровича (на углу Невского и Фонтанки, против Аничкова дворца).

Вдруг на хорах зала появилась хорошо знакомая всем фигура М. Горького. Он попросил слова и сказал, что один из близких друзей Георгия Гапона хочет от его имени сделать сообщение. Рядом с ним стал тот, про которого он говорил. Это был остриженный и переодетый в штатское платье Георгий Гапон. Он начал говорить. Его бледное лицо отражало следы сильнейших мучений. Глаза его горели. Голос дрожал.

Он сказал, что Георгию Гапону удалось скрыться, что он будет теперь продолжать борьбу другими средствами и что он написал письмо к рабочим, копия которого может быть оглашена. Он прочитал письмо, начинавшееся словами:

«Родные, кровью спаянные братья!» В письме говорилось о зверстве царя, призывались проклятия на его голову, и рабочие призывались к революционной открытой борьбе.

Письмо это, как я потом узнал, было тут же перед этим написано М. Горьким. Оно было широко распространено по Петербургу, а потом и по всей России вместе с петицией и описанием событий 9 января.

На собрании был поставлен вопрос: что делать? Нашелся один подозрительный тип, который предложил записаться немедленно у него тем, кто хочет принять участие в террористических актах.

Решили написать призыв к войскам, выясняющий весь позор их поведения и призывающий их перейти на сторону революции. Проект такого призыва был оглашен и принят всеми без исключения. Кто-то предложил подписать этот призыв своими фамилиями с указанием званий и адресов. Громадным большинством было принято и это предложение. Немедленно появились листы, на которых все стали расписываться. Я и моя жена подписали на одном из них свои фамилии и адреса.

Этот шаг был революционным. Все понимали, что обращение от определенных лиц, из которых имена многих были известны всему Петербургу, может оказать несравненно большее влияние на слепое офицерство, чем анонимные прокламации. Подлинник воззвания и листы с подписями были переданы для распубликования совету Вольно-Экономического Общества. Через несколько дней я увидел экземпляр этого воззвания, отпечатанный на мимеографе, но... без всяких подписей. Я поинтересовался узнать, почему не опубликованы подписи, и получил ответ:

— Разве вы не знаете, что за призыв к войскам не повиноваться правительству, полагаются, в лучшем случае, каторжные работы? Мы не можем рисковать. Предстоит борьба, наши силы нужны...

Словом, либеральное «благоразумие» победило...

10 и 11 января убийства и зверства на улицах еще продолжались.

Знал ли обо всем этом царь? Дневник его, увидавший свет в последнее время, не оставляет никаких сомнений насчет этого. Вот что написал Николай II в своем дневнике 8 января 1905 г.:

« Ясный морозный день. Было много дела и докладов. Завтракал Фредерикс. Долго гулял. Со вчерашнего дня в Петербурге забастовали все заводы и фабрики. *Из окрестностей вызваны войска* для усиления гарнизона. Рабочие до сих пор вели себя спокойно. Количество их определяется в 120.000 чел. Во главе рабочего союза какой-то священник-социалист Гапон. Мирский [1]) *приезжал вечером для доклада о принятых мерах*» (курсив мой. Цитирую по статье тов. Сторожева в сборнике «Декабрьское восстание в Москве 1905 г.»).

Д. Сверчков.

9 января

(Из книги „1905“)

Стрелецкий голова.

Великий государь,
Народа мы не можем удержать, —
Врываются насильно, голосят:
„Хотим царю Борису поклониться,
Царя Бориса видеть“.

Борис.

Настежь двери:
Между народом русским и царем
Преграды нет.

(*А. Толстой*, „Царь Борис“).

I.

«Государь, мы, рабочие, дети наши, жены и беспомощные старцы— родители, пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильными трудами, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся, как к рабам, ко-

[1] (Князь Святополк-Мирский, министр внутренних дел.

торые должны терпеть свою участь и молчать. Мы и терпели, но нас толкают все дальше в омут нищеты, бесправия и невежества. Нас душит деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, Государь! Настал предел терпению; для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук».

Такими торжественными нотами, в которых угроза пролетариев заглушает просьбу подданных, начиналась знаменитая петиция петербургских рабочих. Она рисовала все притеснения и оскорбления, которым подвергается народ. Она перечисляла все: от сквозняков на фабриках и до политического бесправия в стране. Она требовала амнистии, публичных свобод, отделения церкви от государства, восьмичасового рабочего дня, нормальной заработной платы и постепенной передачи земли народу. Но в первую голову она ставила созыв Учредительного Собрания путем всеобщего и равного голосования.

«Вот, Государь,—так заканчивала петиция,—главные наши нужды, с которыми мы пришли к тебе. Повели и поклянись исполнить их—и ты сделаешь Россию сильной и славной, запечатлеешь имя твое в сердцах наших и наших потомков на вечные времена. А не позволишь, не отзовешься на нашу мольбу—мы умрем здесь, на этой площади, перед твоим дворцом. Нам некуда больше итти и незачем. У нас только два пути—или к свободе и счастью, или в могилу. Укажи, Государь, любой из них,—мы пойдем по нему беспрекословно, хотя бы и был путь к смерти. Пусть наша жизнь будет жертвой для исстрадавшейся России. Нам не жалко этой жертвы—мы охотно принесем ее».

И они принесли ее.

Рабочая петиция не только противопоставляла расплывчатой фразеологии либеральных резолюций отточенные лозунги политической демократии, но и вливала в них классовое содержание своими требованиями свободы стачек и восьмичасового рабочего дня. Ее историческое значение, однако, не в тексте, а в факте. Петиция была только введением к действию, которое об'единило рабочие массы призраком идеальной монархии, — об'единило для того, чтобы тотчас же противопоставить пролетариат и реальную монархию, как двух смертельных врагов.

Ход событий в памяти у всех. Они развернулись в несколько дней с замечательной планомерностью. 3 января вспыхнула забастовка на Путиловском заводе. 7 января число забастовщиков достигло 140.000. Кульминационным пунктом стачки было 10 января. 13 уже начали приступать к работам. Итак: сперва экономическая стачка по случайному поводу. Она расширяется, захватывает десятки тысяч рабочих и тем самым превращается в политическое событие. Ею руководит «Общество фабричных и заводских рабочих», организация полицейского происхождения. Радикалы, банкетная политика которых уперлась в тупик, сгорают от нетерпения. Они недовольны чисто экономическим характером стачки и толкают ее вождя, Гапона, вперед. Он вступает на путь политики и находит в рабочих массах такую бездну недовольства, озлобления и революционной энергии, в которой совершенно утопают маленькие планы его либеральных вдохновителей. Выдвигается социал-демократия. Враждебно встреченная, она вскоре приспособляется к ауди-

тории и овладевает ею. Ее лозунги подхватываются массой и закрепляются в петиции.

Правительство исчезает. Где причина этого? Коварная провокация? Или жалкая растерянность? И то и другое. Бюрократы в стиле князя Святополка тупоумно растерялись. Шайка Трепова, торопившаяся положить конец «весне» и потому сознательно шедшая навстречу бойне, дала событиям развиться до их логического конца. Телеграф с полной свободой оповещал весь мир о каждом этапе январской стачки. Парижский консьерж знал за три дня, что в Петербурге, в воскресенье 9 января, в два часа дня будет революция. А русское правительство не ударило пальцем о палец, чтобы предотвратить бойню.

При одиннадцати отделах рабочего «Общества» шли непрерывные митинги. Вырабатывалась петиция и обсуждался план шествия ко дворцу. Гапон раз'езжал из отдела в отдел, социал-демократические агитаторы потеряли голоса и падали от усталости. Полиция ни во что не вмешивалась. Ее не существовало.

Согласно уговору, шли ко дворцу мирно, без песен, без знамен, без речей. Нарядились в праздничные платья. В некоторых частях города несли иконы и хоругви. Всюду натыкались на войска. Умоляли пропустить, плакали, пробовали обойти, пытались прорваться. Солдаты стреляли целый день. Убитые исчисляются сотнями, раненые — тысячами. Точный учет невозможен, ибо полиция ночью увозила и тайно зарывала трупы убитых.

В 12 часов ночи 9 января Георгий Гапон писал:

«Солдатам и офицерам, убивающим невинных братьев, их жен и детей, всем угнетателям народа—мое пастырское проклятие. Солдатам, которые будут помогать народу добиваться свободы—мое благословение. Их солдатскую клятву изменнику царю, приказавшему пролить невинную кровь, разрешаю»...

История использовала фантастический план Гапона для своих целей—и Гапону оставалось только своим авторитетом священника санкционировать ее революционный вывод.

11 января в заседании Комитета министров безвластный тогда г. Витте предложил обсудить происшедшие 9 января события и меры «для предупреждения на будущее время таких печальных явлений». Предложение г. Витте было отклонено, как «не входящее в компетенцию Комитета и не означенное в повестке настоящего заседания». Комитет министров прошел мимо начала русской революции, так как русская революция не была записана в повестке его заседания.

II.

Те формы, какие приняло историческое выступление 9 января, разумеется, никем не могли быть предвидены. Священник, которого история такими неожиданными путями поставила на несколько дней во главе рабочей массы, наложил на события печать своей личности, своих воззрений, своего сана. И эта форма скрывала от многих глаз действительное содержание событий. Но внутренний смысл 9 января не исчерпывается символикой хождения к Зимнему дворцу; Гапоновская

ряса—только аксессуар. Действующее лицо—пролетариат. Он начинает со стачки, об'единяется, выдвигает политические требования, выходит на улицы, сосредоточивает на себе восторженные симпатии всего населния, приходит в столкновение с войсками и открывает русскую революцию. Гапон не создал революционной энергии петербургских рабочих, он только неожиданно для самого себя вскрыл ее. Сын священника, затем семинарист, духовный академик, тюремный священник, агитатор среди рабочих с явного благоволения полиции внезапно оказался во главе стотысячной толпы. Официальное положение, священническая ряса, стихийное возбуждение малосознательных масс и сказочно быстрое развитие событий сделали Гапона «вождем».

Фантазер на психологической подпочве авантюризма, южанин-сангвиник с оттенком плутоватости, круглый невежда в общественных вопросах, Гапон так же мало способен был руководить событиями, как и предвидеть их. События волокли его.

Либеральное общество долго верило, что в личности Гапона скрывалась вся тайна 9 января. Его противопоставляли социал-демократии, как политического вождя, который знает секрет обладания массой,—секте доктринеров. При этом забывали, что 9 января не было бы, еслиб Гапон не застал несколько тысяч сознательных рабочих, прошедших социалистическую школу. Они сразу окружили его железным кольцом, из которого он не мог бы вырваться, если бы хотел. Но он не пытался. Гипнотизируемый собственным успехом, он отдался вполне.

Но если мы отводили уже на другой день после Кровавого Воскресенья политической роли Гапона совершенно подчиненное место, то мы все, несомненно, переоценивали его личность. В ореоле пастырского гнева, с пастырскими проклятиями на устах, он представлялся издали фигурой почти библейского стиля. Казалось, могучие революционные страсти проснулись в груди молодого священника петербургской пересыльной тюрьмы. И что же? Когда догорели огни, Гапон предстал пред всеми полным политическим и нравственным ничтожеством. Его позирование пред социалистической Европой, его беспомощно «революционные» писания из-за границы, наивные и грубые, его приезд в Россию, конспиративные сношения с правительством, сребренники гр. Витте, претенциозные и нелепые беседы с сотрудниками консервативных газет, шумливость и хвастливость и, наконец, жалкое предательство, ставшее причиной его гибели,—все это окончательно убило представление о Гапоне 9 января. Там невольно вспоминаются проницательные слова Виктора Адлера, вождя австрийской социал-демократии, который после получения первой телеграммы о прибытии Гапона за границу, сказал: Жаль... для его исторической памяти было бы лучше, если бы он так же таинственно исчез, как появился. Осталось бы красивое романтическое предание о священнике, который открыл шлюзы русской революции... Есть люди,—прибавил он, с той тонкой иронией, которая так характерна для этого человека,—есть люди, которых лучше иметь мучениками, чем товарищами по партии»...

Л. Троцкий.

Песня о буревестнике

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.

То волны крылом касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и тучи слышат радость в смелом крике птицы.

В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.

Чайки стонут перед бурей,—стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей,

И гагары тоже стонут, — им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.

Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах...

Только гордый буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!

Все мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют и пляшут волны в высоте навстречу грому.

Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн об'ятьем крепким и бросает их с размаха в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.

Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.

Вот он носится, как демон, — гордый, черный демон бури, — и смеется и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает!

В гневе грома,—чуткий демон,—он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, — нет, не скроют!

Ветер воет... Гром грохочет...

Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря.

Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний.

— Буря! Скоро грянет буря!

Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем: то кричит пророк победы:

— Пусть сильнее грянет буря!

М. Горький.

Декабрь в Москве

(Из книги „1905“)

В центре декабрьского восстания стоит Москва.

Уже в начале декабря в некоторых полках московского гарнизона происходило сильное брожение. Несмотря на все усилия социал-демократии предупредить изолированные вспышки, брожение бурно прорывалось наружу. Среди рабочих раздавались голоса: «Нужно поддержать солдат, нельзя упускать момент». Солдаты, стоявшие на карауле у фабрик, всецело подпадали под влияние рабочих. «Как вы восстанете, так и мы восстанем и откроем вам арсенал!» говорили многие из них. На митингах нередко выступали солдаты и офицеры. 4 декабря в вой-

ских образовался Совет Солдатских Депутатов, и в рабочий Совет вошли их представители. Из других городов шли неопределенные, но настойчивые слухи о присоединении армии к рабочим. Такова была атмосфера, в которой началась московская стачка.

В первый день прекратили работы около 100.000 человек. На одном из вокзалов убиты два машиниста, самовольно поведшие поезда. В разных частях города—незначительные стычки. Группа дружинников разбирает оружейный магазин. Начиная с этого дня, с московских улиц исчезают обычные полицейские посты. Городовые появляются почти только группами. На второй день число бастующих возрастает до 150.000 человек, забастовка принимает в Москве всеобщий характер и распространяется на подмосковные фабрики. Всюду огромные митинги. На станции, где останавливались дальневосточные поезда, толпа обезоруживала возвращающихся из Манчжурии офицеров. Из одного вагона рабочие извлекли несколько десятков пудов патронов. Позже разобрали другой вагон с оружием.

8 декабря, на второй день стачки, Исполнительный Комитет постановляет: «При появлении войск стараться вступать с солдатами в разговоры и действовать на них товарищеским словом... Открытого столкновения пока избегать и давать вооруженный отпор только при особенно вызывающем поведении войск». Что решающее слово скажет армия, это понимали все. Малейший благоприятный слух о настроении гарнизона передается из уст в уста. Вместе с тем революционная толпа ведет с московскими властями непрерывную борьбу из-за армии.

Узнав об уличном шествии пехотинцев под звуки марсельезы, типографские рабочие отправляют им навстречу депутацию. Но уже поздно. Военное начальство окружило возбужденных солдат казаками и драгунами, увело в казармы и затем пошло навстречу их требованиям... В тот же день 500 казаков, руководимых полицейским чином, получили приказание стрелять в демонстрантов. Казаки не подчинились, вступили в разговор с толпой, затем, по команде унтера, повернули коней и медленно уехали. Толпа проводила их приветственными криками.

Вот десятитысячная рабочая демонстрация наталкивается на казаков. Общее замешательство. От толпы отделяются две работницы с красными знаменами и бросаются навстречу казакам. «Стреляйте в нас,—кричат они,—живыми мы знамя не отдадим». Казаки удивлены и смущены. Момент решительный. Толпа, почувствовав колебание, сразу напирает: «Казаки, мы идем к вам с пустыми руками, неужели вы будете в нас стрелять?»—«Не стреляйте в нас, тогда и мы не будем»,—отвечают казаки. Взбешенный и испуганный офицер разражается бешеной бранью. Но поздно. Его голос заглушается негодующими криками толпы. Кто-то произносит краткую речь. Толпа подхватывает ее приветственными возгласами. Еще минута,—и казаки поворачивают коней и мчатся прочь, закинув винтовки на плечи.

После военной осады народного митинга, закончившейся избиением безоружной толпы, настроение в городе становится более нервным. Публика толкается на улицах все большими массами. Всевозможные слухи рождаются и умирают каждый час. На всех лицах—печать веселого возбуждения, смешанного с тревогой. «Многие думают,—пишет

Горький, находившийся тогда в Москве,—что баррикады начали строить революционеры; это, конечно, очень лестно, но не вполне справедливо—баррикады начал строить именно обыватель, человек внепартийный, и в этом соль события. Первые баррикады на Тверской строились весело, шутя, со смехом, в этой веселой работе принимали участие самые разнообразные люди, от солидного барина в дорогом пальто до кухарки и дворника, недавнего оплота «твердой власти»... Драгуны дали залп по баррикаде, несколько человек ранено, двое или трое убито,—вопль возмущения, единодушный крик мести, и сразу все изменилось. После залпа обыватель начал возводить баррикады не играючи, а серьезно, желая оградить свою жизнь от г. Дубасова и его драгун».

Дружинники, т.-е. организованные на военную ногу стрелки революционных организаций, становятся активнее. Они систематически разоружают встречных полицейских. Здесь впервые начинает практиковаться требование «руки вверх», которое имеет целью обезопасить нападающих. Кто не подчиняется, того убивают. Солдат не трогают, чтоб не раздражать. На одном из митингов делают даже такое постановление: кто начнет стрелять без разрешения начальника дружины, должен быть казнен. У фабрик и заводов рабочие ведут агитацию среди солдат. Но уже на третий день стачки начинаются кровавые столкновения с армией. Вот драгуны разгоняют вечерний митинг на площади, которую стачка погрузила во мрак. «Братья, не трогайте нас: мы—ваши!» Солдаты проезжают мимо. Но через четверть часа возвращаются в большем количестве и атакуют толпу. Тьма, паника, крики, проклятья, часть толпы ищет спасения в павильоне трамвая. Драгуны требуют сдачи. Отказ. Раздается несколько залпов; в результате убит школьник, несколько человек ранено. Гонимые совестью или страхом мести, драгуны уносятся прочь. «Убийцы!» Окружив первые жертвы, толпа яростно сжимает кулаки. «Убийцы!» Еще миг — и обрызганный кровью павильон охвачен пламенем. «Убийцы!» Толпа ищет выхода своим чувствам. Среди тьмы и опасностей она двигается вперед, наталкивается на препятствия, напирает. Снова выстрелы. «Убийцы!» Толпа строит баррикады. Это ремесло ей внове, и потому она действует неуклюже и без системы... Тут же в темноте группа в 30—40 человек поет хором: «Вы жертвою пали»... Снова залпы, раненые и убитые. Соседние дворы превращаются в перевязочные пункты, у ворот дежурят жильцы и несут санитарную службу.

Открывая военные действия, социал-демократическая Боевая Организация расклеила по Москве воззвание, в котором давала технические указания повстанцам:

«1. Главное правило—не действуйте толпой. Действуйте небольшими отрядами, человека в 3—4, не больше. Пусть только этих отрядов будет возможно больше, и пусть каждый из них научится быстро нападать и быстро исчезать. Полиция старается одной сотней казаков расстреливать тысячные толпы. Вы же против сотни казаков ставьте одного—двух стрелков. Попасть в сотню легче, чем в одного, особенно если этот один неожиданно стреляет и неизвестно куда исчезает.

«2. Кроме того, товарищи, не занимайте укрепленных мест. Войско их всегда сумеет взять, или просто разрушить артиллерией. Пусть на-

шими крепостями будут проходные дворы и все места, из которых легко стрелять и легко уйти. Если такое место и возьмут, то никого там не найдут, а потеряют много».

Тактика революционеров определилась сразу, из самого положения вещей. Наоборот, правительственные войска в течение целых пяти дней проявили полную неспособность приспособиться к тактике противника и кровожадное варварство соединили с растерянностью и бестолковостью.

Вот примерная картина боя. Идет грузинская дружина—одна из самых отчаянных—в составе 24 стрелков, идет открыто, парами. Толпа предупреждает, что навстречу едут 16 драгун с офицером. Дружина строится и берет маузеры на изготовку. Едва показывается раз'езд, дружина дает залп. Офицер ранен, передние лошади, раненые, взвиваются на дыбы, в рядах замешательство, которое лишает солдат возможности стрелять. Таким образом дружина дала до 100 выстрелов и обратила драгун, оставивших несколько убитыми и ранеными, в беспорядочное бегство. «Теперь уходите,—торопит толпа,—сейчас привезут орудие». И действительно, скоро появляется на сцену артиллерия. После первого же залпа падают десятки убитых и раненых из безоружной толпы, которая никак не ожидала, что войска будут стрелять по ней. А в это время грузины уже в другом месте вступили в перестрелку с войсками... Дружина почти неуязвима, ибо окутана панцырем всеобщего сочувствия.

Вот еще пример, один из множества. Засевшая в здании группа дружинников из 13 человек в течение четырех часов выдерживала обстрел 500—600 солдат, в распоряжении которых было 3 пушки и 2 пулемета. Расстреляв все патроны и причинив войскам большой ущерб, дружинники удалились, не получив ни одной раны. А солдаты разгромили артиллерийским огнем несколько кварталов, подожгли несколько деревянных домов, истребили немало обезумевших от ужаса жителей,—все для того, чтобы вынудить к отступлению дюжину революционеров...

Баррикады не защищались. Они служили лишь препятствием для передвижения войск, особенно драгун. В районе баррикад дома были вне пределов досягаемости для артиллерии. Лишь обстреляв всю улицу, войска «брали» баррикады, чтоб убедиться, что за ними никого нет. Тотчас после удаления солдат баррикады снова восстановлялись. Систематический расстрел города дубасовской артиллерией начинается 10 декабря. Пушки и пулеметы действуют неутомимо, обстреливая улицы. Жертвы падают уже не единицами, а десятками. Растерянные и раз'яренные толпы перебегают с места на место, не веря реальности совершающегося: итак, солдаты стреляют,—и притом не по отдельным революционерам, а по темному врагу, который называется Москвой: по ее домам, где живут и старики и дети, по обезоруженным уличным толпам... «Убийцы и трусы! Вот как они восстановляют свою манчжурскую славу!»

После первых пушечных выстрелов постройка баррикад принимает лихорадочный характер. Теперь размах работы шире, приемы смелее. Обрушивают большой фруктовый павильон, киоск газетчика, срывают

вывески, ломают чугунные ограды, рвут верхние проводы электрического трамвая.

«Вопреки распоряжению полиции—держать ворота на запоре,—сообщают реакционные газеты,—ворота вовсе сняты с петель и употреблены на постройку баррикад!» 11 декабря весь город в главных пунктах своих покрыт сетью баррикад. Целые улицы опутаны паутиной проволочных заграждений.

Дубасов об'являет, что всякая толпа «более, чем в три человека» будет расстреляна. Но драгуны стреляют и по одиноким. Сперва обыскивают, не найдут оружия, отпустят и пошлют вдогонку пулю. Стреляют в зевак, читающих об'явления Дубасова. Достаточно, чтоб из окна раздался одинокий выстрел, нередко открыто провокаторский,—и дом немедленно подвергается обстрелу артиллерии. Лужи крови и мозги с волосами, прилипшие к вывескам, обозначают путь, по которому прошла шрапнель. В разных местах дома с зияющими пробоинами. У одного из разрушенных зданий — страшная реклама восстания,—тарелка с кусками человеческого мяса и надписью: «жертвуйте пострадавшим!»

В течение двух—трех дней настроение московского гарнизона определилось неблагоприятно для восстания. С самого начала волнений в казармах военные власти приняли целый ряд мер: уволили запасных, вольноопределяющихся, неблагонадежных и стали лучше кормить остальных. Для подавления восстания были сперва пущены в дело только наиболее надежные части. Сомнительные полки, лишенные наиболее сознательных элементов, сидели в казармах. Их Дубасов пустил в ход уже во вторую очередь. Сначала они шли неохотно и неуверенно. Но, под влиянием случайной пули, агитации офицера на почве голода и усталости, они доходили до страшной жестокости. Дубасов дополнял влияние этих условий действием казенной водки. Драгуны все время были полупьяны.

Партизанские нападения, однако, не только озлобляют, но и утомляют, всеобщая враждебность населения ввергает солдат в уныние. 13—14 декабря были критическими днями. Смертельно усталые войска роптали и отказывались итти в бой с врагом, которого они не видели и силы которого страшно преувеличивали. В эти дни было несколько случаев самоубийств среди офицеров...

Дубасов доносил в Петербург, что из 15.000 душ московского гарнизона в «дело» можно употребить только 5 тысяч, так как остальные ненадежны, и просил присылки подкреплений. Ему ответили, что часть петербургского гарнизона отправлена в Прибалтийский край, часть ненадежна, а остальные самим нужны. Благодаря похищенным в военном штабе документам эти переговоры стали известны в городе уже на другой день и влили бодрость и надежду в сердца. Но Дубасов добился своего. Он потребовал, чтобы его соединили по телефону непосредственно с Царским Селом, и заявил, что не ручается за «целость самодержавия». Тогда был дан приказ отправить в Москву Семеновский гвардейский полк.

15 декабря положение резко изменилось. В надежде на Семеновский полк реакционные группы Москвы воспрянули духом. На улицах

появляется вооруженная «милиция», набранная из трущобного сброда Союзом русского народа. Активные силы правительства возросли благодаря стянутым из ближайших городов войскам. Дружинники изнемогали. Обыватель устал от страха и неизвестности. Настроение рабочих масс падало, надежда на победу исчезала. Открылись магазины, конторы, банки, биржа. Движение на улицах оживилось. Вышла одна из газет. Все почувствовали, что баррикадная жизнь кончилась. В большей части города пальба затихла. 16 декабря, с прибытием войск из Петербурга и Варшавы, Дубасов становится полным хозяином положения. Он переходит в решительное наступление и совершенно очищает центр города от баррикад. Сознавая безнадежность положения, Совет и Партия постановляют в этот день прекратить забастовку 19 декабря.

Во все время восстания Пресня, это Монмартр Москвы, жила своей особой жизнью. 10 декабря, когда в центре уже раздавалась пушечная стрельба, на Пресне царило еще спокойствие. Митинги шли своим чередом, но они уже не удовлетворяли массу. Она жаждала действий и осаждала депутатов. Наконец, в 4 часа дня был получен приказ из центра: строить баррикады. Все ожило на Пресне. Здесь не было той беспорядочности, которая царила в центре. Рабочие разбились на десятки, выбрали начальников, вооружились лопатами, ломами, топорами — и в порядке выступили на улицы, точно на муниципальные работы. Никто не стоял без дела. Бабы выносили на улицу сани, дрова, ворота. Рабочие пилили и рубили телеграфные и фонарные столбы. Стук топоров стоял во всей Пресне,—казалось, будто рубят лес.

Отрезанная от города войсками, сплошь покрытая баррикадами, Пресня превратилась в пролетарский лагерь. Всюду были установлены дежурства дружинников, по ночам вооруженные часовые расхаживали между баррикадами и спрашивали у прохожих пароль. Наибольшим воодушевлением выделялись девушки-работницы. Они любили ходить на разведки, заводили разговоры с полицейскими и добывали таким путем полезные сведения. Сколько вооруженных дружинников действовало на Пресне? Человек 200, не более. В их распоряжении было до 80 винтовок и маузеров. Несмотря на такую малочисленность активных сил, стычки с войсками шли непрерывно. Солдат обезоруживали, сопротивляющихся убивали. Разрушенные баррикады восстановлялись рабочими. Дружинники строго придерживались партизанской тактики: разбивались на группы в 2—3 человека, стреляли по казакам и артиллеристам из домов, дровяных складов, пустых вагонов, быстро меняли место и снова осыпали солдат выстрелами... 12 декабря дружинники отбили у драгун и артиллеристов пушку. Четверть часа они возились вокруг нее, не зная, что с ней делать. Из затруднения их вывел большой отряд драгун и казаков, который завладел орудием.

13 декабря вечером пресненская дружина привела на фабрику 6 взятых ею в плен артиллеристов. Их накормили за общим столом. Во время обеда говорили речи политического характера. Солдаты слушали внимательно и с сочувствием. После ужина их отпустили без обыска и с оружием: не хотели озлоблять.

Вечером 15 декабря дружинники арестовали на улице начальника охранного отделения Войлошникова, произвели обыск на его квартире,

конфисковали карточки поднадзорных и 600 руб. казенных денег. Войлошников был тут же приговорен к смертной казни и расстрелян во дворе Прохоровской фабрики. Он выслушал приговор спокойно и встретил смерть мужественно,—благороднее, чем жил.

16 начался пробный артиллерийский обстрел Пресни. Дружинники ответили энергичным огнем и заставили артиллерию отступить. Но в этот же день стало известно, что Дубасов получил из Петербурга и Варшавы большие подкрепления, и настроение стало падать. Началось повальное бегство ткачей в деревню. По дорогам потянулись толпы пешеходов с белыми котомками за плечами.

В ночь на 17 Пресня была окружена железным кольцом правительственных войск. В седьмом часу утра открылась жестокая канонада. Артиллерия делала до 7 пушечных выстрелов в минуту. Это продолжалось с часовым перерывом до 4 часов дня. Разгромили и подожгли ряд фабрик и жилых домов. Палили с двух сторон. Пресня — вся в дыму и огне—походила на ад. Дома и баррикады об'яты пламенем, женщины и дети мечутся по улицам в клубах черного дыма, под гул и треск выстрелов. Зарево стояло такое, что можно было далеко в окружности поздним вечером читать, как днем. Дружина до 12 часов дня успешно выступала против пехоты, но под ее непрерывным огнем вынуждена была прекратить боевые действия. С этого времени под ружьем оставалась лишь небольшая группа дружинников, за свой страх и риск.

К утру 18 Пресня была очищена от баррикад. «Мирному» населению был открыт выход из Пресни, по неряшливости выпускали даже без обысков. Первыми вышли дружинники, некоторые даже с оружием. Дальнейшие расстрелы и насилия разнузданной солдатчины производились уже тогда, когда ни одного дружинника в Пресне не было.

Семеновцы-усмирители, действовавшие на железной дороге, получили приказ: «Арестованных не иметь, действовать беспощадно». Сопротивления они нигде не встречали. В них не сделано было ни одного выстрела, тем не менее они убили по линии около 150 душ. Расстреливали без следствия и суда. Извлекали раненых из санитарных вагонов и добивали их. Трупы валялись неподобранными. Среди расстрелянных петербургскими гвардейцами был машинист Ухтомский, который умчал на паровозе от преследований боевую дружину, развив под выстрелами пулеметов бешеную скорость. Перед расстрелом он рассказал палачам про свой подвиг: «Все спаслись,—спокойно и гордо закончил он,—вам не достать их».

Восстание в Москве длилось девять дней: с 9 по 17. Как велики были собственно боевые кадры московского восстания? В сущности ничтожны. 700—800 душ входили в партийные дружины: 500 социал-демократов, 250—300 социалистов-революционеров, около 500 вооруженных огнестрельным оружием железнодорожников действовали на вокзалах и по линиям, около 400 вольных стрелков из типографских рабочих и приказчиков составляли вспомогательные отряды. Были небольшие группы вольных стрелков. Говоря о них, нельзя не упомянуть четырех добровольцев, черногорцев. Отличные стрелки, бесстрашные и неутомимые, они действовали группой, убивая исключительно полицей-

ских и офицеров. Двое из них были убиты, третий ранен, у четвертого погиб винчестер. Ему дали новую винтовку, и он стал один ходить на свою страшную охоту. Каждое утро ему выдавали 50 патронов,—он жаловался, что мало. Он был точно в чаду. Плакал по погибшим товарищам и мстил за них страшной местью.

Каким же образом небольшой отряд дружинников мог полторы недели бороться с многотысячным гарнизоном? Разрешение этой революционной загадки—в настроении народных масс. Весь город с его улицами, домами, заборами, проходными воротами вступает в заговор против правительственных солдат. Миллионное население становится живой стеной между партизанами и регулярными войсками. Дружинников сотни. Но в постройке и восстановлении баррикад уже участвуют массы. Еще большие массы окружают активных революционеров атмосферой деятельного сочувствия и, чем могут, вредят правительственным планам. Из кого они состоят, эти сочувствующие сотни тысяч? Из мещанства, интеллигенции и прежде всего из рабочих. На стороне правительства оказывается, помимо продажной уличной черни, только верхний капиталистический строй. Московская городская дума, еще за два месяца до восстания блиставшая радикализмом, теперь решительно становится в свите Дубасова. Не только октябрист Гучков, но и г. Головин, будущий кадетский председатель II Думы, входит в совет при генерал-губернаторе.

Каково число жертв московского восстания? В точности оно неизвестно и никогда не будет установлено. По данным 47 лечебниц и больниц зарегистрировано 885 раненых, 174 убитых и умерших от ран. Но убитых принимали в больницы только в редких случаях; по общему правилу они лежали в полицейских участках и оттуда увозились тайком. На кладбище похоронено за эти дни 454 человека, убитых и умерших от ран. Но много трупов вагонами вывозили за город. Вряд ли ошибка будет велика, если мы предположим, что восстание вырвало из среды московского населения около 1.000 душ убитыми и столько же ранеными. Среди них 86 детей, в их числе грудные младенцы. Эти числа станут ярче, если вспомнить, что на мостовых Берлина в результате мартовского восстания 1848 г., когда прусский абсолютизм получил неизлечимую рану, осталось лишь 183 трупа... Число жертв, понесенных войсками, правительство утаило, как и число жретв революции. Официальный отчет говорит лишь о нескольких десятках убитых и раненых солдат. На самом деле их было несколько сот. Цена не слишком крупная, ибо ставкой была Москва, «сердце России».

Если оставить в стороне окраины (Кавказ и Прибалтийский край), декабрьская волна нигде не поднималась до такой высоты, как в Москве. Баррикады, перестрелка с войсками, артиллерийская стрельба имели, однако, место еще в целом ряде городов: в Харькове, Александровске, Нижнем-Новгороде, Ростове, Твери...

После того, как восстание было всюду сломлено, открылась эра карательных экспедиций. Как показывает это официальное название, цель их—не борьба с врагами, а месть побежденным. В Прибалтийском крае, где восстание вспыхнуло за две недели до московского, карательные экспедиции разбились на мелкие отряды, которые исполняли кро-

вавые поручения подлой касты остзейских баронов, поставляющих самых зверских представителей русской бюрократии. Латышей, рабочих и крестьян расстреливали, вешали, засекали розгами, забивали палками, гоняли сквозь строй, казнили под звуки царского гимна. В течение двух месяцев в Прибалтийских губерниях—по крайне неполным сведениям—казнено 749 человек, сожжено до-тла более 100 усадеб, засечено плетьми множество людей.

Так абсолютизм, божьей милостью, боролся за свое существование. С 9 января 1905 г. до созыва первой Государственной Думы, 27 апреля 1906 г.,—по приблизительным, но во всяком случае не преувеличенным расчетам—царским правительством убито более 14.000 человек, казнено более 1.000, ранено около 20.000 (из них многие умерли), арестовано, сослано, заточено—70.000 человек. Цена не слишком крупная, ибо ставкой было существование царизма.

Л. Троцкий.

Декабрьское восстание

Спешно готовились к обороне и нападению. Организовывались в районах в дружины. Рабочие запасались оружием и учились стрелять. Не осталось ни одного высшего учебного заведения, где бы не было боевого отряда. Организации направили все силы на покупку оружия. Производили сборы. Выставленная у входа на митинг шапка заполнялась в несколько минут. Снимали с себя золотые вещи, отдавали обручальные кольца... Однако буржуазия, хотя еще не прокляла революцию, но уже отошла в сторону. С рабочими оставалась только интеллигентная молодежь. Приближался декабрь. Рабочие рвались на борьбу.

В начале декабря собрался Всероссийский железнодорожный с'езд. Восстал Ростовский полк, запертый в Спасских казармах. Отовсюду приходили вести о волнениях в войсках. Разгон и арест Петербургского Совета обострили борьбу.

5 декабря Московский Комитет Р.С.-Д.Р.П. (большевики) в училище Фидлера собрал общегородскую конференцию. Предстояло разрешить какой-то небольшой организационный вопрос. Вдруг кем-то из рабочих ставится в порядке дня немедленное вооруженное выступление. Комитет заявляет, что он не обсуждал этого вопроса и что поэтому не может высказать своего мнения. Решают спросить районы и отдельные заводы. Разбиваются на группы и перестраиваются по районам. Опрос длился несколько часов. В зале крайнее напряжение, слышно затаенное дыхание соседа.

— Рабочие рвутся в бой, оружия нет!

— Рабочие выступят сами, если Комитет их не позовет!

— На заводе имеется десяток револьверов...

— Рабочие куют кинжалы и копья,—удержать их нельзя!

Выходит военный организатор. Он бледен и заметно волнуется. Он говорит, что московские солдаты, что даже казаки, даже офицеры стрелять в народ не станут. Войска волнуются. Войска готовы перейти на сторону народа, но у них отобраны винтовки.

Две речи: «за» и «против». Голосование. Подымается лес рук «за». Вопрос решен. Напутственная речь т. Землячки:

— Здесь прозвучал похоронный гимн. Своим голосованием вы обрекли себя на заклание... Но вопрос решен. Те, которые против, те умрут вместе с вами, товарищи! Вперед, на бой! В районы!

Несколько горячих и подымающих слов другого оратора. Помню отрывок фразы:

— Пусть черный бог буржуазии помогает ей в начинающейся борьбе! Мы победим одни, только силою своих рук и своей сплоченности.

Проходит три дня, и вся Москва замерла в параличе. Буржуазия поспешно запасалась провизией, свечами, водой. Обыватели наполняли ванны, кувшины и банки. Пролетариат скрестил руки, и все замерло в летаргии. К резолюции конференции присоединился Совет Рабочих депутатов и Всероссийский железнодорожный с'езд. Замерла вся Россия. Остановилась жизнь.

Так замирает ветер перед грозой.

В районах чувствуется какое-то колебание. Забастовка проходит легко. Звучат горячие речи на митингах. Масса слушает, но не выходит на улицу.

Митинг в Аквариуме... Эхом отдаются голоса ораторов от обледеневших от дыхания стен. Внезапно врывается отряд казаков и полиции. Обыскивают при выходе, бьют, ищут оружия. Боевой дружине удается уйти.

Расстрел дома Фидлера... Артиллерия... Начали *они*. Они первые напали, не выдержав ожидания. Электрическая волна проносится по районам и решает исход событий. Забастовка переходит в восстание. Дружинники снимают, как воробьев, городовых по углам улиц.

Перепуганная полиция исчезла, переоделась в штатское и попряталась по участкам или квартирам.

Бомба в окно охранного отделения. Дубасов заперся в Кремле. Железнодорожная дружина захватывает вокзалы. Население под вечер выходит на очищенные от полиции улицы. Снимают с петель ворота, таскают со двора дрова. Строят баррикады. На требование лопаты и лома дворник отвечает ругательствами, но через несколько минут, вместе с другими, тащит всякий мусор, пилит телеграфные столбы и указывает проходные дворы.

К утру Москва ощетинилась и сделалась непроезжей. Тысячи баррикад выросли на пути ожидаемых казаков. Но они почти безлюдны, защитников мало: нет оружия. Три-четыре тысячи револьверов на весь город...

Дубасов перепуган и бессилен. С огромным напряжением полиции и сотне казаков удается отстоять Тверскую и центр. От Страстного трещат пулеметы. Положение неопределенное. Обе стороны не в силах предпринять что-нибудь решительное. Обе выжидают.

Проходит громовая весть, что в Петербурге и на Николаевской дороге неблагополучно. Петербург забастовал, но недружно. Истощенный в ноябрьской забастовке и борьбе за восьмичасовой рабочий день, он не может с необходимой энергией поддержать Москву. Николаев-

ская линия продолжает работать. Приезжают пьяные, озверелые семеновцы. Пушки и пулеметы... Расстрел зданий, приютивших дружинников... Разгром и пожар героической Пресни... Отступление дружинников... Трупы... Миновская карательная экспедиция... Трупы... Волна падает... Бегство рабочих из Москвы... Еще год революционной борьбы. После переменного успеха и ряда усилий правительству удается удержать за собой армию. Революция подавлена. (Сб. «Дек. восст. в Москве»).

Н. Норов.

Уроки московского восстания

...Главной формой декабрьского движения в Москве была мирная забастовка и демонстрации. Громадное большинство рабочей массы активно участвовало только в этих формах борьбы. Но именно декабрьское выступление в Москве показало воочию, что всеобщая стачка, как самостоятельная и главная форма борьбы, изжила себя, что движение со стихийной, неудержимой силой вырывается из этих узких рамок и порождает высшую форму борьбы, — восстание.

Все революционные партии, все союзы в Москве, об'являя стачку, сознавали и даже чувствовали неизбежность превращения ее в восстание. Было постановлено 6 декабря Советом Рабочих Депутатов «стремиться перевести стачку в вооруженное восстание». Но на самом деле все организации были неподготовлены к этому, даже коалиционный Совет боевых дружин говорил (9 декабря!) о восстании, как о чем-то отдаленном, и уличная борьба, несомненно, шла через его голову и помимо его участия. Организации *отстали* от роста и размаха движения.

Забастовка выростала в восстание, прежде всего, под давлением об'ективных условий, сложившихся после октября. Правительство нельзя уже было застигнуть врасплох всеобщей стачкой, оно уже сорганизовало готовую к военным действиям контр-революцию. И общий ход русской революции после октября и последовательность событий в Москве в декабрьские дни поразительно подтвердили одно из глубоких положений Маркса: революция идет вперед тем, что создает сплоченную и крепкую контр-революцию, т.-е. заставляет врага прибегать к все более крайним средствам защиты, и вырабатывает, таким образом, все более могучие средства нападения.

7 и 8 декабря: мирная забастовка, мирные демонстрации масс. 8 вечером: осада Аквариума. 9 днем: избиение толпы драгунами на Страстной площади. Вечером—разгром дома Фидлера. Настроение поднимается. Уличная, неорганизованная толпа, совершенно стихийно и неуверенно, строит первые баррикады.

10: начало артиллерийской стрельбы по баррикадам и по улицам в толпу. Постройка баррикад становится уверенной и не единичной уже, а, безусловно, массовой. Все население на улицах; весь город в главных центрах покрывается сетью баррикад. Развертывается в течение нескольких дней упорная партизанская борьба дружинников с войсками,

борьба, истомившая войска и заставившая Дубасова молить о подкреплениях. Лишь к 15 декабря перевес правительственных сил стал полным, и 17 семеновцы разгромили Пресню—последний оплот восстания.

От стачки и демонстраций к единичным баррикадам. От единичных баррикад к массовой постройке баррикад и к уличной борьбе с войском. Через голову организаций массовая пролетарская борьба перешла от стачки к восстанию. В этом величайшее историческое приобретение русской революции, достигнутое декабрем 1905 года,—приобретение, купленное, как и все предыдущие, ценой величайших жертв. Движение поднято от всеобщей политической стачки на высшую ступень. Оно заставило реакцию дойти *до конца* в сопротивлении и тем приблизило в гигантской степени тот момент, когда революция тоже дойдет до конца в применении средств наступления. Реакции *некуда* итти дальше артиллерийского расстрела баррикад, домов и уличной толпы. Революции есть еще куда итти дальше московских дружинников, очень и очень есть куда итти вширь и вглубь. И революция ушла далеко вперед с декабря. Основа революционного кризиса стала неизмеримо более широкой—лезвие должно быть отточено теперь острее.

Перемену в об'ективных условиях борьбы, требовавшую перехода от стачки к восстанию, пролетариат почувствовал раньше, чем его руководители. Практика, как и всегда, шла впереди теории. Мирная стачка и демонстрации сразу перестали удовлетворять рабочих, спрашивавших: что же дальше,—требовавших более активных действий. Директива строить баррикады пришла в районы с громадным опозданием, когда в центре уже строили баррикады. Рабочие массами взялись за дело, но *не удовлетворились* и им, спрашивали, что же дальше?—требовали активных действий. Мы, руководители с.-д. пролетариата, оказались в декабре похожими на того полководца, который так нелепо расположил свои полки, что большая часть его войска не участвовала активно в сражении. Рабочие массы искали и не находили директив относительно активных массовых действий.

Таким образом нет ничего более близорукого, как подхваченный всеми оппортунистами взгляд Плеханова, что нечего было начинать несвоевременную стачку, что «не нужно было браться за оружие». Напротив, нужно было более решительно, энергично и наступательно браться за оружие, нужно было раз'яснять массам невозможность одной только мирной стачки и необходимость бесстрашной и беспощадной вооруженной борьбы. И теперь мы должны, наконец, открыто и во всеуслышание признать недостаточность политических забастовок, должны агитировать в самых широких массах за вооруженное восстание, не прикрывая этого вопроса никакими «предварительными ступенями», не набрасывая никакого флера. Скрывать от масс необходимость отчаянной, кровавой, истребительной войны, как непосредственной задачи грядущего выступления, значит обманывать и себя, и народ.

Таков первый урок декабрьских событий. Другой урок касается характера восстания, способа ведения его, условий перехода войск на сторону народа. У нас в правом крыле партии сильно распространен крайне односторонний взгляд на этот переход. Нельзя, дескать, бороться

против современного войска, нужно, чтобы войско стало революционно. Разумеется, если революция не станет массовой и не захватит самого войска, тогда не может быть и речи о серьезной борьбе. Разумеется, работа в войске необходима. Но нельзя представлять себе этот переход войска в виде какого-то простого, единичного акта, являющегося результатом убеждения с одной стороны и сознания—с другой. Московское восстание наглядно показывает нам шаблонность и мертвенность такого взгляда. На деле неизбежное, при всяком истинно народном движении, колебание войска приводит при обострении революционной борьбы к настоящей *борьбе за войско*. Московское восстание показывает нам именно самую отчаянную, самую бешеную борьбу реакции и революции за войско. Дубасов сам заявил, что только 5 тысяч московского войска из 15 надежны. Правительство удерживало колеблющихся самыми разнообразными, самыми отчаянными мерами: их убеждали, им льстили, их подкупали, раздавая часы, деньги и т. п., их спаивали водкой, их обманывали, их запугивали, их запирали в казармы, их обезоруживали, от них выхватывали предательством и насилием солдат, предполагаемых наиболее ненадежными. И надо иметь мужество прямо и открыто признать, что мы оказались в этом отношении позади правительства. Мы не сумели использовать имевшихся у нас сил для такой же активной, смелой, предприимчивой и наступательной борьбы з колеблющееся войско, которую повело и провело правительство. Мы готовили и будем еще упорнее готовить идейную «обработку» войска. Но мы окажемся жалкими педантами, если забудем, что в момент восстания нужна также и физическая борьба за войско.

Московский пролетариат дал нам в декабрьские дни великолепные уроки идейной «обработки» войска,—например, 8 декабря на Страстной площади, когда толпа окружила казаков, смешалась с ними, браталась с ними и побудила уехать назад. Или 10 на Пресне, когда две девушки-работницы, несшие красное знамя в 10.000-й толпе, бросились навстречу казакам с криками: «Убейте нас, живыми мы знамя не отдадим». И казаки смутились и ускакали при криках толпы: «Да здравствуют казаки!». Эти образцы отваги и геройства должны навсегда быть запечатлены в сознании пролетариата.

Но вот примеры нашей отсталости от Дубасова. 9 декабря по Б. Серпуховской улице идут солдаты с марсельезой присоединяться к восставшим. Рабочие шлют делегатов к ним. Малахов, сломя голову, скачет сам к ним. Рабочие опоздали, Малахов приехал во-время. Он сказал горячую речь, он поколебал солдат, он окружил их драгунами, отвел в казармы и запер там. Малахов успел приехать, а мы не успели, хотя в два дня по нашему призыву встало 150.000 человек, которые могли и должны были организовать патрулирование улиц. Малахов окружил солдат драгунами, а мы не окружили Малаховых бомбистами. Мы могли и должны были сделать это, и с.-д. печать давно уже (старая «Искра») указывала на то, что беспощадное истребление гражданских и военных начальников есть наш долг во время восстания. То, что произошло на Б. Серпуховской улице, повторилось, видимо, в главных чертах и перед Несвижскими казармами и перед Крутицкими, и при

попытках пролетариата «снять» екатеринославцев, и при посылке делегатов к саперам в Александров, и при возвращении назад отправленной было в Москву ростовской артиллерии, и при обезоружении саперов в Коломне и так далее. В момент восстания мы были не на высоте задачи в борьбе за колеблющееся войско.

Декабрь подтвердил наглядно еще одно глубокое и забытое оппортунистами положение Маркса, писавшего, что восстание есть искусство, и что главное правило этого искусства—отчаянно-смелое, беспоповоротно-решительное *наступление*. Мы недостаточно усвоили себе эту истину. Мы недостаточно учились сами и учили массы этому искусству, этому правилу наступления во что бы то ни стало. Мы должны наверстать теперь упущенное нами со всей энергией. Недостаточно группировок по отношению к политическим лозунгам, необходима еще группировка по отношению к вооруженному восстанию. Кто против него, кто не готовится к нему,—того надо беспощадно выкидывать вон из числа сторонников революции, выкидывать к противникам ее, предателям или трусам, ибо близится день, когда сила событий, когда обстановка борьбы заставит нас разделять врагов и друзей по этому признаку. Не пассивность должны проповедывать мы, не простое «ожидание» того, когда «перейдет» войско,—нет, мы должны звонить во все колокола о необходимости смелого наступления и нападения с оружием в руках, о необходимости истребления при этом начальствующих лиц и самой энергичной борьбы за колеблющееся войско.

Третий великий урок, который дала нам Москва, касается тактики и организации сил для восстания. Военная тактика зависит от уровня военной техники,—эту истину разжевал и в рот положил марксистам Энгельс. Военная техника теперь не та, что была в половине XIX в. Против артиллерии действовать толпой и защищать с револьверами баррикады было бы глупостью. И Каутский прав был, когда писал, что пора пересмотреть после Москвы выводы Энгельса, что Москва «выдвинула *новую баррикадную тактику*». Эта тактика была тактикой партизанской войны. Организацией, которая обусловлена такой тактикой, были подвижные и чрезвычайно мелкие отряды: десятки, тройки, даже двойки. У нас часто можно встретить теперь социал-демократов, которые хихикают, когда речь заходит о пятках и тройках. Но хихиканье есть только дешевенький способ закрыть глаза на новый вопрос о тактике и организации, вызываемой уличной борьбой при современной военной технике. Вчитайтесь в рассказ о московском восстании, господа, и вы поймете, какую связь имеют «пятки» с вопросом о «новой баррикадной тактике».

Москва выдвинула ее, но далеко не развила, далеко не развернула в сколько-нибудь широких, действительно, массовых размерах. Дружинников было мало, рабочая масса не получала лозунга смелых нападений и не применила его, характер партизанских отрядов был слишком однообразен, их оружие, их приемы недостаточны, их уменье руководить толпой почти не развито. Мы должны наверстать все это, и мы наверстаем, учась из опыта Москвы, распространяя этот опыт в массах, вызывая творчество самих масс в деле дальнейшего развития этого опыта. И та партизанская война, тот массовый террор, который идет в Рос-

сии повсюду почти непрерывно после декабря, несомненно, помогут научить массы правильной тактике в момент восстания. Социал-демократия должна признать и принять в свою тактику этот массовый террор, разумеется, организуя и контролируя его, подчиняя интересам и условиям рабочего движения и обще-революционной борьбы, устраняя и отсекая беспощадно то «босяческое» извращение этой партизанской войны, с которым так великолепно и так беспощадно расправлялись москвичи в дни восстания и латыши в дни пресловутых латышских республик.

Военная техника в самое последнее время делает еще новые шаги вперед. Японская война выдвинула ручную гранату. Оружейная фабрика выпустила на рынок автоматическое ружье. И то и другое начинает уже с успехом применяться в русской революции, но далеко в не достаточных размерах. Мы можем и должны воспользоваться усовершенствованием техники, научить рабочие отряды готовить массами бомбы, помочь им и нашим боевым дружинам запастись взрывчатыми веществами, запалами и автоматическими ружьями. При участии рабочей массы в городском восстании, при массовом нападении на врага, при решительной умелой борьбе за войско, которое еще более колеблется после Думы, после Свеаборга и Кронштадта, при обеспеченном участии деревни в общей борьбе—победа будет за нами в следующем всероссийском вооруженном восстании!

Будем же шире развертывать нашу работу и смелее ставить свои задачи, усваивая уроки великих дней российской революции. В основе нашей работы лежит верный учет интересов классов и потребностей общенародного развития в данный момент. Вокруг лозунга: «свержение царской власти и созыв революционным правительством Учредительного Собрания» мы группируем и будем группировать все большую часть пролетариата, крестьянства и войска. Развитие сознания масс остается, как и всегда, базой и главным содержанием всей нашей работы. Но не забудем, что к этой общей, постоянной и основной задаче моменты, подобные переживаемому Россией, прибавляют особые специальные задачи. Не будем превращаться в педантов и филистеров, не будем отговариваться от этих особых задач момента, от этих специальных задач данных форм борьбы посредством бессодержательных ссылок на наши всегдашние и неизменные при всех условиях, во все времена, обязанности.

Будем помнить, что близится великая массовая борьба. Это будет вооруженное восстание. Оно должно быть, по возможности, единовременно. Массы должны знать, что они идут на вооруженную, кровавую, отчаянную борьбу. Презрение к смерти должно распространиться в массах и обеспечить победу. Наступление на врага должно быть самое энергичное; нападение, а не защита, должно стать лозунгом масс, беспощадное истребление врага—станет их задачей; организация борьбы сложится подвижная и гибкая; колеблющиеся элементы войска будут втянуты в активную борьбу. Партия сознательного пролетариата должна выполнить свой долг в этой великой борьбе. («Пролетарий» № 2, 29 августа 1906 г.)

Н. Ленин.

* * *

Я надену черную рубаху,
И вослед за мутным фонарем
По камням двора пройду на плаху
С молчаливо ласковым лицом.

Вспомню маму, крашеную прялку,
Синий вечер, дрему паутин,
За окном ночующую галку,
На окне любимый бальзамин.

Луговин поемные просторы,
Тишину обкошенной межи,
Облаков жемчужные узоры
И девичью песенку во ржи:

Узкая полосынька
Клинышком сошлась,—
Не во время косынька
На две расплелась.

Развилась по спинушке,
Как льняная плеть, —
Не тебе—детинушке
Девушкой владеть.

Деревца вилавого
С маху не срубить,—
Парня разудалого
Силой не любить.

Белая березынька
Клонится к дождю...
Не кукуй, загозынька,
Про судьбу мою...

Но прервут куранты [1]) крепостные
Песню—думу боем роковым...
Бред души! То заводи речные
С тростником поют береговым.

Сердца сон кромешный, как могила!
Опустил свой парус рыбарь—день.
И слезятся жалобно и хило
Огоньки прибрежных деревень.

Н. Клюев.

[1]) Часы в Петропавловской крепости, игравшие „Коль славен"...

Цветы казненных

Где гладью манят косогоры
На зноем выжженых полях,
Цветут зловеще мандрагоры
На низких, струпчатых столбах,
Где даль так дивно хороша,
Цветут, могилою дыша.

Гласит преданье, что когда-то
Здесь жгли и вешали бойцов,
Бесстрашно гибнувших за брата
И смерть приявших за отцов,
Что долго с мукой на устах
Качались трупы на столбах.

И гной с них каплями срывался
И вниз стекал, и, как укор,
На месте этом появлялся
Пучок печальных мандрагор.
Кивая кроною [1]) своей,
Цвели, как знак кровавых дней.

Но если кто-нибудь касался,
Чтоб корни вырвать из земли,
Они кричали, и метался
Их крик болезненный вдали.
Стонало сонное окрест,
Как плач покинутых невест.

Как память прошлых вакханалий [2])
На кровью залитых мечтах,
Как память павших, что блистали
Нетленным солнцем в небесах...
Где гладью манят косогоры,
Цветут и рдеют мандрагоры.

И. Ионов.

---

[1]) Верхушка цветка.
[2]) Шумные древне-греческие празднества в честь бога Вакха, бога вина. Вообще—безудержное, почти безумное веселье.

ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

В годы империалистической войны 1914—1917 г.г.

Ты идешь сражаться

Ты идешь сражаться,
Покидая
Мастерские, заводы, конторы, верфи, —

Покидая, крестьянин,
Свой плуг, между борозд, лезвиями кверху,
На корню посевы, на лозах гроздья.
И быков, мычащих к тебе с поля, —

Покидая, приказчик, твоих сударынь,
Их перчатки, их юбки, их флаконы,
Их наглые речи, их светские манеры,
Покидая твою столь любезную улыбку, —

И ты, рудокоп, покидая шахты,
Где ты выхаркивал легкие
Черной мокротой, —

И ты, стекольщик, покидая плавильню,
Цепко держащую твои безумные взоры, —

И ты, солдат покидая казарму,
И глупый двор, где томят тоскою,
И глупую жизнь, где тебя обучают
Покрепче забыть привычное дело;
Покидая улицу веселых притонов,
И пьяный кабак, и проституток,

Ты идешь сражаться.

Ты идешь сражаться?
Ты бросаешь свой облик, ты нужду бросаешь,
Ты бросаешь инструмент, служащий хозяину,
Ты идешь сражаться?

Уж не против ли этого тебя родившего буржуа,
Что иногда приезжает к тебе в деревню,
Мальчик при ферме, смотрящий за плугом,
И любит давать тебе советы,

Читая своему отвергнутому чаду
Маленькую проповедь о милосердии?

Уж не против ли этого кавалера дамы,
Что платила за твою любезную улыбку
Продавца, служащего за сто франков в месяц,
Покупая заказные платья,
Изготовленные в мансардах?

Уж не против ли этого акционера копей,
Иль против владельца стекольного завода?

Уж не против ли этого фата в визитке,
Пришедшего в свет, чтобы развратничать с мальчиками
В отдельных кабинетах,
И чтобы пьянствовать с твоими девушками,
Выпивая твое вино, виноградарь,
Из твоего стакана, рабочий-стекольщик?

Уж не против ли тех, кто в своих казармах
Тебя муштровал, чтоб ты был защитой
Их шкурам и их владеньям,
Против хилой тени восстанья,
Которое в шахтах, или на фабриках,
Или на верфях поднять не могли бы
Твои братья, твои братья, рабочий?

Бедняк, ты идешь сражаться?
Против богатых? Против хозяев?
Против тех, что едят твою долю?
Против тех, что едят твои годы?
Против откормленных, что пожирают
Долю и жизнь твоих малюток?
Против тех, у кого есть авто,
У кого есть лакеи, у кого есть виллы, —
Авто, обдающие твою блузу грязью,
Виллы, на которые ты глядишь сквозь решетку,
Лакеи, глумящиеся над твоей рабочей курткой?

Ты идешь сражаться за твой кусок хлеба?
За твою мысль и за твое сердце?
За твоих ребятишек или за мать их?
Против тех, что тебя обобрали,
Против тех, что тебя осмеяли,
Против тех, что тебя загрязнили
Своим милосердием, своей клеветою?
Бедный дряхлец, бедный согбенец,
Бедный бунтарь, ты идешь сражаться

Против создавших тебе нищую душу,
Сердце отчаявшегося и сердце поверженного?

О, бедняк, рабочий, крестьянин,

Вместе с создавшими тебе нищую душу,
Вместе с богатыми, вместе с хозяином,
Вместе с расстреливавшими тебя на стачках,
Чтобы уменьшить твою заработную плату,

За тех, кто построил для тебя вокруг фабрик
Храмы и тюрьмы, —
Кто заставил плакать у опустевшего шкафа
Твоих малюток и жену без хлеба, —

За тех, кто создал тебе нищую душу,
Чтоб ты на них один работал,
И чтоб не смущали их великое сердце
Слезы их родины, —

Чтобы сам ты крепче забыл свою долю.
О, бедняк, крестьянин, рабочий,
Вместе с богатым, вместе с хозяином
Против ограбленных, против раздавленных,
Против таких же, против себя же
Ты идешь сражаться, ты идешь сражаться,

Что-ж, — иди!

На конгрессах вы жали друг другу руки,
Товарищи. Общая кровь текла по общему телу:
Лондон, Берлин, Париж, Вена, Москва, Брюссель —
Все собирались там; единый народ рабочих
Там собрался; старый мир, угнетатель и варвар,
Чуя уже над собой нажим ваших сомкнутых рук,
Трепетал, различая, как там, в глубине, поднимаются
Сквозь его неравенство, сквозь его тиранию,
Голоса справедливости и освобождения, —
Вчера.

Созидатели городов, — свободные, гордые души —
Прямые сердца, — вы там были, братья по оружию, стоя,
Слитые вместе перед общим врагом —
Вчера.

А сегодня? Сегодня, как и вчера,
Лондон, Берлин, Париж, Вена, Москва, Брюссель, —
Снова вы там; единый народ рабочих
Там. Да, он там, этот народ рабов,
Этот народ хвастунов и клятвопреступных братьев.

Эти руки, что ты пожимал,
Теперь держат крепко винтовку,
Пики и сабли,

Теперь они ставят пушки,
Снарядные ящики и пулеметы, —
Против тебя.
И у тебя, у тебя тоже есть пулеметы,
И ты тоже крепко держишь винтовку,
Против такого ж, как ты.

Работай, рабочий!
Металлист из Крезо, пред тобой
Такой же металлист из Эссена —
Убей его!
Рудокоп из Сакса, пред тобой
Такой же рудокоп из Лепса —
Убей его!
Докер из Гавра, пред тобой
Такой же докер из Бремена —
Убей же, убей, убейте друг друга, —

Работай, рабочий! «

О, взгляни себе на руки.
О, бедняк, рабочий, крестьянин,
Взгляни на свои тяжелые, черные руки,
Взгляни ослабевшими красными глазами
На твоих дочерей, на их бледные щеки,
На твоих сыновей, на их хилые руки,
Взгляни на их помертвевшее сердце,
И на старую жену, — взгляни на лицо ее,
Что уже двадцать лет с тобою рядом,
И на ее жалкое тело, и на увядшую душу,
И еще вот на это перед тобою, —
Взгляни на эту общую яму,
Там отец твой и мать, и там друзья твои —

И теперь, и теперь,
Иди сражаться.

М. Мартинэ.

Орудия гремят

(Отрывок из романа „9 ноября")

Слышишь?
Орудия гремят.
Они изодрали внутренности земли. День и ночь облитые потом тела роются в мрачных шахтах в ее глубинах, не умолкая во всех частях света звенят вагонетки. Доменные печи изрыгают огонь на континент, потоки жидкого металла выливаются в формы: орудия, гранаты...
Они раздирают свои мозги: инженеры и химики не спят больше: все новые машины, все новые взрывчатые вещества и газы, все страш-

нее... Сотни и миллионы думают только об уничтожении, вынашивают смерть. Народы земли стали народами-убийцами.

День и ночь рассекают винты пароходов морские волны, —вперед! День и ночь мчатся по Европе поезда, — вперед! Колеблется море и дрожит земля. Люди, лошади, скот, леса,—блага земли, сокровища мира. У всех теперь одна цель.

Туда!

Туда, где люди, лошади, скот, леса, блага земли, сокровища мира превращаются в прах, — туда!

Реки красны от крови, окрасились кровью, по морю носятся острова трупов. Франция превращается в пустыню, Германия—в кладбище, весь мир — в лазарет.

Вперед, солдаты! Теперь должно решиться... Пушки решат все проблемы...

Серый автомобиль несется по раскаленным улицам Берлина. Заседания, совещания... Швертфегер вытирает пот с грязного лица. И он лишился отпуска, но ведь он был всего лишь шофером и мог только на коленях благодарить бога за то, что ему не надо отправляться туда, где разверзаются дороги, изрыгая огонь.

Серый автомобиль мчался по Унтерденлинден. Устало полузакрыв глаза, смотрел генерал на улицу и зевал.

Вдруг по дорожке для верховых несется галопом всадник, пешеходы, как по команде, останавливаются и глазеют...

Одним движением выпрямился генерал...

Неслыханно!

Среди белого дня на Унтерденлинден!..

Никогда не мог он допустить ничего подобного!..

Несколько молодых парней и девушек, быть может, около сотни, бежали вдоль по улице и кричали. Струйка людей мчится по Унтерденлинден. Но разве слыханая вещь кричать на Унтерденлинден, обращать на себя внимаие всех?

Генерал беспокойно задвигался на месте и гневно выглянул в окно. Кулаки парней и девушек протянулись к нему и затряслись угрожающе. Растерявшись, откинул генерал голову. Что случилось?.. что?!. Все они кричали одно и то же слово, все одно и то же ... он не понимал... он боялся верить, что они кричат это слово... это невозможно!..

На верху около замка он вдруг стал серьезен. Цепь городовых преградила им дорогу... Молодой парень пытается... Но сабля уже блестит в воздухе... вот он лежит...

— Бейте их! — закричал генерал. Лицо его было багровое...

А правительство? Генерал свирепо засмеялся, за согнутой спиной Швертфегера.

Правительство?

Оно спит!..

Зеваки на тротуарах двинулись дальше. Струйка людей разбежалась. Ничего не произошло особенного...

Серый автомобиль несся дальше: заседания, совещания... Резервы! Подкрепления! Продовольствие! Снабжение! Лошади! Заседания за заседанием...

Вперед, солдаты!..

Кипит сражение, грохочут орудия, сражайтесь, умирайте!..

Дивизионер хмурит лоб у телефона. Командир бледнеет с полевым биноклем у глаз. Наступление на правом фланге приостановилось: вперед, артиллерия, уж коль на то пошло, собственный огонь погонит вас вперед, подождите!

Сражайтесь, умирайте! Глаза всего мира обращены на вас! Колеблется биржа, падают бумаги... Ведь вы же не станете... возлюбленные герои! Да! Герои! Три марки, три франка, три шиллинга, три доллара в день! Ордена, отличия, триумфальные арки, протезы... вы ж знаете наши тарифы? Вы же не... Кали, уголь, колонии...

Стучит биржевой телеграф день и ночь, он уже волнуется. Где-то что-то рассыпалось, что-то трещит; он стучит, ах, это ужасное возбужденное тиканье! Вы, к сожалению, его не слышите среди пушечного грома. Не слышите, как биржи Берлина, Парижа, Рима, Нью-Йорка... Вот уже один банкрот пустил себе пулю в лоб... а вы колеблетесь!..

Императоры и короли грезят торжественным в'ездом в ликующие столицы. Президенты мечтают о той минуте, когда они высоко подымут свои цилиндры среди восторженных рукоплесканий толпы.

Императрица... собственноручно... супруга президента, собственноручно... прикрепляет жестяную монетку на вашей простреленной груди.

Вперед, дорогие, прекрасные, несравненные!!!

Старцы, направляющие мировую историю, покашливают за обитыми дверьми в свои холодные восковые кулачки. Они сидят у длинных полированных столов, с розовато-красными детскими щечками, нетерпеливо барабанят ногтями... безукоризненные секретари скользят на цыпочках по блестящему паркету... Старцы царапают перьями, бросают повелительные взгляды... и каждое их слово означает смерть, каждый росчерк пера, каждая улыбка... смерть, смерть... а они живут...

Месяцы, годы мерцает до самого неба пыльная туча над побоищем. Дождь черной кровью падает с неба, апокалипсические всадники несутся над облаками и выливают свои чаши на Европу. Вас взвесили на весах, но вы оказались слишком легкими. Огненные письмена снарядов пылают на потемневшем небосклоне.

А в это время старцы собрались в кабинет на новое торжественное заседание. Резервы! Руки генерала дрожат. Взволнованно кидает он телеграмму обратно на письменный стол. Лихорадочный румянец покрывает его лицо.

Еще два года тому назад подал он докладную записку и только недавно опять вернулся к этой мысли. Он подхватил предложение одной патриотки доставить армии два миллиона женщин для несения караулов, для этапов, для канцелярий. Два миллиона, десять миллионов, если понадобится! Из сильных, крепких женщин можно образовать и боевые батальоны, что за вопрос! Женщины дали бы прекрасный материал. (Генерал привык говорить — «материал», как все военные.) Женщины тоже, вне всякого сомнения, кинули бы вдохновенно пушкам свое тело.

Б. Келлерман.

Манифест Ц. К. Р. С.-Д. Р. П. [1])

(1914 г.)

Европейская война, которую в течение десятилетий подготовляли правительства и буржуазные партии всех стран, разразилась. Рост вооружений, крайнее обострение борьбы за рынки в эпоху новейшей, империалистической стадии развития капитализма передовых стран, династические интересы наиболее отсталых, восточно-европейских монархий неизбежно должны были привести и привели к этой войне. Захват земель и покорение чужих наций, разорение конкурирующей нации, грабеж ее богатств, отвлечение внимания трудящихся масс от внутренних политических кризисов России, Германии, Англии и др. стран, раз'единение и националистическое одурачение рабочих и истребление их авангарда в целях ослабления революционного движения пролетариата — таковы единственное действительное содержание, значение и смысл современной войны.

На социал-демократию прежде всего ложится долг раскрыть это истинное значение войны и беспощадно разоблачить ложь, софизмы и «патриотические» фразы, распространяемые господствующими классами, помещиками и буржуазией, в защиту войны.

Во главе одной группы воюющих наций стоит немецкая буржуазия. Она одурачивает рабочий класс и трудящиеся массы, уверяя, что ведет войну ради защиты родины, свободы и культуры, ради освобождения угнетенных царизмом народов, ради разрушения реакционного царизма. А на деле именно эта буржуазия, лакействуя перед прусскими юнкерами с Вильгельмом II во главе их, всегда была вернейшим союзником царизма и врагом революционного движения рабочих и крестьян в России. На деле эта буржуазия вместе с юнкерами направит все свои усилия, при всяком исходе войны, на поддержку царской монархии против революции в России.

На деле немецкая буржуазия предприняла грабительский поход против Сербии, желая покорить ее и задушить национальную революцию южного славянства, вместе с тем направляя главную массу своих военных сил против более свободных стран, — Бельгии и Франции, чтобы разграбить более богатого конкурента. Немецкая буржуазия, распространяя сказки об оборонительной войне с ее стороны, на деле выбрала наиболее удобный, с ее точки зрения, момент для войны, используя свои последние усовершенствования в военной технике и предупреждая новые вооружения, уже намеченные и разрешенные Россией и Францией.

Во главе другой группы воюющих наций стоит английская и французская буржуазия, которая одурачивает рабочий класс и трудящиеся

---

[1]) Манифест составлен в сентябре 1914 года и, после посылки его членам Ц. К. и ответственным представителям партии в России и получения от них согласия, напечатан в № 33 Центр. органа Р. С.-Д. Р. П. „Социал-Демократ“ от 1 ноября 1914 г.

массы, уверяя, что ведет войну за родину, свободу и культуру против милитаризма и деспотизма Германии. А на деле эта буржуазия на свои миллиарды давно уже нанимала и готовила к нападению на Германию войска русского царизма, самой реакционной и варварской монархии Европы.

На деле целью борьбы английской и французской буржуазии является захват немецких колоний и разорение конкурирующей нации, отличающейся более быстрым экономическим развитием. И для этой благородной цели «передовые» демократические нации помогают дикому царизму еще более душить Польшу, Украйну и т. д., еще более давить революцию в России.

Обе группы воюющих стран нисколько не уступают одна другой в грабежах, зверствах и бесконечных жестокостях войны, но чтобы одурачить пролетариат и отвлечь его внимание от единственной действительно освободительной войны, именно гражданской войны, против буржуазии как «своей» страны, так и «чужих» стран, для этой высокой цели буржуазия каждой страны ложными фразами о патриотизме старается возвеличить значение «своей» национальной войны и уверить, что она стремится победить противника не ради грабежа и захвата земель, а ради «освобождения» всех других народов, кроме своего собственного.

Но чем усерднее стараются правительства и буржуазия всех стран раз'единить рабочих и направить их друг на друга, чем свирепее применяется для этой возвышенной цели система военных положений и военной цензуры (гораздо более преследующей даже теперь, во время войны, «внутреннего», чем внешнего врага), — тем настоятельнее долг сознательного пролетариата отстоять свое классовое сплочение, свой интернационализм, свои социалистические убеждения против разгула шовинизма «патриотической» буржуазной клики всех стран. Отказаться от этой задачи значило бы со стороны сознательных рабочих отказаться от всех освободительных и демократических, не говоря уже социалистических, стремлений.

С чувством глубочайшей горести приходится констатировать, что социалистические партии главнейших европейских стран этой своей задачи не выполнили, а поведение вождей этих партий — в особенности немецкой — граничит с прямой изменой делу социализма. В момент величайшей всемирной исторической важности большинство вождей теперешнего, второго (1889 — 1914) социалистического Интернационала пытается подменить социализм национализмом. Благодаря их поведению, рабочие партии этих стран не противопоставляли себя преступному поведению правительств, а призвали рабочий класс слить свою позицию с позицией империалистических правительств. Вожди Интернационала совершили измену по отношению к социализму, голосуя за военные кредиты, повторяя шовинистические («патриотические») лозунги буржуазии «своих» стран, оправдывая и защищая войну, вступая в буржуазные министерства воюющих стран и т. д. и т. п. Влиятельнейшие социалистические вожди и влиятельнейшие органы социалистической печати современной Европы стоят на шовинистически-буржуазной и либеральной, отнюдь не на социалистической точке зрения. Ответ-

ственность за это опозорение социализма ложится прежде всего на немецких соц.-демократов, которые были самой сильной и влиятельной партией II Интернационала. Но нельзя оправдать и французских социалистов, принимающих министерские посты в правительстве той самой буржуазии, которая предавала свою родину и соединялась с Бисмарком для подавления Коммуны.

Германские и австрийские с.-д. пытаются оправдать свою поддержку войны тем, что этим самым они будто бы борются против русского царизма. Мы, русские с.-д., заявляем, что такое оправдание считаем софизмом. Революционное движение против царизма вновь приняло в нашей стране в последние годы громадные размеры. Во главе этого движения все время шел российский рабочий класс. Миллионные политические стачки последних лет шли под лозунгом низвержения царизма и требования демократической республики. Не далее как накануне войны президент Французской республики Пуанкаре во время своего визита Николаю II сам мог видеть на улицах Петербурга баррикады, построенные руками русских рабочих. Ни перед какими жертвами не останавливался российский пролетариат, чтобы освободить все человечество от позора царской монархии. Но мы должны сказать, что если что может при известных условиях отсрочить гибель царизма, если что может помочь царизму в борьбе против всей российской демократии, так это именно нынешняя война, отдавшая на службу реакционным целям царизма денежный мешок английской, французской и русской буржуазии. И если что может затруднить революционную борьбу российского рабочего класса против царизма, так это именно поведение вождей германской и австрийской соц.-демократии, которые не перестает нам ставить в пример шовинистическая печать в России.

Если даже допустить, что недостаток сил у германской соц.-демократии был так велик, что мог заставить ее отказаться от каких бы то ни было революционных действий, — то и в этом случае нельзя было присоединиться к шовинистическому лагерю, нельзя было делать шагов, по поводу которых итальянские социалисты справедливо заявляли, что вожди германских соц.-демократов бесчестят знамя пролетарского Интернационала.

Наша партия, Российская С.-Д. Рабочая Партия, понесла уже и еще понесет громадные жертвы в связи с войной. Вся наша легальная рабочая печать уничтожена. Большинство союзов закрыто, множество наших товарищей арестовано и сослано. Но наше парламентское представительство — Российская С.-Д. Рабочая Фракция в Государств. Думе — сочло своим безусловным социалистическим долгом не голосовать военных кредитов и даже покинуть зал заседания Думы для еще более энергичного выражения своего протеста, сочло долгом заклеймить политику европейских правительств, как империалистскую. И, несмотря на удесятеренный гнет царского правительства, товарищи рабочие в России уже издают первые нелегальные воззвания против войны, исполняя долг перед демократией и Интернационалом.

Если представители революционной соц.-демократии в лице меньшинства немецких с.-д. и лучших с.-д. в нейтральных странах испыты-

вают жгучее чувство стыда по поводу этого краха II Интернационала; если голоса социалистов против шовинизма большинства с.-д. партий раздаются и в Англии и во Франции; если оппортунисты в лице, напр., германского «Социалистического Ежемесячника» («Sozialistische Monatshefte»), давно стоящие на национал-либеральной позиции, вполне законно торжествуют свою победу над европейским социализмом — то наихудшую услугу пролетариату оказывают те колеблющиеся между оппортунизмом и революционной соц.-демократией (подобно «центру» в германской с.-д. партии), которые пытаются замалчивать или прикрывать дипломатическими фразами крах II Интернационала.

Напротив, надо открыто признать этот крах и понять его причины, чтобы можно было строить новое, более прочное социалистическое сплочение рабочих всех стран.

Оппортунисты сорвали решения Штуттгартского, Копенгагенского и Базельского конгрессов, обязывавшие социалистов всех стран бороться против шовинизма при всех и всяких условиях, обязывавшие социалистов на всякую войну, начатую буржуазией и правительствами, отвечать усиленной проповедью гражданской войны и социальной революции.

Крах II Интернационала есть крах оппортунизма, который вырастивался на почве особенностей миновавшей (т.-наз. «мирной») исторической эпохи и получил в последние годы фактическое господство в Интернационале. Оппортунисты давно подготовляли этот крах, отрицая социалистическую революцию и подменяя ее буржуазным реформизмом; отрицая классовую борьбу, с ее необходимым превращением в известные моменты в гражданскую войну, и проповедуя сотрудничество классов; проповедуя буржуазный шовинизм под названием патриотизма и защиты отечества и игнорируя или отрицая основную истину социализма, изложенную еще в Коммунистическом Манифесте, что рабочие не имеют отечества; ограничиваясь в борьбе с милитаризмом сантиментально-мещанской точкой зрения вместо признания необходимости революционной борьбы пролетариев всех стран против буржуазии всех стран; превращая необходимое использование буржуазного парламентаризма и буржуазной легальности в фетишизирование этой легальности и забвения обязательности нелегальных форм организации и агитации в эпохи кризисов. Естественное «дополнение» оппортунизма, столь же буржуазное и враждебное пролетарской, т.-е. марксистской, точке зрения, анархо-синдикалистское течение ознаменовало себя не менее позорно самодовольным повторением лозунгов шовинизма во время современного кризиса.

Нельзя выполнить задачи социализма в настоящее время, нельзя осуществить действительное интернациональное сплочение рабочих без решительного разрыва с оппортунизмом и раз'яснения массам неизбежности его фиаско.

Задачей соц.-демократии каждой страны должна быть в первую голову борьба с шовинизмом данной страны. В России этот шовинизм всецело охватил буржуазный либерализм («кадеты») и частью народников вплоть до с.-р. и «правых» с.-д. (В особенности обязательно заклеймить шовинистские выступления, напр., Е. Смирнова, П. Ма-

слова и Г. Плеханова, подхваченные и широко используемые буржуазно-«патриотической» печатью).

При данном положении нельзя определить с точки зрения международного пролетариата, поражение которой из двух групп воюющих наций было бы наименьшим злом для социализма. Но для нас, русских соц.-демократов, не может подлежать сомнению, что с точки зрения рабочего класса и трудящихся масс всех народов России наименьшим злом было бы поражение царской монархии, самого реакционного и варварского правительства, угнетающего наибольшее количество наций и наибольшую массу населения Европы и Азии.

Ближайшим политическим лозунгом соц.-демократии Европы должно быть образование республиканских Соединенных Штатов Европы, при чем в отличие от буржуазии, которая готова «обещать» что угодно, лишь бы вовлечь пролетариат в общий поток шовинизма, соц.-демократы будут раз'яснять всю лживость и бессмысленность этого лозунга без революционного низвержения монархий германской, австрийской и русской [1]).

В России задачами соц.-демократии в виду наибольшей отсталости этой страны, не завершившей еще своей буржуазной революции, должны быть попрежнему три основные условия последовательного демократического преобразования: демократическая республика при полном равноправии и самоопределении всех наций, конфискация помещичьих земель и 8-часовой рабочий день. Но во всех передовых странах война ставит на очередь лозунг социалистической революции, который становится тем насущнее, чем больше ложатся тяжести войны на плечи пролетариата, чем активнее должна будет стать его роль при воссоздании Европы, после ужасов современного «патриотического» варварства, в обстановке гигантских технических успехов крупного капитализма.

Использование буржуазией законов военного времени для полного затыкания рта пролетариату ставит перед ним безусловную задачу создания нелегальных форм агитации и организации. Пусть «оппортунисты» «берегут» легальные организации ценой измены своим убеждениям, революционные соц.-демократы используют организационные навыки и связи рабочего класса для создания соответствующих эпохе кризиса нелегальных форм борьбы за социализм и сплочения рабочих не с шовинистской буржуазией своей страны, а с рабочими

---

[1]) Требование Соединенных Штатов Европы, как его выдвинул манифест Ц. К., сопроводивший его призывом к низвержению монархии России, Австрии, Германии—отличается от пасифистского толкования этого лозунга Каутским и другими. В № 44 Центрального Органа нашей партии „Социал-Демократ“ помещена редакционная статья, в которой доказана экономическая неправильность лозунга „Соединенных Штатов Европы“. Либо это—требование, неосуществимое при капитализме, предполагающее установление планомерности мирового хозяйства при разделе колоний, сфер влияния и проч., между отдельными странами. Либо это—лозунг реакционный, означающий временный союз великих держав Европы для более успешного угнетения колоний и ограбления более быстро развивающихся Японии и Америки.

Это примечание редакции „Социал-Демократа“ относится ко второй половине 1915 г. *Прим. ред. „Р. К. П. в резол. ее с'ездов и т. д.“. 1922 г.*

всех стран. Пролетарский Интернационал не погиб и не погибнет. Рабочие массы через все препятствия создадут новый Интернационал. Нынешнее торжество оппортунизма недолговечно. Чем больше будет жертв войны, тем яснее будет для рабочих масс измена рабочему делу со стороны оппортунистов и необходимость обратить оружие против правительств и буржуазии каждой страны.

Превращение современной империалистской войны в гражданскую войну есть единственно правильный пролетарский лозунг, указываемый опытом Коммуны, намеченный Базельской (1912 г.) резолюцией и вытекающий из всех условий империалистской войны между высоко развитыми буржуазными странами. Как бы ни казались велики трудности такого превращения в ту или иную минуту, социалисты никогда не откажутся от систематической, настойчивой, неуклонной подготовительной работы в этом направлении, раз война стала фактом.

Только на этом пути пролетариат сможет вырваться из своей зависимости от шовинистской буржуазии и, в той или иной форме, более или менее быстро, сделать решительные шаги по пути к действительной свободе народов и по пути к социализму.

Да здравствует международное братство рабочих против шовинизма и патриотизма буржуазии всех стран!

Да здравствует пролетарский Интернационал, освобожденный от оппортунизма!

Центральный комитет Рос. С.-Д. Рабочей Партии.

Манифест Интернациональной Социалистической Конференции в Циммервальде (Швейцария)

Пролетарии Европы!

Более года длится война. Миллионы трупов покрывают поля сражений, миллионы людей превращаются на всю жизнь в калек. Европа превратилась в гигантскую человеческую бойню. Трудами многих поколений созданная культура отдана на расточение. Самое дикое варварство торжествует ныне свою победу над всем, что составляло гордость человечества.

Какова бы ни была правда относительно непосредственной ответственности за возникновение войны — одно несомненно: война, породившая этот хаос, является плодом империализма, то-есть стремления капиталистических классов каждой нации питать свою жажду прибыли эксплуатацией человеческого труда и естественных богатств всего мира.

Хозяйственно отсталые или политически слабые нации попадают при этом в кабалу к великим державам, которые стремятся в этой войне кровью и железом, в соответствии со своими интересами, перекроить заново карту Европы. Целым народам и странам, как Бельгия, Польша, балканские государства, Армения, грозит судьба стать предметом торговли в игре компенсаций и быть аннексированными целиком или кусками.

Движущие силы войны обнажаются в ее течении во всей своей низменности. Лоскут за лоскутом спадает тот покров, который должен был скрывать смысл мировой катастрофы от сознания народов. Капиталисты всех стран, которые из пролитой народной крови чеканят червонное золото барыша, утверждают, что война служит защите отечества, демократии, освобождению угнетенных народов. Они лгут. На самом деле они погребают на полях опустошений свободу собственного народа вместе с независимостью других наций. Новые путы, новые цепи, новые тяготы вырастают из войны, и пролетариату всех стран, победоносных, как и побежденных, придется влачить их на себе. Под'ем благосостояния был возвещен при начале войны — нужда и лишения, безработица и дороговизна, голод и эпидемии являются действительным последствием ее. Военные расходы будут в течение десятилетий поглощать лучшие силы народов, угрожая уже завоеванным социальным реформам и препятствуя каждому шагу вперед.

Культурное опустошение, экономический упадок, политическая реакция — таковы благословенные плоды этой ужасающей резни народов.

Так война раскрывает подлинную сущность новейшего капитализма, который стал несовместимым не только с интересами рабочих масс, не только с потребностями исторического развития, но и с элементарнейшими условиями человеческого общежития.

Правящие силы капиталистического общества, в руках которых покоились судьбы народов, — монархические, как и республиканские правительства, тайная дипломатия, могущественные предпринимательские организации, буржуазные партии, капиталистическая пресса, церковь, — они все несут на себе всю тяжесть ответственности за эту войну, которая возникла из питающего их и ими охраняемого общественного порядка и ведется во имя их интересов.

Рабочие!

Эксплоатируемых, бесправных, униженных — вас при возникновении войны, когда нужно было посылать вас на бойню, навстречу смерти, назвали товарищами и братьями. А теперь, когда милитаризм вас увечит, терзает, унижает и губит, правящие требуют от вас отказа от ваших интересов, ваших идей, ваших идеалов, словом: рабского подчинения так называемому национальному единству. Вас лишают возможности выражать ваши взгляды, ваши чувства, вашу скорбь, вам не дают выдвигать ваши требования и отстаивать их. Пресса подавлена, политические права и свободы растоптаны ногами — военная диктатура правит бронированным кулаком.

Мы не можем, мы не смеем более молчаливо переносить это положение, которое угрожает всей будущности Европы и человечества. В течение десятилетий социалистический пролетариат вел борьбу против милитаризма. С возрастающей тревогой его представители занимались на национальных и интернациональных с'ездах вопросом о все более угрожающе выраставшей из империализма опастности войны. В

Штутттарте, в Копенгагене, в Базеле международные социалистические конгрессы указали пролетариату пути борьбы.

Социалистические партии и рабочие организации разных стран, участвовавшие в этих постановлениях, попрали, однако, с начала войны ложившиеся на них обязательства. Их представители призвали рабочих к приостановке классовой борьбы, единственно возможного и действительного средства освобождения пролетариата. Они голосовали за военные кредиты в распоряжение господствующих классов, они предоставили себя в распоряжение правительств для разных услуг; через посредство своей прессы и особых послов они пытались перетянуть нейтральных на сторону политики своих правительств, они предоставили, под видом социалистических министров, своим правительствам заложников для охранения национального единения, и таким образом они взяли на себя пред рабочим классом, пред его настоящим и будущим, ответственность за эту войну, за ее цели и за ее методы. И подобно отдельным партиям несостоятельным оказалось также и призванное представительство социалистов всех стран: Международное Социалистическое Бюро.

Эти обстоятельства являются одной из причин того, что интернациональный рабочий класс, который не поддался национальной панике первого периода войны или освободился от нее, еще до сих пор, во втором году резни народов, не нашел никаких средств и путей, чтобы приступить к решительной борьбе за мир одновременно во всех странах.

В виду этого нестерпимого положения, собрались мы, представители социалистических партий, профессиональных союзов и их меньшинств, мы, немцы, французы, итальянцы, русские, поляки, латыши, румыны, болгары, шведы, норвежцы, голландцы и швейцарцы, мы, которые стоим не на почве национальной солидарности с классом эксплоататоров, а на почве интернациональной солидарности пролетариата и на почве классовой борьбы, мы собрались для того, чтобы вновь восстановить порванные международные связи и призвать рабочий класс вспомнить о своем долге по отношению к самому себе и приступить к борьбе за мир.

Эта борьба — борьба за свободу, за братство народов, за социализм. Необходимо начать борьбу за мир без аннексий и контрибуций. Такой мир возможен только при осуждении всяких помыслов о насилии над правами и свободами народов. Занятие целых стран или их отдельных частей не должно вести к насильственному присоединению. Никаких аннексий, ни открытых, ни скрытых, никаких насильственных экономических присоединений, которые вследствие неизбежно связанного с ними политического бесправия носят еще более невыносимый характер. Самоопределение наций должно быть непоколебимой основой национальных отношений.

Пролетарии!

С начала войны вы отдали вашу действенную силу, вашу отвагу, вашу выносливость на службу господствующим классам. Теперь вы должны начать борьбу за свое собственное дело, за священную цель

социализма, за освобождение подавленных народов и порабощенных классов, — путем непримиримой пролетарской классовой борьбы.

Задача и обязанность социалистов воюющих стран — приступить со всей решимостью к этой борьбе, задача и обязанность социалистов нейтральных стран — поддержать всеми действительными средствами своих братьев в этой борьбе против кровавого варварства.

Никогда раньше в мировой истории не было более настоятельной, более высокой, более благородной задачи, выполнение которой должно явиться нашим общим делом. Нет таких жертв, нет таких тягот, которые были бы слишком велики для достижения этой цели: мира между народами.

Рабочие и работницы! Матери и отцы! Вдовы и сироты! Раненые и искалеченные! Ко всем вам, кто страдает от войны и через войну, ко всем вам мы взываем:

Через границы, через дымящиеся поля битв, через разрушенные города и деревни:

Пролетарии всех стран, об'единяйтесь!

Циммервальд (Швейцария), сентябрь 1915 г.

Шествие инвалидов

(Отрывок из романа „9 января“)

Знамена, плакаты!.. пешеходы уступают дорогу, — под Липами колышется процессия, приковывающая к себе взоры всех.

Смотрите!

На костылях, на деревяшках, раскачиваются они десятками без правой, без левой ноги, десятками совсем без ног. Некоторых товарищи устроили в тележках, это парализованные. Целые толпы их ведут собаки, — то слепые. Они без рук, пустые рукава засунуты в карманы. Их жалкая форменная одежда скрывает ужасные увечья.

Смотрите! Смотрите же, люди!

Словно жуки ползут они, ползут, словно крабы, боком, ковыляют. Лица их изувечены. Без носов, без подбородков, красная трещина вместо рта. Лица их обожжены до черноты, сини от ожогов, у них нет ушей, шеи вывернуты, головы свернуты на бок.

Смотрите! Смотрите же, люди!

Падите на колени!

Глаза их, словно дыры, веки над ними сшиты, белые шары в красном мясе. Преданно и осторожно ведут их собаки. Смотрите же, люди, ведь собаки — всего лишь животные! И они вышли на улицу. Чего только не было обещано им в торжественных речах, воззваниях, указах! Вот они тут!

Пешеходы жмутся к стенам и бледнеют. И только жирные, растолстевшие на войне не чувствуют ничего.

Б. Келлерман.

Открытое письмо Жюлю Гэду

Париж, 11 октября 1916 г.

Господину министру Жюлю Гэду.

Милостивый государь, г. министр!

Прежде чем покинуть почву Франции, в сопровождении полицейских комиссаров, воплощающих те свободы, на страже которых вы бодрствуете или дремлете в недрах Национального Министерства, я считаю своим долгом изложить вам некоторые мысли, которые, вероятно, не пригодятся вам, но которые могут зато пригодиться — против вас.

Изгоняя меня из Франции, ваш коллега г. Мальви не имея мужества изложить мне мотивы этой меры. Точно так же другой из ваших коллег, военный министр, не счел возможным указать причины запрещения русской газеты «Наше Слово», одним из редакторов которой я состоял, и которая в течение двух лет переносила все издевательства цензуры, действующей под руководством этого самого военного министра.

Однако же, не скрою от вас, что мотивы моего изгнания не заключают в себе для меня ничего таинственного: дело идет о мерах репрессии против социалиста интернационалиста, одного из тех, которые не хотят брать на себя роль прислужников, бардов или адвокатов империалистической войны.

Но если мотивы той меры, которая направлена против меня, не были сообщены мне, заинтересованному, то они были зато изложены г. Брианом депутатам и журналистам.

В Марселе группа возмутившихся русских солдат убила в августе своего полковника. При обыске были обнаружены у некоторых из этих солдат номера «Нашего Слова». Такова версия, сообщенная г. Брианом в беседе с депутатом Лонгэ и с председателем парламентской Комиссии иностранных дел г. Лейгом, который в свою очередь сообщил ее журналистам русской буржуазной прессы.

Конечно, г. Бриан не осмелился утверждать, будто «Наше Слово», подчиненное его собственной цензуре, является непосредственной причиной убийства офицера. Мысль г. Бриана могла бы быть выражена следующим образом: в виду присутствия во Франции русских солдат необходимо очистить почву Республики от «Нашего Слова» и от его редакторов, потому что социалистическая газета, которая не сеет ни иллюзий, ни лжи, могла бы, согласно незабвенному выражению г. Реноделя, навести хандру (cafard) на русских солдат и толкнуть их на опасный путь размышлений.

Однако, к несчастью для г. Бриана, его об'яснения покоятся на скандальном анахронизме. Гюстав Эрве, бывший тогда еще членом правления вашей партии, писал в прошлом году, что если бы Мальви выбросил из Франции русских изгнанников, повинных в революционном интернационализме, он, Эрве, готов поручиться за то, что обще-

ственное мнение его консьержек приняло бы эту меру с полным удовлетворением. Нельзя, конечно, сомневаться, что внушение для этого пророчества было почерпнуто г. Эрве не на небесах, а в одном из отделений министерства. В конце июля тот же Эрве официозным шопотом уже прямо сообщал, что я буду изгнан из Франции.

Около того времени, следовательно, опять-таки до убийства полковника в Марсели, профессор Дюркгейм, председатель назначенной правительством комиссии по вопросу о русских изгнанниках, уведомил представителя этих последних о предстоящем в скором времени запрещении газеты «Наше Слово» и изгнании редакторов этого издания (см. «Наше Слово» от 30 июля 1916).

Таким образом, все было подготовлено заранее, даже общественное мнение консьержек г. Эрве. Ожидали только предлога, чтобы нанести решающий удар. Этот предлог был найден: несчастные русские солдаты в подходящий для кое-кого момент убили своего полковника.

Это предопределенное совпадение дает место предположению, которое, я опасаюсь, может оскорбить ваше еще свежее министерское целомудрие. Русские журналисты, которые занимались марсельским инцидентом, установили, что в этом деле, как почти во всех подобных делах, активную роль играл провокатор. Не трудно понять, какова была его цель или скорее цель тех хорошо оплачиваемых прохвостов, которые его послали. Какой-нибудь эксцесс со стороны солдат им был необходим прежде всего для оправдания истинно-русского режима нагайки, несколько смущающего французские власти, а затем — чтобы создать предлог для мероприятий против русских изгнанников, которые-де пользуются французским гостеприимством, чтобы «деморализовать» во время войны русских солдат.

Легко допустить, что инициаторы этого плана не предполагали и не хотели довести дело до конца. Они надеялись, по всей вероятности, достигнуть более широких политических результатов с меньшими затратами и жертвами, но предприятия подобного рода всегда сопряжены с элементом профессионального риска. Впрочем, на сей раз жертвой риска оказался не сам провокатор, а полковник Краузе. Даже русские патриотические журналисты, враждебные «Нашему Слову», выдвинули предположение, что экземпляры нашего издания могли быть даны солдатам в нужный момент этим именно агентом-провокатором.

Попытайтесь, г. министр, произвести при посредстве г. Мальви расследование в этом направлении. Вы не ожидаете от него никаких результатов. Я — точно так же. Ибо, скажем это открыто, агенты-провокаторы по меньшей мере так же драгоценны для так называемой «национальной обороны», как и социалистические министры. И вы, Жюль Гед, после того, как вы взяли на себя ответственность за внешнюю политику Третьей Республики, за Франко-Русский союз со всеми его последствиями, за мировые притязания царизма и за все цели и методы этой войны,—вы не можете отказаться от усыновления, вместе с символическими — по свей незначительности — отрядами русских солдат, отнюдь не символических провокаторов его величества.

В начале войны, когда великодушные обещания раздавались пригоршнями, ваш ближайший сотоварищ, Самба, предрекал русским журналистам самое благодетельное влияние союзных демократий на внутренний режим России. Это было главным договором, при помощи которого правительственные социалисты Франции и Бельгии пытались — настойчиво, но безуспешно — примирить русских революционеров с царем.

26 месяцев постоянного военного сотрудничества, общения главнокомандующих, дипломатов, парламентеров, визитов Вивиани и Тома в Царское Село, — словом, 26 месяцев непрерывного «влияния» западных демократий на деспотизм, смягченный лишь административным хаосом, в результате чрезвычайно приблизили внутренний режим Англии и Франции к режиму России. Великодушные обещания г. Самба стоят, как видим, менее дорого, чем его уголь [1]).

Злосчастная судьба права убежища является лишь ярким симптомом господства солдатчины и полицейщины по сю, как и по ту, сторону пролива.

Дублинский вешатель, Ллойд-Джордж, от'явленный империалист с манерами пьяного англиканского попа, и Аристид Бриан, ближайшую характеристику которого я предоставляю вам, Жюль Гэд, разыскать в ваших прежних статьях,—эти две фигуры лучше всего выражают дух нынешней войны, ее право, ее мораль, ее аппетиты, классовые и личные. Каким достойным партнером для Ллойд-Джорджа и Бриана является г. Штюрмер, истинно-русский немец, который совершил свою карьеру, держась за рясы митрополитов и за юбки придворных дам. Какое несравненное трио! Поистине, история не могла бы подобрать для Гэда-министра лучших сотрудников и шефов.

Мыслимо ли для честного социалиста не бороться против вас? Вы превратили социалистическую партию в послушный хор, следующий за корифеями капиталистического грабежа в такой момент, когда буржуазное общество, смертельным врагом которого вы, Жюль Гэд, когда-то были, разоблачило до дна свою подлинную природу. Из событий, подготовлявшихся целою эпохой мировых хищений, неизбежные последствия которых мы неоднократно предсказывали, из всей пролитой крови, из всех страданий, из всех бедствий, из всех преступлений и из всей жадности и вероломства правящих вы, Жюль Гэд, извлекаете для французского пролетариата одно единственное поучение: что Вильгельм II и Франц-Иосиф — преступники, которые, в отличие от Николая II и Пуанкаре, не уважают законов международного права.

Целое новое поколение французского пролетариата, миллионы молодых рабочих, впервые духовно пробужденные громами войны, узнают о причинах этой катастрофы старого мира лишь то, что им сообщает «Желтая Книга» г.г. Пуанкаре, Делькассе, Бриана. Перед этим новым евангелием народов, вы, старый вождь пролетариата, склонили колени и отвергли все то, чему учились и учили в школе классовой борьбы.

---

[1]) В качестве министра общественных работ Самба заведывал в то время доставкой угля.

Французский социализм с его неисчерпаемым прошлым, с его великолепной фалангой мыслителей, борцов и мучеников, нашел, наконец — какое падение и какой позор! — своего Реноделя, чтобы в наиболее трагическую из эпох переводить изо дня в день высокие идеи «Желтой Книги» на язык не менее желтой публицистики.

Социализм Бабефа, Сен-Симона, Фурье, Бланки, Коммуны, Жореса и Жюль Гэда — да, и Жюль Гэда! — нашел, наконец, своего Альбер Тома, чтобы совещаться с Романовым насчет наиболее надежного средства овладения Константинополем, своего Марсель Самба, чтобы проветривать свой дилетантизм над трупами и развалинами французской цивилизации, и своего Жюль Гэда, чтобы следовать в качестве скованного раба за колесницею триумфатора Бриана...

И вы думали, вы надеялись, что французский пролетариат, истекающий, по вине господствующих классов, кровью в этой войне без смысла и без исхода, в этой самой бесчестной из войн, будет молчаливо переносить до конца постыдный союз, заключенный между официальным социализмом и его злейшими врагами? Вы ошиблись. Оппозиция поднялась. Несмотря на военное положение и оргии национализма, сохраняющего под роялистской, радикальной или социалистической окрасками свою капиталистическую сущность, революционная оппозиция развивается шаг за шагом и укрепляется с каждым днем.

«Наше Слово» — издание, которое вы задушили, жило и дышало в атмосфере пробуждающегося французского социализма. Оторванная от русской почвы волею контр-революции, победившей благодаря содействию французской биржи, — которой вы ныне служите, Жюль Гэд, — группа «Нашего Слова» считает для себя долгом чести отразить — с той неполнотой, на которую нас обрекает ваша цензура — голос французской секции Нового Интернационала, который рождается среди ожесточенной братоубийственной войны.

В нашем качестве «нежелательных иностранцев», связывающих свою судьбу с судьбой французской социалистической оппозиции, мы гордимся тем, что приняли на себя первые удары французского правительства, — вашего правительства, Жюль Гэд!

Вместе со всей французской оппозицией, с Монатом, Мергеймом, Сомоно, Росмером, Бурдероном [1]), Лорио, Гильбо и многими другими, мы разделили честь быть обвиненными в германофильстве. Издающийся в Париже еженедельник вашего друга Плеханова, соучастника в вашей былой славе и в вашем падении, каждую неделю доносил на нас полиции г. Мальви, как на агентов немецкого Генерального Штаба. Некогда вы знали цену подобным обвинениям, так как вы сами имели честь служить для них мишенью. В настоящее время вы даете ваше одобрение г. Мальви, который резюмирует для правительства «Национальной Обороны» донесения своих шпиков.

На вашу беду мой политический формуляр содержит в себе приговор к тюремному заключению, вынесенный против меня заочно, совершенно недавно, уже в начале войны, немецким судом в Лейпциге, за

---

[1]) Мергейм и Бурдерон, как известно, перешли впоследствии в лагерь соглашателей.

мою брошюру «Война и Интернационал». Но и за вычетом этого факта, способного, по природе своей, импонировать полицейскому черепу г. Мальви, я считаю себя вправе утверждать, что мы, революционные интернационалисты, являемся гораздо более опасными врагами для немецкой реакции, чем все правительства Согласия вместе взятые.

Их враждебность против Германии есть не что иное, как простое соревнование конкурентов, тогда как наша революционная ненависть против ее господствующего класса непримирима, ибо вытекает из принципов революции.

Империалистическая конкуренция может сближать вчерашних врагов; если бы осуществились проекты полного сокрушения Германии, Англия и Франция искали бы через несколько лет сближения с империей Гогенцоллернов, чтобы защитить себя против чрезмерного могущества России. Будущий Пуанкаре обменивался бы поздравительными телеграммами с Вильгельмом или его наследником; Ллойд-Джордж проклинал бы на своем языке кледржимена и боксера Россию, эту «опору варварства и милитаризма»; Альбер Тома, в качестве французского посланника при дворе кайзера, получал бы ландыши из рук постдамских фрейлин, как он получал их недавно из рук великих княгинь Царского Села. Снова были бы извлечены на свет божий все пошлости речей и статей нынешнего дня: Реноделю оставалось бы только переменить в них собственные имена, — работа, которая ему вполне по-плечу.

Что же касается нас, то мы остались бы и в этом случае смертельными врагами правящей Германии, потому что мы ненавидим немецкую реакцию той же самой революционной ненавистью, какою мы ненавидим царизм и французскую плутократию. И если вы осмеливаетесь, вы и ваши газетные приказчики, аплодировать Либкнехту, Люксембург, Рингу, Цеткин, как неустрашимым врагам Гогенцоллерна, то вы не можете не знать, что они являются *нашими* единомышленниками, *нашими* собратьями по оружию. Мы связаны с ними против вас и ваших хозяев нерасторжимым единством революционной борьбы.

Вы, может быть, утешаете себя тем, что мы малочисленны. Однако же, мы гораздо более многочисленны, чем думают полицейские статистики всех рангов. В своей профессиональной близорукости они не замечают, как дух возмущения поднимается из всех очагов страдания, из траншей и казарм, из рабочих кварталов и деревень, распространяется по Франции, сгущается над ней и над всей Европой.

Вы заперли на замок Луизу Сомоно в одной из ваших тюрем. Но уменьшили ли вы этим отчаяние женщин вашей страны? Вы могли арестовать сотни циммервальдистов после того, как пресса, по вашему поручению, облила их лишний раз полицейской клеветой. Но можете ли вы вернуть женам их мужей, матерям — их сыновей, детям — их отцов, калекам — их силы и здоровье, обманутому и обескровленному народу — доверие к тем, которые его обманули?

Выйдите, Жюль Гэд, из вашего военного автомобиля, из той клетки, в которую вас посадило капиталистическое государство, и поглядите вокруг себя. Приложите ваше ухо к камням мостовой: может

быть, судьба сжалится в последний раз над вашей печальной старостью, и вы расслышите глухой шум приближающихся событий. Мы ожидаем их, мы призываем их, мы готовимся к ним. Судьба Франции была бы слишком ужасна, если бы Голгофа ее рабочих масс не вела к великому реваншу [1]), *нашему* реваншу, где не будет больше места ни для вас, Жюль Гэд, ни для тех, кто с вами.

Изгнанный вами, я покидаю Францию с глубокой верой в нашу победу. Через вашу голову я посылаю братский привет французскому пролетариату, который пробудится для великих битв и достижений. Без вас и против вас — да здравствует социалистическая Франция.

Л. Троцкий.



[1]) Реванш — отмщение.

ОТДЕЛ ПЯТЫЙ

Октябрь

Без царя

Не на стонах ли брата убитого
Стали жить мы, товарищи, заново?
Ни тебе — станового сердитого,
Ни тебе — Николая Романова.

Ни Распутина в шелке да бархате,
Ни царева слуги Сухомлинова,
Ой, не плачьте, грачи, и не каркайте,
Нет в России врага ни единого.

Много, братцы, царем перевешано,
По указу цареву расстреляно.
А приказы — стрелять — не от лешего,
Государем расстреливать велено!

Догорело царево судилище,
Оттуляли царевы присяжные.
Под судом Двуголовый Страшилище,
Под судом воеводы продажные.

Не попы ль, златоусты духовные,
Заседали когда-то на судьбищах,
Как гуляки, картежники кровные,
На царевых потехах и гульбищах?

Выходили на казни кровавые
С золотыми словами — подвохами.
Ко Христу приобщали, лукавые,
В алых винах омытыми крохами.

Перед богом и миром лукавили.
Отдавали на казни невинного.
Не с царем ли вы, пастыри, правили,
Все попы, сколько есть, до единого?

Становые да стражники лютые,
Точно хамы гуляли по волости.
По ухваткам не сравнишь с Малютою,
По ухваткам неслыханной вольности.

Вся деревня, бывало, попрячется,
Как пройдет полицейское чучело,
Только храбрая баба — кабатчица
Никого, кроме чорта, не трусила.

Выходили на сход разорители:
— Кто там подать не платит? в холодную!
На иконах потели святители,
Пели хором кому-то отходную.

Допекала царева опричина
На полях позабытые хижины,
У того, глядь, спина вся иссечена,
У того — ползатылка острижено.

Жил урядник без друга-приятеля,
Серым волком вынюхивал крамолу,
Протоколил нас всех без из'ятия,
Продавал свою душеньку дьяволу.

Да пришла Мать-Свобода великая,
Провалилась вся гадь в преисподнюю.
Разбежалась опричина дикая,
Как бесовщина в ночь новогоднюю.

Братцы, есть лишь один ворог истовый:
Богачи, государевы бражники.
Богачи во миру хуже пристава,
Хуже всякого царского стражника

У него от рожденья до старости —
Ни души, ни любви, ни содружества,
Но зато уж на всякие гадости, —
Без рубахи пустить! — хватит мужества.

У богатых изба — двухэтажная,
У богатых земли — больше волости.
Оттого у тебя, Русь сермяжная,
Не бывало на сердце веселости.

Без казны, без земли и без хижины
Ты кочуешь по нивам — распаринам.
Богачами ли мы не обижены,
Как в суровую барщину барином?

От него, богатея — распутника,
Береги, брат, добытую волюшку.
Не ищи в нем ни брата, ни спутника,
Не поможет он нашему горюшку.

Не ходи ко всесветному знахарю,
Не пытай колдуна, не выспрашивай.
Помни крепко: земля — только пахарю,
Златокудрому пахарю нашему.

Алый стяг над хибарами серыми,
Как над летом заря, занимается,
Новый хлеб преогромными мерами
В закрома по зерну убирается.

Петр Орешин.

Под знаменем Коммуны

(Из книги „Война и революция“)

Война и революция часто идут в истории одна за другою.

В обычное время рабочие массы тянут покорно изо дня в день свою каторжную лямку, повинуясь могучей силе привычки. Ни надсмотрщики, ни полиция, ни тюремщики, ни палачи не способны были бы удержать массы в повиновении, если бы не эта привычка, — верная слуга капитала.

Война, которая терзает и губит массы, опасна также и для правящих, — именно потому, что она одним ударом выводит народ из привычного состояния, пробуждает своим громом самых отсталых и темных, заставляет их оглянуться на себя и вокруг себя.

Толкая миллионы трудящихся в огонь, правящие должны на место привычки ставить обещания и ложь. Буржуазия украшает свою войну теми чертами, которые дороги великодушному сердцу народных масс: война за «свободу», за «справедливость», за «лучшую жизнь»! Взбудораживая массы до самого дна, война неизменно кончает тем, что обманывает их: она ничего не приносит им, кроме новых ран и цепей. Оттого вызванное войною напряжение обманутых масс нередко приводит к взрыву против правящих; война порождает революцию.

Так было двенадцать лет тому назад, во время русско-японской войны: она сразу обострила недовольство народа и привела к революции 1905 года.

Так было во Франции 46 лет тому назад: франко-прусская война 1870—1971 г.г привела к восстанию рабочих и учреждению Парижской Коммуны.

Рабочие Парижа были вооружены буржуазным правительством, в виде национальной гвардии, для защиты столицы от немецких войск. Но французская буржуазия больше боялась своих собственных пролетариев, чем войск Гогенцолерна. После того, как Париж капитулировал, республиканское правительство попробовало обезоружить рабочих. Но война уже пробудила в них дух возмущения. Они не хотели возвращаться к станкам теми же рабочими, что были до войны. Парижские пролетарии отказались выпускать оружие из рук. Произошло столкновение между вооруженными рабочими и правительствен-

ными полками. Это было 18 марта 1871 г. Рабочие вышли победителями, оказались хозяевами Парижа и 28 марта учредили в столице — под именем Коммуны — пролетарское правительство. Оно просуществовало недолго. 28 мая пали после героического сопротивления последние защитники Коммуны под натиском буржуазных полчищ. Открылись недели и месяцы кровавой расправы над участниками пролетарской революции. Но, несмотря на краткость своего существования, Коммуна осталась величайшим событием в истории пролетарской борьбы. На опыте парижских рабочих мировой пролетариат впервые увидел, что такое *пролетарская революция*, каковы ее цели и пути.

Коммуна начала с того, что утвердила всех иностранцев, выбранных в состав рабочего правительства. Она заявила: «знамя Коммуны есть знамя Мировой Республики».

Она очистила государство и школы от религии, отменила смертную казнь, опрокинула Вандомскую колонну — памятник шовинизма, передала все должности и посты действительным слугам народа, назначив им жалованье, не превышающее рабочего заработка.

Она приступила к переписи заводов и фабрик, закрытых перепуганными капиталистами, чтобы начать там производство на общественный счет. Это был первый шаг к социалистической организации хозяйства.

Коммуна не выполнила своих замыслов: она оказалась раздавленной. Французская буржуазия, при содействии своего «национального врага» — Бисмарка, сразу ставшего ее классовым союзником, утопила в крови восстание своего действительного врага — рабочего класса. Планы и задачи Коммуны не вошли в жизнь. Но они вошли зато в душу лучших сынов пролетариата во всем мире, стали революционными заветами нашей борьбы.

И теперь, 18 марта 1917 г., образ Коммуны встает перед нами ярче, чем когда бы то ни было: ибо мы, после большого промежутка времени, снова вошли в эпоху великих революционных боев.

Мировая война вырвала десятки миллионов тружеников из привычных условий труда и прозябания. До сегодняшнего дня это было только в Европе, завтра это будет и в Америке. Никогда еще рабочим массам не давали таких обещаний, никогда им не рисовали таких радужных целей, никогда им не льстили так, как в этой войне. Никогда еще имущие классы не решались — во имя той лжи, которая называется «защитой отечества», — требовать от народа столько крови. И никогда еще трудящиеся не были так обмануты, преданы, распяты, как теперь.

В наполненных кровью и грязью траншеях, в голодающих городах и деревнях миллионы сердец полны возмущения, отчаяния и гнева. И эти чувства, в сочетании с социалистической мыслью, превращаются в революционный энтузиазм. Завтра его пламя прорвется наружу в могущественных восстаниях рабочих масс.

Уже пролетариат России вышел на великую дорогу революции, и под его натиском валятся и рушатся твердыни самой постыдной из деспотий. Революция в России, однако, — только предтеча пролетарских восстаний во всей Европе и во всем мире.

Помните о Коммуне! — скажем мы, социалисты, восставшим рабочим массам. Буржуазия вооружила вас против внешнего врага? Откажитесь возвращать ей оружие, как отказались парижские рабочие в 1871 году! Направьте это оружие, как призывал вас Карл Либкнехт, против вашего подлинного врага — капитала! Вырвите из его рук государственную машину, превратите ее из орудия буржуазного насилия в аппарат пролетарского самоуправления. Вы теперь несравненно сильнее, чем были ваши предки в эпоху Коммуны. Сбросьте всех паразитов с их тронов. Возьмите земли, шахты, заводы в собственное ваше заведывание. Братство в труде, равенство — в пользовании его плодами!

Знамя Коммуны — есть знамя Мировой Республики Труда!

Л. Троцкий.

„Н. М.“ 17 марта 1917 г.

Ленин

Есть в Ленине Керженский дух,
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух
Он ищет в Поморских Ответах.

Мужицкая ныне земля,
И церковь — не наймит казенный,
Народный испод шевеля,
Несется глагол краснозвонный.

Нам красная молвь по уму, —
В ней пламя — цветенье сафьяна;
То Черной Неволи Басму
Попрала стопа Иоанна.

Борис — златоордный мурза,
Трезвонит Иваном Великим.
А Лениным — вихрь и гроза
Причислены к ангельским ликам.

Есть в Смольном потемки трущоб,
И привкус хвои с костяникой,
Там нищий колодовый гроб
С останками Руси великой.

«Куда схоронить мертвеца» —
Толкует удалых ватага...
Поземкой пылит с Коневца,
И плещется взморье-баклага.

Спросить бы у тучки, у звезд,
У зорь, что румянят ракиты...

Зловещ и пустынен погост,
Где царские бармы зарыты.

Их ворон-судьба стережет
В глухих преисподних могилах...
О чем же тоскует народ
В напевах татарско-унылых?

Н. Клюев.

Воззвание Военно-Революционного Комитета Петроградского Совета Солдатских и Рабочих Депутатов

К гражданам России!

Временное Правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, — Военно-Революционного Комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ, — немедленное предложение демократического мира, уничтожение помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского Правительства — это дело обеспечено.

Военно-Революционный Комитет Петроградского Совета Солдатских и Рабочих Депутатов.

Октябрьский переворот

(1917 год)

Начало восстания

Правительство Керенского металось из стороны в сторону. Вызывали с фронта два новых батальона самокатчиков, зенитную батарею, пытались вызвать кавалерийские части... Самокатчики прислали Петроградскому Совету телеграмму с пути: «нас ведут в Петроград, не знаем зачем, просим раз'яснений». Мы предписали им остановиться и выслать делегацию в Петроград. Представители прибыли и заявили на заседании Совета, что батальон целиком на нашей стороне. Это вызвало бурю восторга. Батальону предписано было немедленно вступить в город.

Число делегатов с фронта возрастало каждый день. Они приходили осведомляться о положении дел, собирали нашу литературу и отправлялись разносить по фронту вести о том, что Петроградский Совет ведет борьбу за власть рабочих, солдат и крестьян. Старые армейские комитеты, не переизбиравшиеся в течение 4—5 месяцев, посылали нам угрожающие телеграммы, которые никого не пугали:

мы знали, что комитеты оторваны от солдатской массы не меньше, чем Центральный Исполнительный Комитет — от местных Советов.

Военно-Революционный Комитет назначил комиссаров на все вокзалы. Они тщательно следили за прибывающими и уходящими поездами, и особенно за передвижением солдат. Установлена была непрерывная телефонная и автомобильная связь со смежными городами и их гарнизонами. На все, примыкающие к Петрограду, Советы была возложена обязанность тщательно следить за тем, чтобы в столицу не приходили контр-революционные, или, вернее, обманутые правительством, войска. Низшие вокзальные служащие и рабочие признавали наших комиссаров немедленно. На телефонной станции 24-го возникли затруднения: нас перестали соединять. На станции укрепились юнкера, и под их прикрытием телефонистки стали в оппозицию к Совету. Это первое проявление будущего саботажа. Военно-Революционный Комитет послал на телефонную станцию отряд и установил у входа две небольшие пушки. Так началось завладение всеми органами управления. Матросы и красногвардейцы небольшими отрядами располагались на телеграфе, на почте и в других учреждениях. Были приняты меры к тому, чтобы завладеть Государственным банком. Правительственный центр — Смольный — был превращен в крепость. На чердаке его имелось, еще как наследство от старого Центрального Комитета, десятка два пулеметов, но за ними не было ухода, прислуга при пулеметах опустилась. Нами вызван был в Смольный дополнительный пулеметный отряд. Рано утром по каменным полам длинных и полутемных коридоров Смольного солдаты с грохотом катили свои пулеметы. Из дверей высовывались недоумевающие или испуганные лица оставшихся еще в Смольном немногочисленных соц.-революционеров и меньшевиков.

Совет собирался в Смольном ежедневно, точно так же и гарнизонное совещание.

На третьем этаже Смольного, в небольшой угловой комнате, непрерывно заседал Военно-Революционный Комитет. Там сосредоточивались все сведения о передвижении войск, о настроении солдат и рабочих, об агитации в казармах, о выступлении погромщиков, о совещании буржуазных политиков, о жизни Зимнего дворца, о замыслах прежних советских партий. Осведомители являлись со всех сторон. Приходили рабочие, офицеры, дворники, социалистические юнкера, прислуга, дамы. Многие приносили чистейший вздор, другие давали серьезные и ценные указания. Надвигалась решительная минута. Было ясно, что назад возврата нет.

24 октября, вечером, Керенский явился в предпарламент и потребовал одобрения репрессивным мерам против большевиков. Но предпарламент находился в состоянии жалкой растерянности и полного распада. Кадеты склоняли правых соц.-рев. принять резолюцию доверия, правые соц.-рев. давили на центр, центр колебался, «левое» крыло вело политику парламентской оппозиции. После совещаний, споров, колебаний, прошла резолюция правого крыла, в которой осуждалось мятежное движение Совета, но ответственность за движение возлагалась на антидемократическую политику правительства. Почта еже-

дневно приносила десятки писем, в которых мы извещались о смертных приговорах, вынесенных против нас, об адских машинах, о предстоящем взрыве Смольного и пр. и пр. Буржуазная печать дико выла от ненависти и страха. Горький, основательно забывший свою «песню о соколе», продолжал пророчествовать в «Новой Жизни» о близком светопреставлении.

Члены Военно-Революционного Комитета уже не покидали в течение последней недели Смольного, ночевали на диванах, спали урывками, пробуждаемые курьерами, разведчиками, самокатчиками, телеграфистами и телефонными звонками. Самой тревожной была ночь с 24 на 25-е. По телефону нам сообщили из Павловска, что правительство вызывает оттуда артиллеристов, из Петергофа — школу прапорщиков. В Зимний дворец Керенским были стянуты юнкера, офицеры и ударницы. Мы отдали по телефону распоряжение выставить на всех путях к Петрограду надежные военные заслоны и послать агитаторов навстречу правительственным частям. Если не удержать словами — пустить в ход оружие. Все переговоры велись по телефону совершенно открыто и были, следовательно, доступны агентам правительства.

Комиссары сообщали нам по телефону, что на всех подступах к Петрограду бодрствовали наши друзья. Часть ораниенбаумских юнкеров пробрались все же ночью через заслон, и мы следили по телефону за их дальнейшим движением. Наружный караул Смольного усилили, вызвав новую роту. Связь со всеми частями гарнизона оставалась непрерывной. Дежурные бодрствовали во всех полках. Делегаты от каждой части находились днем и ночью в распоряжении Военно-Революционного Комитета. Был отдан приказ решительно подавлять черносотенную агитацию и при первой попытке уличных погромов пустить в ход оружие и действовать беспощадно.

В течение этой решающей ночи все важнейшие пункты города перешли в наши руки почти без сопротивления, без боя, без жертв. Государственный банк охранялся правительственным караулом и броневиком. Здание было окружено со всех сторон нашим отрядом, броневик был захвачен врасплох, и банк перешел в руки Военно-Революционного Комитета без единого выстрела. На Неве, под Франко-Русским заводом, стоял крейсер «Аврора», находившийся в ремонте. Его экипаж весь состоял из беззаветно преданных революции матросов. Когда Корнилов угрожал в конце августа Петрограду, матросы «Авроры» были призваны правительством охранять Зимний дворец. И хотя они уже тогда относились с глубочайшей враждой к правительству Керенского, они поняли свой долг — дать отпор натиску контр-революции — и без возражений заняли посты. Когда опасность прошла, их устранили. Теперь, в дни октябрьского восстания, они были слишком опасны. «Авроре» отдан был из Морского Министерства приказ сняться и выйти из вод Петрограда. Экипаж немедленно сообщил нам об этом. Мы отменили приказ, и крейсер остался на месте, готовый в любой момент привести в движение все свои боевые силы во имя Советской власти («Окт. рев.»).

Л. Троцкий.

Решающий день

На рассвете 25 октября в Смольный явились из партийной типографии рабочий и работница и сообщили, что правительство закрыло центральный орган нашей партии и новую газету Петроградского Совета. Типография была опечатана какими-то агентами власти. Военно-Революционный Комитет немедленно отменил приказ, взял под свою защиту оба издания и возложил «высокую честь охранять свободное социалистическое слово от контр-революционных покушений на доблестный Волынский полк». Типография работала после этого без перерыва, и обе газеты вышли в положенный час.

Правительство по-прежнему заседало в Зимнем дворце, но оно уже стало только тенью самого себя. Политически оно не существовало. Зимний дворец в течение 25 октября постепенно оцеплялся нашими войсками со всех сторон. В час дня я заявил на заседании Петроградского Совета от имени Военно-Революционного Комитета, что правительство Керенского больше не существует и что, впредь до решения Всероссийского С'езда Советов, власть переходит в руки Военно-Революционного Комитета.

Ленин уже несколько дней перед тем покинул Финляндию и скрывался на окраинах города в рабочих квартирах. 25-го вечером он конспиративно прибыл в Смольный. По газетным сведениям положение рисовалось ему так, как будто между нами и правительством Керенского дело идет к временному компромиссу. Буржуазная пресса так много кричала о близком восстании, о выступлении вооруженных солдат на улице, о разгромах, о неизбежных реках крови, что теперь она не заметила того восстания, которое происходило на деле, и принимала переговоры штаба с нами за чистую монету. Тем временем, без хаоса, без уличных столкновений, без стрельбы и кровопролития, одно учреждение захватывалось за другим стройными и дисциплинированными отрядами солдат, матросов и красногвардейцев по точным телефонным приказам, исходившим из маленькой комнаты в третьем этаже Смольного института.

Вечером происходило предварительное заседание Второго Всероссийского С'езда Советов. Докладчиком от имени Центрального Исполнительного Комитета выступил Дан. Он произнес обвинительную речь против бунтарей, захватчиков, мятежников и пытался запугать С'езд неизбежным крахом восстания, которое на-днях будет подавлено силами фронта. Его речь звучала неубедительно и неуместно в стенах залы, где подавляющее большинство делегатов с восторгом наблюдало за ходом победоносного петроградского восстания.

Зимний дворец был к этому моменту окружен, но еще не взят. Время от времени из окон его стреляли по осаждавшим, которые сужали свое кольцо медленно и осторожно. Из Петропавловской крепости было дано по дворцу два-три орудийных выстрела. Отдаленный гул их доносился до стен Смольного. Мартов с беспомощным негодованием говорил с трибуны С'езда о гражданской войне, и, в частности, об осаде Зимнего, где в числе министров находились, — о, ужас! — члены

партии меньшевиков. Против него выступили два матроса, которые явились для сообщений с места борьбы. Они напомнили обличителям о наступлении 18 июня, обо всей предательской политике старой власти, о восстановлении смертной казни для солдат, об арестах, разгромах революционных организаций и клялись победить или умереть. Они же принесли весть о первых жертвах с нашей стороны на Дворцовой площади. Все поднялись, точно по невидимому сигналу, и с единодушием, которое создается только высоким нравственным напряжением, пропели похоронный марш. Кто пережил эту минуту, тот не забудет ее.

Заседание нарушилось. Невозможно было теоретически обсуждать вопрос о способах построения власти под долетавшие до нас отзвуки борьбы и стрельбы у стен Зимнего дворца, где практически решалась судьба этой самой власти. Взятие дворца, однако, затягивалось, и это вызвало колебания среди менее решительных элементов С'езда. Правое крыло через своих ораторов пророчествовало нам близкую гибель. Все с напряжением ждали вестей с Дворцовой площади. Через некоторое время явился руководивший операциями Антонов. В зале воцарилась полная тишина. — Зимний дворец взят, Керенский бежал, остальные министры арестованы и препровождены в Петропавловскую крепость.— Первая глава октябрьской революции закончилась.

Правые соц.-революционеры и меньшевики, в общем, человек шестьдесят, т.-е. около одной десятой части С'езда, с протестом покинули заседание. Так как им не оставалось ничего другого, то они «возлагали всю ответственность» за дальнейшее на большевиков и левых соц.-рев. Эти последние переживали колебания. Прошлое тесно связывало их с партией Чернова. Правое крыло этой партии совершенно сдвинулось на средне- и мелко-буржуазные элементы, на мещанскую интеллигенцию, на зажиточные слои деревни и во всех решающих вопросах шло рука об руку с либеральной буржуазией против нас. Наиболее революционные элементы партии, отражавшие радикализм социальных требований беднейших крестьянских масс, тяготели к пролетариату и к его партии. Они боялись, однако, разрезать пуповину, которая связывала их со старой партией. Когда мы выходили из предпарламента, они отказывались следовать за нами и предупреждали нас против «авантюры». Но восстание поставило их перед необходимостью выбора: за Советы или против Советов. Не без колебаний они собирали свои ряды по ту же сторону баррикады, где находились мы. («Окт. рев.»).

Л. Троцкий.

Главная улица

Поэма

Движутся, движутся, движутся, движутся,
В цепи железными звеньями нижутся,
Поступью гулкою грозно идут.
Грозно идут,

Идут,
Идут,
На последний, на главный редут!

* * *

Главная улица в панике бешеной.
Бледный, трясущийся, словно помешанный,
Страхом смертельным внезапно ужаленный,
Мечется — клубный делец накрахмаленный,
Плут-ростовщик и банкир продувной,
Мануфактурщик и модный портной,
Туз-меховщик, ювелир патентованный, —
Мечется каждый, тревожно-взволнованный
Гулом и криками, издали слышными.
У помещений с витринами пышными,
Средь облигаций меняльной конторы, —
Русский и немец, француз и еврей,
Пробуют петли, сигналы, запоры:
— Эй, опускайте железные шторы!...
— Скорей!..
— Скорей!..
— Скорей!..
— Скорей!..
— Вот их проучат, проклятых зверей,
Чтоб бунтовать зареклися навеки!
С грохотом падают тяжкие веки
Окон зеркальных, дубовых дверей.
— Скорей!..
— Скорей!..
— Что же вы топчетесь, будто калеки?
Или измена таится и тут?!
Духом одним с этой сволочью дышите?
— Слышите?..
— Слышите?..
— Слышите?..
— Слышите?..
— Вот они!.. Видите?.. Вот они, тут!..
— Идут!..
— Идут!..

* * *

С силами, зревшими в нем, необ'ятными,
С волей единой и сердцем одним,
С общею болью, с кровавыми пятнами
Алых знамен, полыхавших над ним,
Из закоулков,
Из переулков
Темных, размытых, разрытых, извилистых,
Гневно взметнув свои тысячи — жилистых,

Черных, корявых, мозолистых рук,
Тысячелетьями связанный, скованный,
Бурным порывом прорвав заколдованный,
Каторжный круг,
Из закоптелых фабричных окраин
Вышел на Улицу новый хозяин,
Вышел — и все изменилося вдруг.
Дрогнула, замерла Улица Главная,
В смутно-тревожное впав забытье, —
Воля стальная, рабоче-державная,
Властной угрозой сковала ее:
— Это — моё!
Улица эта, дворцы и каналы,
Банки, пассажи, витрины, подвалы,
Золото, ткани, и снедь и питье, —
Это — моё!
Библиотеки, театры, музеи,
Скверы, бульвары, сады и аллеи,
Мрамор и бронзовых статуй литье, —
Это — моё!!

* * *

Воем ответила Улица главная.
Стал богатырь. Загражден ему путь.
Хищных стервятников стая бесславная
Когти вонзила в рабочую грудь.
Вмиг ощетинясь штыками и пиками,
Главная Улица — страх позабыт! —
Вся огласилася воплями дикими,
Гиком и руганью, стонами, криками,
Фырканьем конским и дробью копыт.
Прыснули злобные, пьяные шайки
Из полицейских, жандармских засад:
— Р-рысью... в атаку!
— Бери их в нагайки!
— Бей их прикладом!
— Гони их назад!
— Шашкою, шашкой, которые с флагами,
Чтобы вперед не сбирались ватагами,
Знали-б, ха-ха, свой станок и верстак,
Мать их растак!!...

* * *

— В мире подобного нет безобразия!
— Темная масса.
— Татарщина!
— Азия!
— Хамы!
— Мерзавцы!

— Скоты!
— Подлецы!
— Вышла на Главную рожа суконная!
— Всыпала им жандармерия конная!
— Славно работали тоже донцы!
Видели лозунги?
— Да, ядовитые!
— Чернь отступала, заметьте, грозя.
— Правда ль, что есть средь рабочих убитые?
— Жертвы... Без жертв, моя прелесть, нельзя!
— Впрок ли пойдут им уроки печальные?
— Что же, дорвутся до горшей беды!

Вновь засверкали витрины зеркальные,
Всюду кровавые смыты следы.
Улица, злого полна ликования,
Залита светом вечерних огней.
Чистая публика всякого звания
Шаркает, чавкает снова на ней,
Чавкает с пошло-тупою беспечностью,
Меряя срок своих чавканий вечностью,
Веруя твердо, что с рабской судьбой
Стерпится, свыкнется «хам огорошенный»
Что не вернется разбитый, отброшенный,
Глухо рокочущий где-то прибой!

* * *

Снова...
Снова...
Бьет роковая волна...
Гнется гнилая основа...
Падает грузно стена.
— На!..
— На!..
— Раз-два,
Сильно!!
Раз-два,
Дружно!!
— Раз-два,
В ход!!
Грянул семнадцатый год.

— Кто там?
Кто там
Хнычет испуганно: — «стой»?
— Кто по лихим живоглотам
Выстрел дает холостой?
— Кто там виляет умильно?
К чорту господских пролаз!

— Раз-два,
Сильно!!
— Е-ще
Раз!!
— Нам подхалимов не нужно.
Власть — весь рабочий народ!
— Раз-два,
Дружно!!
— Раз-два,
В ход!!
— Кто нас отсюдова тронет?
Силы не сыщется той!
. . . . . .
Главная Улица стонет
Под пролетарской пятой!!

Эпилог

Петли, узлы — колеи исторической...
Пробил — второй или первый? — звонок,
Годы мучений, борьбы титанической,
Вот наш победный, терновый венок!

Братья, не верьте баюканью льстивому:
— «Вы — победители! падаем ниц!»
Хныканью также не верьте трусливому:
— «Нашим скитаньям не видно границ!»

Пусть наша Улица будет задворками
Перед Проспектом иным, Мировым.
Разве не держится он лишь подпорками
И обольщеньем, уже не живым?

Мы наступая на нашу, на Главную,
Разве потом не катилися вспять?
Но, отступая пред силой неравною,
Мы наступали. Опять и опять.

Красного фронта всемирная линия
Пусть перерывиста, пусть не ровна,
Мы ль разразимся словами уныния?
Разве не крепнет, не крепнет она?

Стойте ж на страже добытого муками,
Зорко следите за стрелкой часов,
Даль сотрясается бодрыми звуками,
Громом живых, боевых голосов.

Братья, всмотритесь в огни отдаленные,
Вслушайтесь в дальний рокочущий шум:

Это резервы идут закаленные!
Трум-ту-ту-тум!
Трум-ту-ту-тум!

Движутся, движутся, движутся, движутся,
В цепи железными звеньями нижутся,
Поступью гулкою грозно идут,
Грозно идут,
Идут,
Идут,
На последний, всемирный редут!!

Демьян Бедный.

1917 $\frac{7}{XI}$ 1922 г.

Речь Троцкого

(Из книги „10 дней, которые потрясли мир")

... На возвышение поднялся Троцкий, уверенный в себе, доминирующий над всеми, с тем саркастическим выражением в углах его рта, которое переходило почти в насмешку. Он говорил звенящим голосом, и огромная толпа созвучно отвечала ему.

— Не новы эти соображения насчет опасности изоляции нашей партии. Накануне восстания точно так же предсказывалось наше неизбежное поражение. Все были против нас. Только фракция левых социалистов-революционеров входила вместе с нами в Военно-Революционный Комитет. Как же случилось то, что мы оказались способными почти без кровопролития низвергнуть правительство?.. Этот факт является самым поразительным доказательством того, что мы не были изолированы. По правде говоря, именно Временное Правительство оказалось изолированным, по правде говоря, именно те демократические партии, которые идут против нас, были изолированы, продолжают оставаться изолированными и навсегда отрезали себя от пролетариата.

Здесь говорят о необходимости коалиции. Возможна лишь одна коалиция, — коалиция рабочих, солдат и крестьянской бедноты. И честью для нашей партии является то, что она провела в жизнь эту коалицию... О какого рода коалиции говорил Авилов? О коалиции с теми, кто поддерживал правительство измены народу. Коалиция не всегда прибавляет силы. Например, могли бы мы организовать власть с Даном и Авксентьевым в наших рядах?

Авксентьев дал мало хлеба. Доставит ли коалиция с оборонцами большее количество его? Выбирая между крестьянами и Авксентьевым, который издал приказ об аресте земельных комитетов, мы избрали крестьян. Наша революция останется классической революцией в истории...

Здесь обвиняют нас в отказе от соглашения с другими демократическими партиями. Но нас ли следует попрекать за это или мы должны

как выразился Карелин, винить в этом недоразумения? Нет, товарищи, когда партия, руководящая революцией, все еще окутана пороховым дымом, приходит и говорит: «Вот власть, берите» — и те, кому власть предложена, переходят на сторону врага, — это не недоразумение... это — об'явление безжалостной войны. И не мы об'явили войну...

Авилов угрожает нам неудачей наших попыток заключения мира, если мы останемся изолированными. Я повторяю, я не вижу, каким образом коалиция со Скобелевым или даже с Терещенко поможет нам получить мир. Авилов пытается запугать нас угрозой мира за наш счет, а я отвечаю, что, во всяком случае, если Европа будет продолжать управляться империалистической буржуазией, революционная Россия неизбежно погибнет...

Есть только такая альтернатива. Либо русская революция создаст революционное движение в Европе, либо европейские державы уничтожат русскую революцию».

Джон Рид.

Матросам

Герои, скитальцы морей, альбатросы,
Застольные гости громовых пиров,
Орлиное племя, матросы, матросы,
Вам песнь огневая рубиновых слов.

Вы — солнце, вы — свежесть стихии соленой,
Вы — вольные ветры, вы — рокоты бурь,
В речах ваших звоны, морские циклоны,
Во взорах безбрежность — морская лазурь.

Врагам не прощали вы кровь и обиды
И знамя борьбы поднимали не раз.
Балтийские воды и берег Тавриды
Готовят потомкам пленительный сказ.

Как бурные волны, вы грозно вливались
Во дни революций на Невский гранит,
И кровью орлиной не раз омывались
Проспекты, панели асфальтовых плит.

Открытые лица, широкие плечи,
Стальные винтовки в бесстрашных руках,
Всегда наготове для вражеской встречи —
Такими бывали вы в красных боях.

Подобно утесам, вы стали, титаны,
На страже коммуны, на страже свобод.
У врат лучезарных, где вязью багряной
Сверкает бессмертный, семнадцатый год.

Герои, скитальцы морей, альбатросы,
Застольные гости громовых пиров,
Орлиное племя, матросы, матросы,
Вам песня поэта, вам слава веков!

В. Кириллов.

„Мой Петербург“

(Из книги „10 дней, которые потрясли мир“).

Я вернулся в Петроград, сидя на переднем месте грузовика, управляемого рабочим и перегруженного красногвардейцами. У нас не было керосина, и поэтому мы ехали без огней. Дорога была запружена пролетарской армией, возвращавшейся домой, и новыми резервами, замещавшими их на передовых позициях. Огромные грузовики, в роде нашего, колонны артиллерии, телеги внезапно выплывали из ночи без огня, подобно нам. Мы бешено мчались вперед, резко сворачивая направо и налево, чтобы избежать столкновения, которое казалось неизбежным, задевая колеса, преследуемые руганью пешеходов...

По горизонту расстилались отблески огней столицы, неизмеримо более великолепной ночью, чем днем, подобно груде драгоценностей, рассыпанных на пустынной долине.

Старик рабочий, который управлял машиной, положил на колесо одну руку, а другой провел перед собою, указывая своим жестом на блестевшую вдали столицу.

— Мой! — воскликнул он с горящим лицом. — Весь мой теперь! Мой Петроград!..

Джон Рид.

Грядущее

Над миром светлым и свободным,
Горнилом вечного труда,
Горит огнем международным
Красноармейская звезда.

Ее лучи неугасимы
Алеют ровно сквозь туман,
И к ней, как древле пилигримы,
Идут рабочие всех стран.

С нубийцем черным породнился
Крестьянин волжских берегов,
И братски в гул единый слился
Напев различных языков.

Один над всеми стяг багряный,
И все во власти тех же чар:
Вражды и злобы истуканов
Испепелил святой пожар.

Горят сверкающие знаки:
Колосья, молот и серпы,
И словно огненные маки
Пестреют дети средь толпы.

Конца не видно караванам
Великих рыцарей труда,
К чьим многолетним тяжким ранам
Коснулась лаской осиянной
Красноармейская звезда.

И. Ионов.

Красный цветок

О, солнечно-бурный
Октябрьский набат,
О, нежно-пурпурный
Цветок баррикад!
В раскатах восстаний
Твой пламень могуч,
Народных страданий
Серебряный ключ.
Он солнечным светом
Звенит как живой:
«Советам, Советам
Вся власть над землей!»

* * *

Взращенный в невзгодах,
В приволье родном,
На гневных заводах,
В подполье глухом,
В кровавые ночи
На бранных полях,
В призывах рабочих,
В солдатских сердцах,
Он вспыхнул с рассветом
Зари огневой:
«Советам, Советам
Вся власть над землей!»

* * *

И светлым зигзагом
Сверкнули штыки,
Уверенным шагом
Проходят полки.
На север, восток,
И на запад и юг,

Чтобы красный цветок
Взять под огненный круг.
Несется приветом
Их клич боевой:
«Советам, Советам,
Вся власть над землей!»

А. Маширов (Самобытник).

На крестьянском съезде

Вечером 16 ноября с'езд собрался на чрезвычайное заседание. Атмосфера была праздничная. На каждом лице—улыбка... Остальная часть порядка дня проведена была быстро. Затем старик Натансон, белобородый старшина левого крыла социалистов-революционеров, дрожащими голосом, со слезами на глазах прочитал сообщение о соглашении крестьянских советов с советами рабочих и солдат. Каждый раз, когда произносилось слово «союз», оно приветствовалось неизменными аплодисментами...

Под конец Устинов сообщил, что прибыла делегация из Смольного в сопровождении представителей Красной армии, и с'езд их приветствовал долго несмолкавшей овацией. Один за другим рабочий, солдат и моряк выступили, приветствуя с'езд.

Затем слово получил Борис Рейнштейв — представитель американской социалистической рабочей партии.

— День заседания крестьянского с'езда и советов рабочих и солдатских депутатов — это один из величайших дней революции — сказал он. — Отзвуки его отдадутся громовым эхом по всему миру, в Париже, в Лондоне и по ту сторону океана, в Нью-Йорке. Этот союз наполнит счастьем сердца всех трудящихся. Великая идея победила. Запад и Америка ожидали от русского пролетариата исключительных дел... Пролетариат всего мира ждет русской революции, ждет того великого дела, которое она совершает.

Президент ЦИК Свердлов также приветствовал с'езд, и с криками «Да здравствует конец гражданской войны», «Да здравствует об'единенная демократия», крестьяне вышли из с'езда.

Было уже темно, и на ледяной корке снега отражался бледный лунный и звездный свет. Вдоль камней выстроились в полном походном порядке солдаты Павловского полка с оркестром музыки, который заиграл «Марсельезу». Среди громовых раскатов приветственных восклицаний солдат, крестьяне выстроились, развернули огромное красное знамя Исполнительного Комитета Всероссийского Крестьянского Совета, расшитое золотыми буквами:

«Да здравствует союз революционных трудящихся масс».

За ним были еще знамена районных советов, Путиловского завода, на котором золотыми буквами горели слова:

«Мы преклоняемся перед этим знаменем для того, чтобы создать братство всех народов».

Откуда-то появились факелы, заливая оранжевым светом ночную темень и тысячами искр отражаясь на льдинах, и дым от них разносился над толпой, когда она двинулась с пением по Фонтанке, проходя между толпами, стоявшими в полном изумления молчании на тротуарах.

— Да здравствует революционная армия!

— Да здравствует красная гвардия!

— Да здравствует крестьянство!

Так шла огромная процессия по городу, все разрастаясь и развертывая все новые и новые знамена, расшитые золотыми буквами. Два старых крестьянина, согбенных трудом, шли рука об руку, и на их лицах было написано прямо-таки детское блаженство.

— Ну, — сказал один, — хотел бы я посмотреть, как они отнимут у нас теперь землю.

Возле Смольного Красная гвардия выстроилась по обе стороны улицы. В диком настроении восторга другой старик крестьянин сказал своим товарищам:

— Я не устал, я всю дорогу, как по воздуху прошел...

На ступеньках Смольного собралось около сотни рабочих и солдатских депутатов со своими знаменами, темневшими на фоне лившегося из-за них через арку света. Подобно волнам, быстро двинулись они вниз по ступенькам, обнимали крестьян, целуя их, потом вошли в огромную дверь, поднялись шумными толпами по лестнице...

В огромном белом зале для заседаний ждал ЦИК вместе с Петроградским Советом и тысячью зрителей. В этом зале царила торжественность, которая всегда вызывается великими моментами истории.

Зиновьев сообщил о достигнутом соглашении с крестьянским с'ездом, что вызвало шум, превратившийся в целую бурю. Когда звуки музыки послышались в коридоре, и голова процессии появилась в дверях, президиум встал с своего места и потеснился для того, чтобы президиум крестьянского с'езда мог рассесться, при чем та и другая сторона обнялись. За ними на белой стене над густой рамой, из которой был вырван портрет царя, скрестились два знамени...

Затем началось торжественное заседание. После нескольких слов приветствия Свердлова, Мария Спиридонова, бледная с приглаженными волосами, по виду школьная учительница из Новой Англии, взяла слово:

— Перед рабочими России открываются теперь горизонты, неведомые до того истории. Все рабочие движения в прошлом кончались поражениями. Но нынешнее движение — международное движение, и потому оно непобедимо. Нет в мире силы, которая потушила бы пламя революции. Старый мир рушится, — новый мир зарождается...

Затем поднялся, полный огня, Троцкий:

— Я приветствую вас, товарищи крестьяне! Вы пришли сюда не как гости, а как хозяева этого дома, в котором бьется сердце революции. Воля миллионов рабочих теперь сосредоточена в этом зале. Отныне одного лишь хозяина знает земля русская — союз рабочих, солдат и крестьян...

С едким сарказмом заговорил он о союзных дипломатах, до этого момента с презрением относившихся к предложению заключить перемирие, с которым к ним обратилась Россия, и которое было принято центральными державами.

— В этот день родится новое человечество. В этом зале мы клянемся рабочим всех стран оставаться стойкими на нашей революционной позиции. Если мы погибнем, то это будет только при защите нашего знамени...

Вслед за ним выступил Крыленко, рассказавший о положении на фронте, где Духонин готовился к борьбе с Советом Народных Комиссаров.

— Пусть Духонин и те, кто с ним, поймут, что мы не будем милосердны к тем, кто стоит на дороге к миру...

Дыбенко приветствовал собрание от имени флота, а Крушинский, член Викжеля, сказал:

— С этого момента, когда союз настоящих социалистов стал фактом, вся армия железнодорожников передает себя безоговорочно в распоряжение революционной демократии.

Затем выступил Луначарский, почти прослезившийся во время своей речи, и Прошьян от имени левых социалистов-революционеров, а Сахарашвилли от имени об'единенной группы интернационалистов, составившейся из мартовской и горьковской групп, заявил:

— Мы покинули ЦИК в виду бескомпромиссной политики большевиков и для того, чтобы принудить их пойти на уступки в смысле об'единения всей революционной демократии. Теперь, когда данное об'единение стало совершившимся фактом, мы считаем священным долгом еще раз занять наши места в ЦИК. Мы заявляем, что все те, кто ушел из ЦИК, должны ныне вернуться.

Сташков, почтенный старик крестьянин, член президиума крестьянского с'езда, поклонился во все четыре угла комнаты:

— Поздравляю вас с крещением русской новой жизни и свободы!

Гронский от имени польских социал-демократов, Скрыпник от фабрично-заводских комитетов, Тифонов от имени русских солдат в Салониках и другие в бесконечном числе выступавшие ораторы говорили от полного сердца с счастливым красноречием сбывшихся надежд.

Была уже поздняя ночь, когда следующая резолюция была предложена и принята единогласно:

«ЦИК, об'единенный в чрезвычайном заседании с Петроградским Советом и крестьянским с'ездом, подтверждает декреты о земле и о мире, принятые вторым С'ездом Советов рабочих и солдатских депутатов, а также декрет о рабочем контроле над производством, принятый ЦИК.

«Об'единенное заседание выражает свою полную уверенность, что союз рабочих, солдат и крестьян, этот братский союз всех трудящихся и эксплоатируемых, укрепит власть, завоеванную ими, примет все революционные меры для ускорения перехода власти в руки рабочего класса в других странах и обеспечит, таким образом, действительный справедливый мир и победу социализма...»

Джон Рид.

В Москве

Эх, горит как свечка, город!
Расстегну-ка тесный ворот.
Где-то бахнули опять,
Света божья не видать.

Ай, Москва, удар к удару.
Поддавай, хозяйка, пару!
Пулеметы с чердаков,
Вот так сорок сороков!

Вот так Иверская мати, —
На ногах не устояти!
Так и хлещет пулемет,
Так и чешет, так и рвет.

Буря, вихорь, — вот так сила,
Всю Россию закрутила,
Тешит внуков и сынов
Матерь русских городов.

Храм ли божий тут, тюрьма ли, —
Разве пушки разбирали?
Эх, качнулся не спроста
Храм Спасителя Христа.

Жарко миру, всей вселенной.
В небо взвыл Василь Блаженный.
Дыры в каменных домах,
Дыры в звездных небесах.

Сдайся! С Волги до Урала
Русь великая восстала.
Светом Иверской свечи
Светят миру москвичи.

Петр Орешин.

Похороны жертв революции

(Из книги „10 дней, которые потрясли мир“)

...Это был день народа, шум шагов которого гремел как морской прибой...

Уже человеческий поток лился через Иверские ворота, и обширная Красная площадь была покрыта тысячами людей. Я заметил, что, когда шеренги проходили мимо Иверской часовни, перед которой всегда прохожие раньше крестились, никто в процессии как будто даже не замечал ее...

Мы протолкались через густую массу, сгрудившуюся возле Кремлевской стены, и взобрались на одну из земляных гор. Здесь было уже много публики. Среди нее мы увидели Муралова, солдата, который был избран комендантом Москвы, высокого простого вида бородатого человека с очень добродушным выражением лица.

Со всех улиц, по направлению к Красной площади, текли людские потоки, многотысячные потоки, и на всех них лежала печать бедности и труда. Прошел военный оркестр, игравший Интернационал, и неожиданно песня была подхвачена и распространилась по всему этому людскому морю, как волны, медленная и торжественная. С вершины Кремлевской стены полотнища знамен спускались до земли,— красные, с огромными золотыми и белыми буквами, они говорили о жертвах начала мировой социальной революции.

«Да здравствует братство рабочих всего мира!»

Пронизывающий ветер носился по площади, вздымая знамена. Вот уже из отдаленных кварталов города стали прибывать рабочие различных фабрик, неся гробы своих погибших товарищей. Видно было, как они проходили через ворота, видны были их знамена и темно-красный цвет, подобный крови, тех гробов, которые они несли. Это были грубые гробы, сделанные из неотесанных досок и выкрашенные в красный цвет. Их несли на плечах люди, шествовавшие со слезами на глазах, в сопровождении либо плачущих, либо молчавших, но с побледневшими, словно окаменевшими лицами, женщин. Некоторые из гробов были открыты и за ними несли крышки. Другие были покрыты золотой или серебрянной парчей, или к крышкам их прикреплена была шапка солдата. Было много венков из некрасивых искусственных цветов...

По неровному проходу в толпе, который открывался перед процессией, немедленно смыкаясь за ней, постепенно приближались эти процессии к нам. Вот плывет через ворота бесконечный поток знамен всех оттенков, — красных с серебрянными, золотыми буквами и с креповыми бантами, привязанными на верхушке древка. Среди них вкраплены анархистские флаги, черные с белыми буквами. Оркестр играет революционный похоронный марш, и опять раздается громкое пение массы народа, стоящей с открытыми головами, при чем участники процессий поют жуткими, полными слез голосами...

Процессии фабричных рабочих перемешиваются с отрядами солдат, тоже несущими свои гробы, и эскадронами кавалерии, идущими в парадном порядке, артиллерийскими батареями с пушками, перевитыми красным и черным. Знамена гласят:

«Да здравствует Третий Интернационал!»

«Мы требуем честного всеобщего демократического мира!»

Медленно процессии подходят со своими гробами к могиле и несущие гробы взбираются с ними наверх и спускаются в могилу.

Многие из них — женщины, коренастые, сильные пролетарки.

Весь день проходили похоронные процессии, идя со стороны Иверских ворот и уходя по Никольской. Целое море красных знамен со словами надежды и братства и великими пророчествами, развевающихся на темном фоне пятидесятитысячной толпы перед глазами всего мира их противников отныне и до века.

Один за другим пятьсот гробов уложены в могилы. Наступили сумерки, а все еще развевались, проходя, знамена, все еще оркестр играл похоронный марш и огромные толпы пели. На безлистных ветвях деревьев над могилой повешены были венки, подобные странным многокрасочным цветам. Двести человек начали забрасывать землей гробы. Земля с глухим шумом падала на гробы и этот шум не заглушало пением...

Загорелись фонари. Прошли последние знамена и последние плачущие женщины проследовали со странным выражением лица мимо могил. Медленно стекала с площади пролетарская волна...

Джон Рид.

О незабываемом

Не будет никогда забыт
Громовый пир огня и стали,
Когда мы осень распинали
На медных заревах борьбы.

Кровавой ненависти жало
Накаливалось на огне,
А явь мечту опережала,
А пули пели о весне.

Не личности, не единицы,
А сотни тысяч на костре;
И души — огненные птицы
Летели к солнцу в Октябре.

Ах, было радостно до боли
Взорвать сердцами будни лет,
Из черной, вековой неволи
Вдруг погрузиться в яркий свет.

Не будет никогда забыт
Громовый пир огня и стали,
Когда мы осень распинали
На медных заревах борьбы.

В. Александровский.

Порядок из хаоса

Немецкие солдаты торопятся к себе на родину из тех стран, куда их забросила преступная воля германских захватчиков. В пути на немецких солдат нападают новоиспеченные польские полки, разоружают их, а то и избивают. Англо-французы и американцы вцепились в горло Германии, и, глядя на часы, подсчитывают ее лихорадочный пульс. Это не мешает им требовать от ее правительства, чтобы остатки немецких

войск вступили в бой с Советской Россией и помешали бы ей освободить оккупированные немецким империализмом земли. Бельгийцы, страна которых еще вчера была распята германским милитаризмом, сегодня захватывают чисто-немецкие прирейнские области. Полунищие, истощенные своими правящими конокрадами, румыны, столица которых попеременно становится добычей немцев и англо-французов, сами захватывают Бессарабию, Трансильванию и Буковину. Заморские американские полки сидят на тычке нашего голодного и холодного севера, недоумевая, зачем их туда привезли. По улицам Берлина, еще недавно гордившегося своим железным порядком, переливаются кровавые волны гражданской войны. Французские войска высадились в Одессе, а тем временем обширнейшие области Франции заняты американскими, английскими, австралийскими, канадийскими войсками, которые обращаются с французами, как с жителями колоний. Воскресшая после почти полуторавекового небытия Польша с каким-то горячечным нетерпением ввязывается в бои с Украиной, провоцирует Советскую Россию.

Американский президент Вильсон, шитый белыми нитками, ханжа и лицемер, Тартюф на постном квакерском масле, странствует по окровавленной Европе, как высший представитель морали, как миссия американского доллара, карает, милует и устраивает судьбы народов. Его все зазывают, приглашают, умоляют: итальянский король, правительствующие и предательствующие грузинские меньшевики, униженный и искательствующий Шейдеман, облезлый тигр французского мещанства Клемансо, все несгораемые кассы лондонского Сити и даже повивальные бабки Швейцарии. Подвернув штаны, Вильсон шагает через лужи европейской крови и милостью нью-йоркской биржи, которая хорошо поставила последнюю ставку в европейской лоттерее, об'единяет юго-славян с сербами, приценивается к короне Габсбургов, между двумя понюшками табаку округляет Бельгию за счет ограбленной Германии и прикидывает в мозгу, нельзя ли двинуть орангутангов и павианов для спасения христианской культуры от варварства большевиков.

Европа похожа на сумасшедший дом, и кажется на первый взгляд, что обитатели ее сами не знают за полчаса, кого они будут резать и с кем брататься. Но один урок неотразимо выступает из смутных волн этого хаоса — преступная ответственность буржуазного мира. Все, что ныне происходит в Европе, было подготовлено прошлыми веками, строем хозяйства, государственными отношениями, системой милитаризма, моралью и философией господствующих классов, религией всех попов. Монархия, дворянство, духовенство, бюрократия, буржуазия, профессиональная интеллигенция, владыки богатств и властители государства — это они подготовляли и подготовили те непостижимые события, которые делают старую «культурную, христианскую» Европу столь похожей на сумасшедший дом.

Европейский «хаос» является хаосом только по форме: по существу в нем находит свое отражение высший закон истории, которая разрушает старое, чтобы на месте его создать новое, при помощи одних и тех же винтовок. Население Европы сражается сейчас во имя различных задач и программ, отвечающих разным историческим эпохам.

В основе своей они сводятся к трем: империализм, национализм, коммунизм.

Война эта началась, как свалка великих и капиталистических хищников во имя захвата и раздела мира; в этом и состоит империализм. Но для того, чтобы двинуть на борьбу многомиллионные массы, натравить их друг на друга, поддерживать в них дух ненависти и остервенения, нужны были «идеи» или «настроения», близкие обманутым и обреченным на истребление массам. Этим гипнотическим средством в распоряжении империалистических бандитов явилась идея национализма. Взаимная связь людей, говорящих на одном и том же языке, принадлежащих к одной и той же партии, — большая сила. Эта связь не чувствовалась, когда люди жили патриархальной жизнью в своих селах или провинциальных районах. Но чем больше развивалось буржуазное производство, чем более оно соединяло село с селом, провинции с городом, тем больше, вовлеченные в его водоворот люди научились ценить общий язык, — этого великого посредника в материальном и духовном общении. Капитализм стремился утвердиться прежде всего на национальной основе и породил могучие национальные движения в раздробленной Германии, в расчлененной Италии, в растерзанной Польше, в Австро-Венгрии, в среде Балканских славян, в Армении... Путем революции и войны европейская буржуазия кое-как, с прорехами и заплатами, разрешила часть национальной задачи. Создана была единая Италия, единая Германия,—без немецкой Австрии, зато с дюжинами королей. Народы России связывались воедино стальными тисками царизма. В Австрии и на Балканах продолжалась ожесточенная междоусобица наций, обреченных на тесное сожительство и неспособных установить мирные формы сотрудничества.

Тем временем капитализм быстро перерос национальные рамки. Национальное государство было для него только трамплином, необходимым для того, чтобы совершить прыжок. Капитал скоро стал космополитом, — в его распоряжении оказались мировые пути сообщения, он имел агентов и слуг, говорящих на всех языках, и стремился грабить народы земли, независимо от их языка, цвета кожи и религии их жрецов. В то время, как средняя и мелкая буржуазия, а также широкие круги рабочего класса продолжали еще оставаться в атмосфере национальной идеологии, капитализм развивался в империализм, в стремление к миродержавному государству. Мировая бойня с самого начала представляла угрожающую картину сочетания империализма с национализмом: могущественной клике финансового капитала и тяжелой промышленности удалось запречь в свою колесницу все чувства, страсти и настроения, воспитанные национальной связью, единством языка, общими историческими воспоминаниями и прежде всего общим сожительством в национальном государстве. Выходя на большую дорогу для грабежей, захватов и истреблений, империалисты каждого из борющихся лагерей сумели внушить народным массам мысль, будто дело идет о борьбе за национальную независимость и национальную культуру. Как банкиры и крупные фабриканты эксплоатируют мелких лавочников и рабочих, так империализм без остатка подчинил себе националистические и шовинистические чувства и цели, притворяясь, будто служит им

и охраняет их. Этим страшным психологическим зарядом великая бойня питалась и держалась в течение четырех лет.

Но выступил на сцену коммунизм. Он тоже в свое время возник на национальной почве вместе с пробуждением рабочего движения—на первый, еще неуверенный стук капиталистической машины. В учении коммунизма пролетариат противопоставил себя буржуазии. И если она скоро стала империалистической, мирограбительской, то передовой пролетариат стал интернационалистическим, мирооб'единительным. Империалистическая буржуазия представляет собою численно ничтожное меньшинство наций. Она держала, правила, господствовала до тех пор, пока ей удавалось при помощи идей и настроений национализма держать в кабале широкие мелкобуржуазные и рабочие классы. Интернационалистический рабочий класс был меньшинством на другом полюсе. Он по праву надеялся вырвать большинство народа из-под духовной кабалы империализма. Но до последней великой бойни народов, даже и лучшие и наиболее проницательные вожди пролетариата не подозревали, какую силу сохранили еще в сознании народных масс предрассудки буржуазной государственности и навыки национального консерватизма. Все это вскрылось в июле 1914 года, который был, без преувеличения, самым черным месяцем мировой истории, — не потому, что короли и биржевики разнуздали войну, а потому, что им удалось внутренне овладеть сотнями миллионов народных масс, обмануть, опутать, гипнотизировать их и психологически вовлечь в свое разбойничье предприятие.

Интернационализм, который в течение десятилетий был официальным знаменем могущественной организации рабочего класса, казалось, сразу исчез в огне и дыму международной бойни. Потом он обнаружился, как слабый мерцающий огонек отдельных, разрозненных групп в разных странах. Ученые и неученые жрецы и лакеи буржуазии пытались изображать эти группы, как умирающие остатки утопической секты. Но имя Циммервальда уже тревожным эхом прокатилось по всей буржуазной печати.

Революционные интернационалисты шли своим путем. Первым делом они отдали себе ясный отчет в причинах того, что произошло. Долгая эпоха «мирного» буржуазного развития с его повседневной борьбой профессиональных союзов, реформистским крохоборством и мелкими парламентскими потасовками — создала многомиллионную оппортунистическую на своих верхах организацию, наложившую могущественные оковы на революционную энергию пролетариата. Силою исторических событий официальная социал-демократия, создавшая этот взрыв социальной революции, превратилась в самую контр-революционную силу в Европе и во всем мире. Она так срослась с национальным государством, его парламентом, его министрами, его комиссиями, она так свыклась со своими друго-врагами, — парламентскими мошенниками буржуазии и мещанства, что в начавшейся кровавой катастрофе капиталистического строя не усмотрела ничего, кроме опасности национальному «единству». Вместо того, чтобы призвать пролетарские массы к наступлению на капитализм, она призвала их к обороне «национального» государства. Она, эта социал-демократия Плехановых, Церетелли, Шейдеманов, Каутских, Ренодэлей, Лонге,—мобилизовала на службу импе-

риализму все национальные предрассудки, все рабские инстинкты, всю накипь шовинизма, все темное и гнойное, что скопилось в душе трудовых угнетенных масс в течение веков рабства. Для партии революционного коммунизма было ясно, что этот гигантский исторический шантаж должен будет закончиться страшным крушением господствующих клик и их прислужников. Чтоб вызвать в массах воинственный под'ем, готовность к самопожертвованию, наконец, простую способность провести годы в грязных, зловонных ямах окопов, нужно было породить в их сознании огромные надежды, чудовищные иллюзии. Разочарование, ожесточение масс должно было неизбежно принять размеры, пропорциональные масштабу обмана. Революционные интернационалисты (тогда они еще не назывались коммунистами) предвидели это и на этом предвидении строили свою революционную тактику: они «держали курс» на социальную революцию.

Два сознательных меньшинства: империалистическое и интернационалистическое об'явили друг другу смертельную борьбу, и, прежде чем их тяжба перешла на улицу городов в виде открытой гражданской войны, она развернулась в сознании миллионов и миллионов трудящихся людей. Это уж были не парламентские конфликты, которые даже в самые лучшие моменты парламентаризма обнаруживали весьма ограниченную силу воспитательного действия. Здесь весь народ, до самых его темных и косных низов, был захвачен стальными когтями милитаризма и насильственно вовлечен в самый водоворот событий. Империализму противостоял коммунизм, который говорил: «Теперь ты на деле показываешь массам, что ты такое и на что способен, а потом настанет очередь для меня». Великая тяжба между империализмом и коммунизмом разрешается не параграфами реформы, не парламентскими голосованиями и не статочными отчетами профессиональных союзов. События пишутся железом, и каждый шаг борьбы запечатлевается кровью. Это одно уже предрешало, что исход борьбы между империализмом и коммунизмом не будет найден на пути формальной демократии. Решение основных вопросов общественного развития, путем всеобщего голосования, должно было бы означать в настоящих условиях, когда вопросы поставлены ребром, прекращение борьбы между смертельными классовыми врагами и апелляцию к третейскому судье, в лице тех промежуточных, главным образом, мелко буржуазных масс, которые еще не вовлечены в борьбу или участвовали в ней полусознательно. Но именно, эти массы, обманутые великой ложью национализма, обессиленные войной, растерявшиеся, только ищущие выхода, переживающие самые разнообразные противоречивые настроения — эти массы не могут казаться авторитетным третейским судьей ни империализму, ни тем более, коммунизму, ни даже самим себе. Переждать, отложить разрешение спора до тех пор, пока смятенные промежуточные массы придут в себя и сделают все выводы из уроков войны — как? каким путем? — искусственные паузы возможны в атлетической схватке на арене цирка или на трибуне парламента, — но не в гражданской войне. Чем большего напряжения достигли все отношения, все нужды, все бедствия в результате империалистической войны, тем меньше оставалось об'ективной возможности ввести борьбу и восстание рабочего класса в рамки фор-

мальной демократии, одновременного всеобщего поднятия рук. «В этой войне ты, империализм, показал, на что способен, а теперь пришла моя очередь: я возьму в руки власть и покажу еще колеблющимся, еще смятенным массам, на что я способен, куда я их веду, что я им хочу или способен дать». Таков был лозунг октябрьского восстания коммунизма, таков смысл той грозной войны, которую спартаковцы об'явили буржуазному миру на улицах Берлина.

Империалистическая бойня разрешилась гражданской войной. Чем больше капиталистическая война приучала рабочих орудовать винтовкой, тем решительнее они начинают применять винтовку во имя своих целей. Однако, еще не ликвидирована и старая бойня, еще вспыхивают там и сям новые кровавые столкновения по линии наций и государств и угрожают разлиться новым пожаром. К тому моменту, когда коммунизм уже празднует свои первые победы и имеет все права не бояться отдельных поражений, из-под вулканической почвы еще вырываются желтые языки националистического пламени.

Вчера еще задушенная, расчлененная, истерзанная и обескровленная Польша, сегодня в последнем запоздалом опьянении национализма, пытается ограбить Пруссию, Галицию, Литву и Белоруссию. А польский пролетариат уже строит свои Советы. Сербский национализм полон грабительского удовлетворения за свои унижения и раны на территории населенной болгарами. Италия взяла себе сербские провинции. Чехи, вырвавшись из-под немецко-габсбургской пяты, опьянев от той мнимой самостоятельности, которую им предоставили могущественные шуллеры капитализма, насилуют города немецкой Богемии и громят русских рабочих в Пруссии. Бьют в набат чешские комитеты.

Та винтовка, которая вчера служила национальному империализму, сегодня в той же мере служит делу социальной революции. Американская биржа, которая долго разжигала европейский костер, чтобы дать возможность своим промышленникам погреть у огня руки, теперь послала в Европу своего главного приказчика, своего верховного маклера, медоточивого выжигу Вильсона, чтобы поближе рассмотреть, не зашло ли дело слишком далеко. «Хе-хе-хе!—смеялись еще недавно в бритые подбородки, потирая руки, американские миллиардеры, — Европа стала сумасшедшим домом, Европа истощена, разорена, Европа превращается в кладбище старой культуры; мы будем посещать ее развалины, мы скупим лучшие ее памятники, мы будем щедро давать на имя августейшим отпрыскам всех европейских династий, — конкуренция Европы исчезнет, промышленная жизнь перейдет окончательно к нам, и барыши мира станут стекаться в наш американский карман».

Но сейчас злорадное хихиканье начинает застывать в глотке буржуазных янки. В европейском хаосе все повелительнее и могущественнее поднимает свою голову идея порядка, — нового коммунистического порядка. В сутолоке и сумятице кровавых столкновений империалистических, национальных, классовых наиболее отставшие в революционном отношении народы медленно, но неуклонно равняются по тем, которые уже оставили позади свои первые победы. Из тюрьмы народов, какой была царская Россия, на наших глазах, в наши дни, с освобождением Риги, Вильно, Харькова, вырастает свободная федерация советских

республик. Нет другого выхода и другого пути для народов Австро-Венгрии и Балканского полуострова. Советская Германия войдет членом в эту семью, которая месяцем позже или раньше включит в свой состав советскую Италию, советскую Францию. Превращение Европы в федерацию советских республик есть единственно мыслимое разрешение потребностей национального развития больших и малых народов без ущерба для централистических потребностей хозяйственного единства — сперва Европы, а затем и всего мира.

Буржуазные демократы мечтали в свое время о соединенных штатах Европы. Эти мечты нашли лицемерно-запоздалый отзвук в речах французских социал-патриотов в первую эпоху последней войны. Об'единить Европу буржуазия не смогла, ибо об'единяющим тенденциям хозяйственного развития она противопоставляла разделяющую волю национального империализма. Чтоб об'единить народы, нужно освободить хозяйство от оков частной собственности. Только диктатура пролетариата способна ввести потребности национального развития в их естественные и законные границы и соподчинить нации в единстве трудового сотрудничества, это и будет федерация советских республик Европы на основе свободного самоопределения населяющих ее народов. Другого решения нет, этот союз будет направлен против Англии, если она отстанет в своем революционном развитии от континента. Вместе с советской Англией европейская федерация будет направлять свои удары против империалистической диктатуры Северной Америки до тех пор, пока заокеанская республика останется республикой доллара, — пока торжествующее хрюканье нью-йоркской биржи не перейдет в ее предсмертный хрип.

Еще кровавый хаос стоит над Европой. Старое сочетается с новым. События нагромождаются на события, и кровь наслояется на кровь. Но из этого хаоса все решительнее и смелее выступает идея коммунистического порядка, от которой не спасут буржуазию ни ее версальские заговоры, ни ее наемные банды, ни добровольные лакеи соглашательства и социал-патриотизма, ни великий заокеанский покровитель всех душегубцев капитализма.

Уже не призрак коммунизма ходит по Европе, как 72 года тому назад, когда писался коммунистический манифест. В призрак превращаются идеи и надежды буржуазии. Коммунизм шествует по Европе во плоти и крови.

Л. Троцкий.

26 января 1919 года.

„Музыка“ Советов

Есть одна-единственная симфония, которую ни забыть, ни смешать, ни сравнить с другими нельзя. Кто пережил ее очарование, кого она потрясла хоть раз, тот навсегда останется в ее власти.

Бываю в Большом театре [1]), слушаю музыку, смотрю на сцену, смотрю в красно-золотой пышный зал, и где-то внутри ноет: не то, не то...

[1]) В Большом театре, в Москве, собираются с'езды советов.

Не буду вас томить — скажу прямо, о чем думаю и тоскую...

Бывали ли вы на всероссийских с'ездах советов, читатель? Если бывали, я не скажу вам ни одного нового слова — вы все пережили сами. Если не бывали, доверьтесь мне, дайте руку, и я поведу вас за собой...

С'езд советов — величайшая из симфоний, какие знал мир. Автор симфонии — 150.000.000 населения великой страны. Исполнители — тысячи отборнейших сынов этого народа. Солисты — редкие в мировой истории таланты.

Каждая симфония отлична от другой.

Кто слышал симфонию № 2 — 26 октября 1917 года в Смольном? К моему великому огорчению, я сам не мог присутствовать на этом незабываемом и неповторяемом зрелище. Декрет о мире, декрет о земле, об отмене внешних долгов — достаточно трех этих аккордов, чтобы потрясти человечество до глубины сердец и расколоть его на два лагеря — друзей и врагов Советской России.

Симфония № 3 — январь 1918 г., Таврический дворец. Сумрачные дни. Грозовые тучи над головами. Война или мир? Немедленная гибель или передышка? Бурные, страстные прения. Истерические вопли маловеров: «лучше погибнуть в неравном бою, чем пережить бесславный мир с вампиром». Спокойные, уверенные голоса: «не принимать боя, когда он выгоден врагу. Передышка. Накопление сил. Время за нас. Уступать пространство — выигрывать время». Величественный аккорд — «Декларация прав трудящегося и эксплоатируемого народа». На улицах тревожные гудки в памятную ночь — «враг у ворот»... В рядах исполнителей симфонии тревожно, нестройно. Режет ухо диссонанс внутри большевиков. А рядом разноголосица попутчиков и шептунов — правые, левые, умеренные и прочие.

Симфония № 4 — весна 1918 года, Колонный зал Дома Союзов. Весь с'езд ощущает напор на себя миллионной мужицкой массы. Земля жаждет мира. Земля давит. Но земля же прочно держит на себе титанов-строителей. Доселе зыбкая, текучая, бушующая стихия оформляется, отвердевает. Прикоснувшись к земле, борцы обретают невиданную в мире силу.

Еще взвизгивают и хрипят вопрошатели и шептуны: «До каких же пределов дойдет отступление?» Но уже твердо звучит ответ прищурившего глаз человека: «Один дурак может задать больше вопросов, чем десять умных ответить». Идет голосование. Впервые из всех с'ездов поименное. Охрипший Аванесов выкрикивает фамилии. Сквозь гул и сизый дым я смутно слышу: «Иванов Иван», и сразу 10 голосов откликаются в зале. «Иванов Петр»... Снова в разных углах всплеск откликов. Густо пошли Ивановы. Это Иванов 16-й, сотый, пятисотый из деревни Ивановки, Ивановской волости, вековечные молчальники, Ильи Муромцы, сидевшие сиднем тридцать лет и под своды Благородного Собрания пришедшие решать судьбы России. «За», «за», «за»... гулко отвечают голоса: «за мир»...

Перед этими законодателями, странно затихшим, еле слышным голосом Чичерин читает текст мирного договора. Тяжелые, обидные, гнетущие параграфы и примечания, как свинцовый дождь, ложатся на душу. Хоть бы скорее кончил... Налево от меня нервно барабанит по

столу рукой Мария Спиридонова, направо — невозмутимый Свердлов, как-то боком мимо стекол пенснэ поглядывает в зал. Монотонно читает Чичерин, а сзади, за спиною, за столом президиума какой-то досадный шум, возня.

— Уймите их, Яков Михайлович, слушать нельзя совсем, — умоляю я Свердлова. Тот полушопотом, даже не поворачивая головы, отвечает:

— Не оборачивайтесь. Сидите спокойно. За нашей спиной — пожар, загорелась одна колонна. Это пожарные тушат. Сидите спокойно. Если публика заметит — будет паника и катастрофа. Не оборачивайтесь, Левушка.

А Чичерин все читает, и сзади все скрипят, шумят, топчутся пожарные. Параграф такой-то: Россия обязуется до 1935 года... Россия обязана не позднее... в сумме... Кончит ли когда-нибудь Чичерин читать этот жуткий свиток наших обязательств...

И все-таки мир, все-таки передышка... Чорт с ними, с их параграфами. Народ за нас, и время за нас.

Трогательный, волнующий заключительный аккорд: то Украина, отрезанная от нас договором, прощается с Великороссией.

Я не говорю вам «прощайте», но «до свидания»! Гремит зал рукоплесканьями. Закусывают губы, чтобы не заплакать. Смахивают слезу... Да, да, до свидания, родные! Не падайте духом, братья! Мы вас выручим! Мужайтесь! Идите в подполье и ройте, подтачивайте гнилые корни капитализма...

Симфония № 5 — июль 1918 года. Большой театр. Симфония начинается сразу бурей. Самая резкая симфония из всех, мною слышанных. Взрыв бомбы в третьем ярусе лож. Случайно. Уронил латыш-стрелок. Вокруг театра пулеметы, походные кухни. Бомба в Денежном переулке убивает германского посла, графа Мирбаха. Немного спустя уже гремят пушки и снаряд падает в Кремле. Телеграмма по России захвативших на час телеграфную станцию эс-эров: «Не исполнять распоряжений Ленина и Свердлова». Пленение Дзержинского и других в Трехсвятительском переулке. Через день тихо. Захожу в Большой театр. Полутемный зал, в беспорядке кучами сдвинутые кресла, усеянный газетами пол, мрак на сцене. А в фойе, с неизменной трубкой в зубах, сидит Еремеев. В руке карандаш, перед ним список фракции левых эс-эров, он отделяет овец от козлищ и выпускает одних, оставляет других. Слева горка револьверов, отобранных у расшалившихся гимназистов-эс-эров. Смотрю на проходящих перед столом эс-эров. Погасшие, какие-то мутные, бесцветные, сморщенные. А ведь только вчера хотели повернуть рычаг истории куда-то в другую сторону, зажечь новую войну. Только вчера один из них визжал на сцене театра: «Троцкий, дай помощь Украине!»

Точно барабанщик, прозевавший свое время и ударивший оглушительной дробью как раз тогда, когда запели виолончели.

А когда симфония № 5 заканчивалась, пылала в огне мятежей Волга, занимался огнем Урал, уже сорвано было красное знамя с городов Сибири и на Севере предательски накладывали лапы на наш край культурные и свободолюбивые англичане и американцы.

Симфония № 6. Осень 1918 года. Большой театр. Грозные раскаты революции в Германии и Австрии. Яркие, опьяняющие надежды на скорое пришествие мировой революции на Западе. Телеграмма с'езду от Карла Либкнехта. Советы в Германии и Австрии. Безумно смелый взлет расчетов и упований. И рядом с этим умиротворение в деревне. Роспуск комитетов бедноты, перевыборы советов, ослабление нажима. Освобождение Украины, начало побед на Востоке, освобождение Волги.

Симфония № 7. Зима 1919 года. Большой театр. Холодно. Президиум ежится. Ленин кутается в пальто. Как не быть холоду! Нефть и уголь у белых. За столом президиума между Лениным и Троцким сидит седой благообразный старик-крестьянин, беспартийный, тот, что трех царей пережил и крепостное право помнит. Этот момент запечатлен на прекрасной картине Пастернака, еще не вполне законченной. На трибуне изображен Затонский. Поднятая со сжатым кулаком рука, револьвер на боку. Знамение эпохи — сжатый угрожающий кулак. Уже проломлен фронт Деникина, наши подходят к Харькову. Урал свободен. Сибирь почти свободна. Север наш. Еще немного усилий.

Но все же можно теперь заняться и домашними делами. Права местной власти, ограничение прав центра. Ослабление нажима из центра. Строительство получает новый толчек.

Симфония № 8, 9, 10... Затихают раскаты революционной грозы. Электрификация. Громадная карта на сцене Большого театра и на ней, как в сказке, вспыхивающие красные огоньки-искорки, из которых разгорятся мощные костры тепла, света, энергии, изобилия. Сельское хозяйство, его возрождение. Гидроторф. Снова сельское хозяйство. Уголь. Донбасс. Вместо большевика с поднятым кулаком и с револьвером на боку на трибуне новый исполнитель симфонии — беспартийный инженер-электрик, беспартийный агроном. И даже грозный Буденный говорит на мирные темы о «конификации» России...

В зале театра два новых пассивных исполнителя симфонии, без которых все было бы неполно и бледно.

В одной ложе — царской — господа послы, посланники, торговые представители, делегаты иностранных Красных Крестов. В другой — делегаты Коминтерна.

Приехав из одних и тех же стран, может быть, в тех же самых вагонах, иностранцы разделились. Одни там, в царской ложе, чопорно сидят, изредка прикладывая к глазам бинокли и наклоняясь к переводчику.

Другие — подвижны, возбуждены, бурно, страстно аплодируют, восклицают, И, кажется, больше волнуются, негодуют и радуются, чем мы сами.

Как изменились симфонии за эти пять лет. Грозы и бури, громы и молнии где-то позади. Впереди величавое, мощное течение горной реки, еще мутной и пенной, но вошедшей уже после разлива в берега.

Но... все это предисловие. Не об этом хотел я говорить. Конечно, симфонии эти мне милее и дороже всех бетховенских и скрябинских. Но в симфониях есть моменты, слаще, мелодичнее, величественнее, вдохновеннее которых я не знаю и не представляю себе никакой другой музыки.

Блестящий, пышный зал Большого театра. Провинциалы спозаранку занимают места, и терпеливо, хотя и с волнением, ждут начала. Районщики наполняют верхнюю половину театра. Гудят свердлосцы, рабфаковцы. Заполняется сцена центровиками. Пуст только стол президиума. Когда заседание опоздало на достаточно приличный (по советскому этикету) срок, за столом появляется наш будничный, совсем не торжественный, не умеющий, кажется, быть праздничным, Михаил Иванович Калинин, а одесную неразлучный Енукидзе. Звонок. Пробегает и замирает по залу легкая зыбь...

...«Десятый с'езд открытым!..»

Буря, грохот рукоплесканий, пение, трубы оркестра, и на лицах радость, радость. Что, канальи? Вы пророчили нам 2 дня, 2 недели, 2 месяца? Вы слышите?.. «десятый с'езд открытым».. *Да, да, десятый.* И пятнадцатый, и двадцатый будет. А вы все сгниете в Парижах и Берлинах, где-нибудь под чужим забором, забытые, ненужные, ничтожные. Браво! Браво!.. Хлопаю в ладоши... Да, да, десятый. Никто не верил. Умные, мудрые, прозорливые ученые, всемирно-известные, — все оказались не пророками, а дураками, а мы, простаки, вот на десятый с'езд собираемся. Смотрите, смотрите, вы, из царской ложи. Смотрите на нас. Вот этот простенький мужичек посередине стола, — такой серенький, как сера наша земля, наши птицы, наши звери, — вот этот простенький, серенький, — он по-вашему президент республики, да еще какой республики! А он недавно навоз вилами на полоске разбрасывал, за станком стоял, царских вшей кормил в этапах и пересылках бывшей империи. Да, да. А теперь он подписывает декреты, от которых зависит судьба миллионов, и договоры о мире с державами. А летом он все-таки опять поедет в деревню и опять займется вилами и навозом, а дети его бегают босиком со всеми деревенскими ребятишками. Да, да. Осенью же или зимой он откроет одиннадцатый с'езд, а мы все будем бешено аплодировать, ибо мы рады, мы счастливы. Ведь это больше, чем мы могли надеяться, вступая в бой.

Потом мы успокаиваемся. Ну, выборы президиума, регламент, порядок дня с'езда, — все это мы, почти не слушая, утверждаем единогласно. Мы чего-то ждем, чего-то *большего*. Все это не то. Вот кто-то наклоняется к уху М. И. Калинина. Ага... Но почему все члены президиума поворачивают головы в одну сторону, к кулисам? Кого ждут? За ними поворачивают головы сидящие на сцене, потом безотчетно и партер, и ложи, и галерка. Какая-то дрожь пробегает по людям.

— Слово предоставляется...

Дальше уж ничего не слышно.

Гремит, сотрясается зал от сплошных взрывов восторга, радости, умиления, энтузиазма. Эти лица, эти глаза... Я не знаю, на кого интереснее смотреть: на него или на них, наполнивших этот зал прямо-таки ощутимым материально густым чувством любви, уважения, преданности, восхищения, доверия, гордости и торжества. Он быстренько пробирается мимо стенографисток к трибуне. Он тоже серенький на вид, простенький, незаметный. Таких миллионы на улицах. Он серенький, как сера наша земля и он велик, как велика наша земля.

Второй такой России нет, и второго такого Ленина нет.

Тысячи глаз жгут его пламенем самых нежных, чистых, горячих чувств. Многие плачут, да, да... Я сам не всегда удерживался от какого-то необ'яснимого волнения, всматриваясь до слез на глазах в эту маленькую фигурку нашего милого Ильича, нашего вождя, учителя и друга. Какая радость, какое счастье жить в одно время с ним, видеть его, слышать, работать вместе с ним в одной партии, выполнять его указания.

И мы глядим на него, и рукоплещем, и шепчем: «милый наш, славный, родной наш Ильич, как мы тебя любим». А когда вдруг журналист и наблюдатель оторвет тебя от чудесного лица и заставит всмотреться и вслушаться в симфонию, исполняемую тысячами сердец, умов, глаз, голосов и рук, — тогда только можешь оценить красоту и мощь этой симфонии, несравненной, единственной.

Я слышал аплодисменты в том же зале при многих и различных обстоятельствах. Вслушиваюсь: нет, не то. Не то. Какая-то особая музыка, особый ритм, особое очарование.

А он, спокойно, деловито, без малейших признаков волнения, готовится к докладу. Раскладывает бумаги, заметки. Достает, отстегивает часы. Нетерпеливо посматривает на них. Приглаживает обеими руками остатки волос на голове. Снова поглядывает на часы. А симфония все гремит. Кажется, не кончится никогда. Никому не хочется прервать *интимнейшую* сцену встречи партии со своим бесконечно любимым вождем, учителем и другом. Ничего не понимает в психологии личности и коллектива тот, кто может принять эту встречу за официальную.

Подумайте, он, Ленин, *создал нас*, как партию ленинцев-большевиков. Мы, ленинцы-большевики, своей муравьиной работой, своей изумляющей мир дисциплиной, спайкой и смелостью создали Ленина — руководителя величайшей в мире силы — Союза Советских Республик и Коминтерна. *Мы друг друга создали.* Ленин и партия. Мы далеко и широко разбросаны круглый год. Нам трудно итти израненными ногами по скалистому пути.

Встретившись с ним хоть раз в год, мы взаимно укрепляем друг друга.

Вот почему только мы, большевики, можем быть участниками невиданной беспримерной симфонии — партия и ее вождь. Вот почему я эту симфонию категорически предпочитаю всему остальному. Вот почему в ушах без конца будет звучать эта чудесная мелодия — «Ильич и мы».

И грустно лишь одно: в минувший с'езд советов и с'езд партии мы не встретились с ним. Неполна и радость майского праздника. Всей силой коллективной воли мы хотим, мы должны вдохнуть в нашего Ильича недостающие ему запасы здоровья. Мы хотим и должны как можно скорее снова пережить неописуемую радость интимнейшей встречи с ним, радость этой единственной в мире симфонии, сотрясающей и зажигающей сердца творческим огнем.

Л. Сосновский.

1 мая 1923 г.

Падение Даира

(Отрывок из рассказа)

V.

На побережьи готовились к смотру красных войск.

С севера пришли армейские и дивизионные автомобили со штабами. С курганов открывался плац, в песках, под полуобгорелой ржавой крепостью, оставшейся от древних степных царств; там знамена и серые квадраты батальонов зыблились под ветром, как поле от опушки изб, кольцом теснился глазеющий народ. Был день перед боем, день, нахмуренный в безвестье.

На плаху среди поля вбежал без шапки косматый, чернобородый, яростный. Шинель, сбитая ветром, сползла с плеч. Волосатые голые руки выкинулись из гимнастерки, кричали в поле, в толпы, в бескрайный ветреный день:

— То-ва-ри-шши!

О последних черных силах, о солнечных рубежах, за которыми счастье, хлеб и вечера, как золотеющая рожь. Кричал о подвиге им, подошвами американских ботов истоптавшим Россию. Хмурые батальоны молчали; бесшумно знамена плескались под плахой в желтом свечении горизонтов. А в горизонтах лежали поля, рыжие, пустые, холодные; и бесконечная тусклая свинцовость вод, уходящих в муть: там была жуткая лютая грань, оплаканная матерями.

Гигантское полотно колыхалось за плахой. И как призраки—в серых ветрах дня Красный и Черный всадники сшиблись в вышине грудями огнеглазых, бешено вздыбленных коней. Кто кого раздавит в сумерках полей, в смертельной схватке... А за ними уходит ночь и брезжут рассветы красной золотеющей рожью.

ЭТО ЕСТЬ НАШ ПОСЛЕДНИЙ И РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ...

Оркестры играли. Просторы мощно и задумчиво разверзались, грустью наплывали замедленные певучие ветры; колыхались знамена застывших батальонов. Перетянутые ремнями на-крест ротные семенили перед фронтом. Около командарма, в центре круга, собрались начдивы, начальники штабов. Начальник Пензенской дивизии, мигая озябшими веками, нагибаясь, обидчиво говорил:

— Вы на моих-то картинок обратите внимания, товарищ командующий. Не солдаты, а босая команда! Где же справедливость, а?

С рядов летела придушенная команда:

— Ра-вня-а-айсь!

И вдруг, после паузы застывших движений—ревом барабанов и труб ударили два оркестра. Колоннами повзводно шли батальоны. Тысячи ног били по песку мерно и четко. И в степи—от медных и певучих стенало откликом — гортанно и грустно; пело о бурях и прекрасных веках.

Был на рубеже времен желтый день в полях; и в нем торжественный церемониал толп на пепелище пышного когда-то степного царства, командарм, и штабы, вытянувшиеся, пронизанные трепетом идущего, и ветры, и безвестье неизжитых неизволкованных дней...

И под пенье гортанных торжественных фанфар видел командарм— шли, наступая, ряды, кося глаза ему в грудь. И впереди всех двое—их встречал он где-то: они запомнились навсегда, как рыжий день, как мерзлые пустые поля. Крайний с фланга рослый парень с красным обветренным лицом, в черном заплатанном пиджаке, в опорках, укутавший шею в красный дырявый шарф; и рядом с ним в австрийской аккуратной шинели и кепи, усатый, пожилой, с крупными прозрачными глазами.

Пели трубы, тысячи ног били в песок, и желто просвечивали поля— безгранные; эти двое шли (за ними еще тысячи и тысячи безликих, обреченных); в пенье фанфар шли упоенные — на крыльях сказок о прекрасных веках — парень в дырявом шарфе — закинув голову и орлом глядя вперед — другой, опустив веки (крупные и впалые), утонув в далекие брезжущие сны...

Проходили ветераны Пензенской дивизии. Командарм знал эти израненные, окровавленные остатки.

— Спасибо, товарищи!

— Служ... ба... ре-во-лю-ции!

Железные птицы гудели в зените. Закат из-за далеких рубежей дрожал в облаках и на крыльях птиц червонной дрожью. Как ветры, бесконечные, безликие провлекались ряды, в безвестье, в забвенные волны. И вдруг прекрасным стал вечер; или чудесным переход фанфар: будто уж нет тех, кому надо завтра умереть, будто прошли века, прошумели все бури и стерлись все письмена, и в успокоительных прекрасных временах поют чудесные песни о них, полузабытых тенях...

Проходили части Железной дивизии, с причудливым разнообразием обмундированные: в гусарских венгерках, в офицерских шинелях стального цвета. В командарма впивались огрубевшие от боев и походов глаза — и в них было то же оторванное, чуждое уюту, бездомное, как у него самого. Шли тупомордые броневики, безглазые и безлюдые, слепо поводя щупальцами пулеметов. Рыча гигантскими гусеницами, ползли глыбастые суставчатые танки, те самые, о взятии которых насмешливо кричали советские радио в Париж; еще не смыта была внутри кровь перерезанных белых танкистов. И белые танкисты, оставшиеся в живых, вели танки церемониальным маршем; дойдя до командарма, они заставили вертеться волчком их чудовищные, потрясающие землю тела: танки отдавали честь командарму. И шла суета сует. Газетные корреспонденты бегали в соседние избы, лезли в погреба заряжать фотографические камеры, народ глазел и ахал. Сумерки падали, омрачая пески.

Вечерея, уходили ряды в даль, в темно-кровавую пыль, в навсегда. Суровей и настойчивей дул ветер на залив. В волны, в муть гортанно грустили трубы, уходя в бесконечное.

VI.

И еще день прошел.

Вечером — в Даире — восходило огненным:

СВОДКА ШТАБА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.

«Красные перешли к позиционной войне.

Наши части завершают перегруппировку, готовясь к очередному разгрому большевистских армий.

На всех фронтах спокойно».

И еще через минуту:

— ДОРЭ —

Несравненнейшая

АНЖЕЛИКА АСТИ.

«Балет! Открытая сцена до утра! Элегантные кабинеты!»

Но кто-то уже проведал о красных лавах на побережьи. На тайной неуловимой бирже платили безумное — бриллиантами и золотом, чтобы попасть в секретный план эвакуации, лежавший в несгораемом шкафу в кабинете главкома. Панический шопот шелестел в улицах. На рейде дредноуты дымили загадочно и угрюмо.

Ночью в степном городке горели факелы и строился корпус генерала Оборовича. Под звездами, сняв шапку, генерал сказал:

— Прощайте, братцы. Помните—идя в бой, мы должны себя считать уже убитыми за Россию.

Корпус шел в боевой резерв: его берегли для решающего момента. Первым скакал в цепь офицерский эскадрон. Просмеявшись беспечной лихостью, гинул он в пустыню, где замкнулась за ним ночь навсегда...

И еще позже — в селе Перво-Николаевка, что на северном берегу залива, было так:

Красноармеец Микешин, сидя перед пылающей печкой в волостном исполкоме, где разместился взвод, доел последнее сало, аккуратно подрезая его ножичком, обтер тряпичкой рот и, посасывая зубом, сказал товарищу, что лежал животом на полу:

— Кончил, Юзефка. Ну, и сала же попалась вкусная, лихо ее забери...

И лег рядом.

В избу вошел секретарь исполкома, кривой инвалид, которого зацели в боковушке солдатские вши. От бессонницы решил кое-что поделать для завтрашнего праздника — годовщины, полез по лавкам протирать портреты вождей, потом из канцелярского шкафа достал два красных свертка. Солдатам крикнул:

— Помогите што ль лозунга-то развесить, эй!

Никто не встал: все спали, а то нежились, жмурясь и затягиваясь из цыгарок. Кривой протянул один плакат над окном, но для другого

не хватило места, да и работать одному разонравилось. Микешин поднял голову и от безделья разбирал:

МЫ — МИРУ — ПУТЬ — УКАЖЕМ — НОВЫЙ...

Секретарь сел к печке, к теплу и прикурнул. В полночь велели собираться. Взводу назначено было итти в головной колонне, роздали ножницы для резки проволоки и гранаты. Микешин подтянул ремешок, поглядел на спящего секретаря, и взял, подмигнув, оставшийся красный сверток.

Ночь стояла без дна, без края; после тепла сонно и дрожко зябло. Ротный обходил, считал людей.

— Первое дело, братва, не шуметь, ни гу-гу... Мы его на печке живьем сцапаем! Слушать команду...

В бездонно-черном белые пожары далеко-далеко играли, трепетали, качались, вспыхивали огоньками: это вправо нервничали за террасой, щупая ночь прожекторами и ракетами. На заливе и впереди стоял глухой морок, шуршала и тревожно гудела только где-то земля. То шли к берегу тьмы тем с прибрежных деревень, волоча за собой артиллерию.

— Взвод... ар-рш...

Прошли мимо темных ометов за околицу, полезли под откосы. За откосами начиналось высушенное ветрами морское ложе. Микешин отошел в сторону, снял опорки и быстро, на ходу, перекрутил ноги плакатом: старые обмотки истлели, а братва говорила, что придется лезть через море. Впереди колыхались по земле багровые тени — это на берегу, сзади, жгли костры, чтобы не сбиться идущим.

И справа далеко-далеко шли и качались белые пожары. Они светили в пустые поля, где не шел никто... А в сухое море сползали из мрака тьмы тем; уже железом орудия загромыхали по откосам, под мягкое глухое ржанье, скатываясь в неезженный морок. Головные ушли далеко. Понемногу скрылись костры, только зарева их тлели обманно, призрачно. Микешин сказал Юзефу: «друг за дружку давай держаться, братишка...» и вот стало все глухо, черно и мертво, как на дне.

Через час взводный учуял что-то впереди и прошипел: ложись... Тогда пригнулись к земле и поползли дальше, сжав зубы...

Так начался знаменитый удар командира N.

Всю ночь молчали аппараты.

И с рассвета тусклые облака пошли от моря на страну. В пространства ползли полчища облаков — неслышно, могуче, бездонно. На рассвете тревожные звонили в кабинет к командарму: — дуют ветры южных румбов, восемь баллов... — из бессонного кабинета верные и четкие шаги отзвучали в сумерках коридоров к аппаратам. Свинцовый рассвет глядел в окна: рассвет ли, день ли, годы ли? И опять —

— С частями за заливом связи нет. Слышна канонада на побережьи...

Перед террасой с севера лежали полки: ждали. Вот-вот должно было: вспыхнуть зовами, заревами в далеком — за террасой, загудеть

из моря в недра смятенных, неверящих еще; и тогда, с севера — ощетиненным потоком взреветь на террасу — в крик, в крошево, в навстречу. Но в облаках, тяжких, лизавших угрюмые, лютые массивы, уже шел рассвет; за массивами нетревожимые — караулили тысячи хитрых, настороженных; и далекие молчали... На рассвете, не дождавшись, потоком раз'яренных, опасливо пригибающихся к земле, хлестнуло на террасу и — разбилось о камни: отхлынув, легко человечьими грудами во рвах, в мглистых плоскостях плацдарма...

С моря дул ветер.

И с моря бежало ручейками, серо-грязными озерами — бежало хлябями тусклых высот; затопляло дно залива взрыхленное ступенями тысяч. В слякотях, в озерах, глубиневших каждую минуту, хлюпали резервы, брошенные вдогонку ушедшим. Свинцовым поясом стояли воды у берегов, в водах тонули дороги. Не было дорог.

И опять —

— Немедлено, по приказанию командарма...

— Все меры исчерпаны. Связи нет...

На рассвете грозой пробило из-за моря. Это они, прижатые к берегу множества — прижатые к морю — в туманы били грозой. В море шли резервы, изнемогая, по колена в воде; с материка выгоняли деревни воду — мостить плотины — задержать море. Деревни хлюпали базарами в воде, путались ленивыми, вязнущими телегами, плотины росли — осклизлые, зыбкие, седые — и таяли тотчас: ветер и воды пожирали их.

Командарм стоял у аппаратов — серый, как тень, от железной бессонной ночи — может быть, единственной в жизни и — в истории. Аппараты молчали... и вдруг — из дальнего, из прорвавшихся ослепительных снов — крикнуло грозой:

— Есть. В 12 часов без выстрела форсирована терраса. Противник бежал, угрожаемый красными дивизиями с тыла. Соединившиеся части атакуют первую линию Эншуньских укреплений.

Армия была за террасой. Рубеж был перейден. Полки лежали на солончаковом плато перешейка — перед последней тройной линией заграждений, опутавших узкие дефиле озер. Сквозь шестидесятиверстную даль — через шипы железных проволок — через гарь боя — и командарм видел уже счастливую синь долин...

Армейские автомобили мчали к террасе. Конно-партизанским дивизиям, еще замешкавшимся у залива, было приказано: стянуться на перешеек через террасу. Но через террасу был переход в двенадцать верст; а с перешейка уж дышало гулом, дрожанием недр: там начиналось... И, хрипя от нетерпения и злобы, конные свалились под берег, ордой забурлили — в воды, в кипящую муть...

VII.

Был день — из жизни, из снов ли? — во мгле его остались седые плескания волн кому-то понятные передвижения в тумане прибрежий — вперед — назад, обреченность переступивших через черту, стоны, матерщина озверелых, немолчное татаканье, бледные в рассвете зарева

зажженных хуторов—в избе, на минутку, хлопнулся Микешин бедрами на пол, отвел потные волосы и пил, тяжело дыша, из котелка.

— Ну, и вода же здесь, Юзефка! Соленая-рассоленая, аж с нее пить хоцца! И железой отдает... Вот ты какая местность, а!..

И потом Юзеф лежал рядом, за бугром, в вечерении синих озер, и в этот беглый огневой треск отдавал свою долю, ложась ухом на приклад, едва открывая веки, усталые, запавшие — какая мечта, какая боль за ними?.. А впереди выло и ахало железом из-за озер, рвалось, ураганилось сзади, в безводных солончаках, заревами вздыбливалась пыль, и в пологах пыли, в ночах пыли и дыма тупо и лениво ползли суставчатые серые громады в синь озер.

— Садуны-то! — всхлипнул Микешин. — От зажварят теперь! Крепись, Юзефка!..

Танки шли прорвать первую линию дефиле. На хуторе, в пяти верстах сзади сидел командарм с начдивами и штабами дивизий: танки были его воля. За танками бросить в прорыв всю армию — в последнее, в Даирскую степь. И на минуту вдалеке смолкло татаканье сотен пулеметов, только ухало и дышало железным гулом в земле — это танки подошли к окопам и, не переставая, били мортиры из-за озер. И вдруг слева застрочило, запело, визгнуло медными нитями ввысь — и в степи, в озера бежали поднимающиеся из-за бугров, бежали пригнутыми, разреженными токами в крик и грохот, где танки плющили кости, дерево и железо; из-за бугров подходили еще, пригибались и тоже бежали, и за ними еще зыблилось нескончаемое поле масс — до окраев степей, до мутных вечереющих заливов: это был вечер, исторический вечер 7 ноября — первый прорыв левого сектора Эншуньских дефиле.

На карте одноверстного масштаба командарм зачерчивал математически рассчитанные параболы движений. Он думал: это уже завершение, конец.

Но это было не все. За озерами стоял свежий, нерастраченный корпус генерала Оборовича: его берегли к концу. И теперь час настал. Когда левый сектор белых, окровавленный и разбитый, сползался за вторую колючую сеть и пешие настигали его железом, сбыченными лбами, глыбами танков — он рванулся с правого, растекаясь в просторы тучами конных фаланг. Это с убийственным вращением лезвий, с тусклым холодом глаз — в бреши живых, теплых, раздавливаемых тел мчались те, которые уже были убиты.

Была мгновенно прорвана тонкая завеса пеших против правого сектора. Конные растекались уже сзади — во взбесившиеся обозы, в марширующие резервы, в лавы опрокинутых, зажимающих головы руками. Корпус обходил фланг армии. И еще дальше — заходя правым плечом, корпус выходил в тыл армии. Над армией был занесен отчаянный удар.

На дорогах, в тылу наступающей армии нависло тревожное. В далях метались спины масс, крики и гиканье плыли из-за холмов. У хутора, где стоял штаб, рвались с привязи фельд'егерские лошади, вставали на дыбы, били копытами по лакированным крыльям автомобилей. Командарм вышел и глядел в степи: там творилась смута.

Корпус выходил в тыл армии, загоняя ее в мешок между дефиле и заливом. Впереди корпуса офицерский эскадрон лихих, беспечных, смеясь, мчался в смерть. Жадно раздувались ноздри — и в близкой гибели, и в вечере, и в зверином шатании масс была острая жизнь, было пьяное, жгуче-одуряющее вино. Им, за которыми твердели века владычества, верилось в гениальность маневра, в легкость победы над диким, орущим и мечущимся безголовьем.

Командарм был спокоен, может быть, потому, что знал закон масс. От командарма скакали фельд'егери к конно-партизанским дивизиям с приказанием немедленно выступить на поддержку частям. Но не успели доскакать: дивизии уже шли сами, дивизии, мокрые от усталости и воды, проволочившие свои телеги и пулеметы через море — шли прорвать дорогу в кочевья, где молоко, мясо и мед. И еще — они хотели пить.

Черной пилой колеблясь в горизонтах — от залива до залива, тяжко неслась лава коней, бурок, телег, прядающих грив — в вечереющее. Это шел конец. Против прорыва, зияющего между заливом и скопищами армии, развертывались гигантским полукругом телеги, подставляя себя под бешеное паденье мчащихся фаланг.

На левый сектор только еще дошла тревога из тылов. Пешие не знали, куда итти; глыбастые громады, огрызаясь пулеметами, отползали назад, их били в упор подкатившиеся почти вплотную орудия. В водовороте стоял Микешин, большой, с кроваво-красными обмотками на упорно расставленных ногах, кричал в лезущее:

— Юзеф, Юзеф, где же ты? Давай друг за дружку держатца! Уходют, слышь, Юзеф!..

Из-за второй линии озверелые лезли догонять отходящих, били гулы, выпыхивали молнии из стальных зевов, расстреливавших почти в упор, на картечь... Во вселенском бреду, на земле, под ботами тысяч, лежал Юзеф — боком, поджавшись, земляной и убаюканный... или не он, может быть, а еще сотни других. Над ними кричал Микешин, охрипнув, раззевая в гуле будто безмолвный рот.

— Братишка, аль же в тебя попало, а? Дружок! Слышь, Юзеф! Эх, друг-то, ведь, какой бы-ыл...

И, обернувшись к озерам, махал винтовкой.

— Жлобы!.. Вы!.. Напоследок и его, а-а-а!..

Рядом, из сумерек упирался в бегущих ротный, гололобый матрос, тряся маузером, визжал:

— Бежать? Шкурники! Трусы! А!.. революция, бога вашу мать? Первого на месте... сам!.. Убью!.. Назад!..

В этот миг заездил вперед и назад полукруг телег: на них обрушились, хрипя лошадями, эскадроны. И брызнул огонь — с телег, страшных, двигающихся, разбегающихся, косящих невидимыми лезвиями пулеметов. В конных тучах скрещивались пулевые струи телег, секли, подрезали, подламывали на скаку, клали колоннами наземь; опустевшие лошади, визжа, крутя головами, уносились дико в муть. Распадались перебитые кости, чернели рты, исцелованные вчера любовницами, в кровяное месиво, истоптанные ногами, сваливались улицы, фонтаны светов, изящество культур, торжественные гимны владычеств... А те-

леги мчались по лежачим взад и вперед на ржавых скрипящих осях; мчался Петухов на пролетке, в одном френче, с цыгаркой в зубах, держа локти на отлет; сзади рябая, сжав зубы, строчила железом; грохотала и пела смерть гнусавыми визгами.

И с флангов из-за телег сорвались и ринулись конные, крича «дае-о-ошь!» невидимой в ночи массой под'ятых кулаков, пик, бурок, прядающих грив. Обратно в правый сектор уходил, истекая кровью, корпус. А в левый, в пролом, бежали опять матрос и Микешин и за ними груды потных, хрипящих, злобных от жажды — «дае-о-ошь!» — и вот: на второй линии полег матрос, повиснув через проволоку затылком почти о земь — а на правом — мчась в табуне визжащих, взбешенных коней, рухнул тот, в бурке, черноусый, рухнул вместе с конем, завязив разможженную голову ему под шею. И через них и за ними в сеть оскаленных проволок, ям, блиндажей неслись телеги, бежали пешие, скакали конные; далеко за озерами, прильнув к гриве лбом, уходили остатки последних, глядя назад тусклыми выпуклыми глазами.

Конец.

К ночи прошли укрепления, под откосом, в степной речушке пили пресную воду — Микешин лег на живот, пробил прикладом ледышок и пил, а потом камнем уснул тут же на берегу. И легли еще множества и спали. И в снах — сквозь зарева, жуть и кровь — успокоением сияли в мглах светы.

Ночью, в ста верстах восточнее, у Антарского мыса, двинулись еще множества и в полночь форсировали пролив. Шли по пояс в воде, на берегах толпами пылали костры, в пролетах вздыбленного моста пылали факелами керосиновые бочки, пронзая дугою зарев ночь. Противник ушел. В заревах армия форсировала пролив, и множества пили пресную воду на том берегу и, упав камнем, спали на теплой еще от вражеских ног земле.

И командарм в далекой избе, на попоне, завернувшись с головой в шинель, спал, не спал — видел зарева, висящие в безднах, и идущих из черных снов в века.

Малышкин.

Перекоп

Катятся звезды, к алмазу — алмаз,
В кипарисовых рощах ветер затих.
Винтовка, подсумок, противогаз
И хлеба фунт на троих.

Тонким кружевом голубым
Туман обвил виноградный сад.
Четвертый год мы ночей не спим,
Нас голод глодал и огонь, и дым,
Но приказу верен солдат.

Красным волкам
За капканом — капкан,

Захлебнулся штык — приклад пополам,
На шее свищет аркан.

За море, за горы, за звезды — спор,
Каждый шаг наш и не наш,
Волкодавы крылатые бросились с гор,
Живыми мостами мостят Сиваш!..

Но мертвые, прежде чем упасть,
Делают шаг вперед, —
Не гранате, не пуле сегодня власть,
И не нам отступать черед!..

За нами, ведь, дети без глаз, без ног,
Дети большой беды,
За нами города на обломках дорог,
Где ни хлеба, ни огня, ни воды.

За горами же солнце, и отдых, и рай...
Пусть это обман!.. Все равно —
Когда тысячи крикнут слово: отдай —
Урагана сильней оно.

И когда луна за облака
Покатилась, как рыбий глаз, —
По сломанным, рыжим от крови, штыкам
Солнце сошло на нас.

Дельфины играли вдали,
Чаек качал простор —
И длинные, серые корабли
Поворачивали на Босфор.

Мы легли под деревья, под камни, в траву, —
Мы ждали, что сон придет —
Первый раз не во сне и не наяву —
Первый раз — на четвертый год.

Нам снилось — если сто лет прожить,
Того не увидят глаза,
Но про это нельзя ни песен сложить,
Ни просто так рассказать...

Н. Тихонов.

Рабочий гимн

Перев. с итальянского

(Посвящается тов. Анжелике Балабановой)

Встаньте, братья, встаньте, сестры!
В строй бойцы с стальным закалом!
Уж горит на стяге алом
Солнца будущего свет.

В кабале и униженьи
Мы клялись бороться смело,
Средь борцов за наше дело
Для измены места нет.
Для того ль из злой неволи
Вырван Труд детьми Труда,
Чтобы цепи рабской доли
Вновь надеть нам? — Никогда!
Никогда!

Шахты, фабрики, заводы
Гнули нас, ломали спину.
Нас, как вьючную скотину,
В плуг впрягали господа.
Те, по чьей мы воле гибли,
Оставляли нас без хлеба
И сулили... милость неба
После страшного суда.
Для того ль из злой неволи
Вырван Труд детьми Труда,
Чтобы цепи рабской доли
Вновь надеть нам?—Никогда!
Никогда!

Гнет проклятый капитала
Обрекал нас всех на муки,
Принуждая наши руки
Поднимать чужую новь.
Пусть же плуг и молот вольный
Средь людей вражду погасят!
Пусть же нашу жизнь украсят —
Справедливость и любовь!
Для того ль из злой неволи
Вырван Труд детьми Труда,
Чтобы цепи рабской доли
Вновь надеть нам? — Никогда!
Никогда!

Наша сила — в единеньи.
В одиночку каждый — парий.
Сердце мира — пролетарий.
Мы — вселенной рычаги.
Все, что есть — созданье наше.
Мы разрушим, мы — построим.
Так вперед же бодрым строем!
Пусть погибнут все враги.
Для того ль из злой неволи
Вырван Труд детьми Труда,
Чтобы цепи рабской доли

Вновь надеть нам? — Никогда!
Никогда!

Нам враги — не иностранцы:
Богачам нужны границы,
Мы ж, свободные, как птицы,
Перестроим шар земной:
Смерть об'явим царству смерти!
Смерть господской камарилье!
Меч насилья — на насилье.
Лозунг наш: война с войной.
Для того ль из злой неволи
Вырван Труд детьми Труда,
Чтобы цепи рабской доли
Вновь надеть нам? — Никогда!
Никогда!

Проклят тот, кто пир справляет,
Если есть в минуты эти
Хоть один бедняк на свете,
Потерявший хлеб и кров.
Проклят смех, пока осталась
Хоть одна слезинка в мире.
Трижды проклят, кто о мире
Речь ведет в тисках врагов.
Для того ль из злой неволи
Вырван Труд детьми Труда,
Чтобы цепи рабской доли
Вновь надеть нам? — Никогда!
Никогда!

Сестры наши и подруги
По работе и по ранам,
Вы, отдавшие тиранам
Красоту и кровь свою,
Не ласкайте подлых трусов,
Подхалимов барской шайки!
Рать без крепкой братской спайки
Дрогнет в первом же бою.
Для того ль из злой неволи
Вырван Труд детьми Труда,
Чтобы цепи рабской доли
Вновь надеть нам? — Никогда!
Никогда!

Коль не ложь, не злая шутка—
Вера в равенство и братство,—
Если бунт — не святотатство,
Не безумие—борьба,

Укрепляйте, братья, сестры,
Власть Труда над Капиталом!
Уступить врагу хоть в малом—
Трусость жалкого раба!
Для того ль из злой неволи
Вырван Труд детьми Труда,
Чтобы цепи рабской доли
Вновь надеть нам? — Никогда!
Никогда!

Демьян Бедный.

9 ноября в Берлине

(Из романа „9 ноября")

Улицы переполнены людьми. Разрушены плотины, и по городу хлещет поток. Из предместий, из фабрик, которые ночью... — сколько бесконечно долгих ночей!—так ярко блестели,—пришли они сюда,—желтые лица, руки из'едены плохим маслом машин, глаза воспалены от колючего пламени электрических ламп. Пришли и бледные, увядшие, годами не видавшие дневного света. Пришли те, что питались свеклой и картошкой, в то время как кельнеры в ресторане Штифтера шептали гостям свои лакомые тайны. Пришли и те, что еще верили лжи и обману тогда, как посвященные давно уже знали истину. Пришли и те, что жертвовали свои тонкие, стершиеся обручальные кольца в то время, как во дворцах на столах стояли тяжелые золотые и серебрянные подсвечники. Пришли и те несчастные, у кого и рубашки не было на теле...

Оттуда!.. оттуда!..

Со впалыми глазами, забытые, оплеванные, заживо-погребенные, отвергнутые, замученные, распятые... да, они сошли со своих крестов и пришли.

Пришли и женщины, что не торгуясь отдали своих детей генералам.

Пришли и женщины, чьи мужья давно гнили в общих могилах, пришли и матери, те, что видели, как умирали младенцы у их иссохшей груди.

Пришли сумасшедшие, те, кого нужда и война лишили рассудка, пришли умирающие, до смерти истощенные скорбью и заботами жизни, еле несли их дрожащие ноги. И отчаявшиеся, те, что лишь часами могли мерить жизнь, пришли и они.

Пришли и Смелые, и Отважные, те, что и в самые страшные годы не теряли веры в победу их дела. Благословенны их имена!..

«Рождены матерями? Спеленуты в колыбелях?» спросил генерал.

«Конечно, да, что за вопрос? Рождены в постелях, и повсюду, под забором, на скамьях городских садов!.. Что за вопрос? Разве это что-нибудь меняет?!»

Земля раскололась и они вышли из нее. Бесформенные, несложившиеся, еще сами земля. Засыпанные выползли на свет. Взрыв освободил их. Казармы и тюрьмы пали и арестованные тысячи, и тысячи, бывшие

еще в пути, были свободны. И тот индус, которого один тайный советник три года держал под арестом, был свободен. Его мучитель заказал ему комнату в отеле, а сам поскорей удрал за границу.

Исчезли выдрессированные для охоты на человека верховые, и синие, те что готовы были всегда пустить в ход тяжелые сабли. Исчезли и те полицейские мозги, что составили целую библию узаконений, регулировавших каждый шаг обывателя от рождения до могилы. Долой их!..

Мостовые и тротуары переполнены. Повсюду ораторы, на автомобилях, телегах, тачках, скамьях. Немой, кого десятки лет, столетия держали немым,—заговорил теперь!..

Повсюду солдаты, в одиночку, кучками, толпой, в жалкой заплатанной одежде. Они прошли через кровавое море, они поднялись из него, они еще опьянены запахом человеческой крови, но уже новая надежда горит в их глазах.

Мрачно скользит по ним взгляд генерала, губы его вздрагивают: «Немецкая армия!»

Дрожь пробежала по его телу.

Военнопленные! И они свободны! Кучками проталкиваются они в общей давке. Французы, русские, итальянцы, англичане, шотландцы, ирландцы, канадцы, негры, австралийцы, индусы во всех мыслимых формах. Они курят, почесывают заросшие щеки, плюют, гогочут. Один ковыляет на деревянном обрубке, но и он смеется. Да, почему бы и нет? Война выиграна! Президент поцелует его в щеку и прикрепит к его груди жестяную монетку. Отечество будет ему выплачивать ренту в двадцать, тридцать, может быть, и сто франков в месяц. Шарманку он получит даром,—у него нет больше забот!..

И вот гордые и недоступные расхаживают они по кипучим улицам, с красными лампасами на штанах, с блестящими галунами и петлицами, победители! Запах лавра оставляют они за собой...

Генерал еще издали замечает их. Быстро переходит он на другую сторону и смотрит, как они проходят. Так, значит они! Жребий пал!

Даже в самых мрачных своих грезах... да, часто мучили его мрачные сны... Часто в усталые часы ему казалось, что не выдержать, пожалуй, несмотря на чудесную армию и прекрасную организацию!.. Но даже в своих самых мрачных грезах он никогда не допускал, что когда-нибудь мундиры неприятельских генеральных штабов появятся, покажутся под Липами!

В сияющем голубом небе, ярко сверкая, развевается над замком красное знамя.

Обещания—ложь! Свобода мнений—тюрьма! Свобода—картечь!—да, а теперь, красное знамя развевается над замком.

В здании рейхстага заседает парламент людей Ноября. В палате депутатов и палате господ, где еще вчера старцы торговались из-за пустяков, заседание... Там, где раньше лишь шептали, стоит шум, там, где лакеи оглядывали сапоги незнакомцев,—сидит на корточках охрана у своих пулеметов. Нет больше сюртуков и гетр, нет больше шептунов, развевающихся стариковских бород, блестящих лысин и сгорбленных спин!..

Берегись! Палящим пламенем горит новое солнце на небе. Оно взошло далеко в России, омоченное кровью и слезами. Оно перешло Вислу. Оно перейдет и за Рейн. Оно перейдет за канал, омоченное слезами и кровью. По ту сторону Атлантики встанет оно из моря, и стальные палаты небоскребов растают в палящем пламени... ведь и пирамиды египетских царей сейчас — только бессмысленные кучи камня!..

И из волн Тихого океана когда-нибудь оно подымется, там, где живут желтые народы.

Старцев, свирепых и высокомерных, направлявших мировую историю, сожжет оно, это новое солнце, прежде чем они успеют заметить, прежде чем успеют вымолвить слово... их уж не будет!..

История запишет их имена, как записала она имя Нерона, устраивавшего факелы из людей.

Но перед их именами побледнеет его имя!

Б. Келлерман.

Левый марш

Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово
товарищ маузер.
Довольно жить законом
данным Адамом и Евой.
Клячу истории загоним.
Левой!
Левой!
Левой!
Эй, синеблузые!
Рейте!
За океаны!
Или
у броненосцев на рейде
ступлены острые кили?!
Пусть
оскалясь короной
вздымает британский лев вой.
Коммуне не быть покоренной.
Левой!
Левой!
Левой!
Там
за горами го́ря
солнечный край непочатый.
За голод,
за мо́ра море
шаг миллионный печатай.

Пусть бандой окружат нанятой
стальной изливаются лавой—
России не быть под Антантой.
Левой!
Левой!
Левой!
Глаз ли померкнет орлий?
В старое ль станем пялиться?
Крепи
у мира на горле
пролетариата пальцы!
Грудью вперед бравой.
Флагами небо оклеевай.
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!

В. Маяковский.

Пролетарии

Мы победим, клокочет сила
В нас — пролетариях всех стран,
Веками скрыто, что бурлило,
Воспламенилось как вулкан.

Мы, огнемечущая Этна,
Сорвали пыльный шлак оков,
Душа рабочая бессмертна,
Воскресла из гробниц веков.

Зарей крылатою одеты,
Мы в небо дерзостно взлетим.
Громокипящею кометой
Прорежем млечные пути.

Космические миллионы,
Вонзимся в старый мир Стожар,
В созвездьях белых Ориона
Взвихрим восстания пожар.

Мы проведем на кратер лунный
Стальные стрелы красных рельс,
В лучисто-млечные лагуны
Вонзится наш победный рейс.

Мы—рук мозолистых паяньем
Меридианы облегли,

Солнц электрических сияньем
Полярность неба обожгли.

Взрастили под полярным кругом
Цветущих тропиков леса,
И стали благодатным югом
Растопленные полюса.

Воздвигнем на каналах Марса
Дворец Свободы Мировой,
Там будет башня Карла Маркса
Сиять, как гейзер огневой.

Мы победим ударом взрыва
Рабочей армии всех стран,
Мы — вирхь невиданного взвива,
Воспламенились как вулкан!

Михаил Герасимов.

Да здравствует братство народов

(Из романа „9 ноября“)

Но, чу?..
Уже?!

Барабаны у Ангальтского вокзала... Шаги его словно окрылились... Охваченный внезапным волнением, торопился он туда. Отчетливо... еще глухо, но ясно совершенно!..

Барабаны!.. несомненно!..

Как странно действует на человека их глухой звук! Он отбрасывает его, не преувеличивая, на несколько столетий назад, к тому времени, когда люди еще боролись со зверями, к неграм с Конго!

И сейчас люди, словно загипнотизированные, бежали через Ангальтскую площадь навстречу барабанному бою.

Но барабаны вдруг смолкли и раздался варварский звон медных труб.

Со всех улиц толпы людей стекались на площадь. Блестело оружие. В потоке голов обозначались равномерно колышащиеся ряды. Очевидно, к вокзалу подходил батальон.

Дрожа от возбуждения и не раздумывая больше, Аккерман занял позицию. Угрюмый старик складывал булыжник на мостовую, и на эти сложенные ряды булыжника встал Аккерман.

Поток людских голов приближался в рокоте медных труб. Толпой напирали любопытные... Тесно прижатые друг к другу, взбирались они на камни, подымались на-цыпочки... Даже складывавший камни старик поднял угрюмое лицо...

Толпа шагала впереди батальона в такт оркестру. Оборванные женщины и беспризорные дети, старики, рано созревшие девушки:

бледные, изголодавшиеся, с печатью крайней нищеты на лице... и все же радость горит на всех лицах!..

Взгляд Аккермана потемнел...

Готов ли ты? Застанет ли тебя готовым твой час?!

Народ! Народ мой! Моя любовь, моя тоска!

Каким застанет тебя великий час? Истомленный голодом, истекший кровью в боях, обессиленный каторжным трудом... найдутся ли у тебя силы?

Одурманенный ложью, изболевшийся глухой тоской... сможешь ли ты?.. Народы Земли смотрят на тебя! Тебя презирают и оплевывают, на твоей голове терновый венец. Дорога твоя лежит через море слез, через голод и безумие... Не дрогнешь ли ты?

Не споткнешься ли ты? Не поколеблешься ли? Не падешь ли до недостойных? Будешь ли избран среди Народов уготовить Царство Нового Человека?

Ярко блестят трубы, громко звенят они, надуваются готовые лопнуть красные щеки...

Вперед! дальше, спеши же! Моя любовь, моя тоска мчатся впереди тебя! Призыв гремит! Ложь, высокомерие, безумие,—сбрось, их, сбрось! Окунись в чистые ключи! Смотри на воды твоих ключей, как блестят в небесах мысли, твои Великие Умы! Они смотрят на тебя!

Вперед, спеши! Близок час! Пусть загорится опять твое сердце, вспыхивающее всегда, когда мрак становится всего темнее. Умножь Сокровище Народов!

Я вижу, как ты воскресаешь, вижу, как расцветаешь, вижу тебя, окруженным братскими нациями!..

Толпа уже катилась прямо на него.

Музыканты сразу опустили инструменты, зигзагом взвилась палочка капельмейстера и опять загремели барабаны.

Ряды ружей, ряды шлемов колебались, подвигались, гонимые непостижимой силой вперед, сжатые вместе непонятной волей.

То—батальон несчастного Хейнлейна!..

Юноши,—румяные, простодушные детские лица, еще не подозревающие, что завтра кругом будет смерть! Как часто переживал Аккерман эти минуты отправления на вокзал... Старые боевые солдаты с медалями на груди... Нет, у них не было никаких иллюзий! Тупо маршировали они так, как прежде маршировал он: тупые, потные, нагруженные, дрожа под взглядом начальства. Сотни раз могли они рисковать жизнью в окопах... все ж они были только животными,—здесь, как и у всех, ведущих войны народов,—солдат был только животным, не больше! Несколько женщин шли в рядах солдат,—невесты, матери, жены, бледные, пошатываясь, плача...

Так шли они...

И вот вдруг.

Вдруг раздался голос!

Откуда?!

Никто не знал...

Голос — ясный, металлический, проникновенный... Он гремел над маршировавшим батальоном, покрывал барабаны, шаги наивных и

опытных, гремел над общирной площадью,—эхом отражаясь от высоких домов... голос великана... да, боже ты мой, что это был за голос?!

И голос этот воскликнул звонко, гулко над жужжащим, бушующим Берлином:

— Да здравствует дружба народов!

Молчание...

Площадь звенела, эхо, барабаны...

— Долой войну! — Молчание, рев, барабаны... — Все люди— братья!..—На куче камня стоял человек, солдат, в широкой серой развевающейся шинели; он дико вскинул вверх руки, мертвенно бледный, с безумными, фанатически горевшими глазами. Руки дрожали, а голос звенел, звенел...

И вдруг этот звенящий восторженный голос оборвался!..

Солдат исчез.

Он лежал на мостовой, окруженный кучкой людей. Зеленая плюшевая шляпа катилась по панели.

Секунду спустя человека в широкой серой шинели волокли по мостовой.

Батальон шел дальше. Снова играл оркестр... Большинство ничего не видало... но слышало... да, слышало голос в воздухе!

Этот голос когтями впился в их сердце, изодрал их так, что они засочились кровью от тоски и муки...

Голос!.. что за голос?!..

Они слышали голос человека. Последние ряды видели еще толпу людей, шедших вниз по тротуару...

Зеленая плюшевая шляпа не катилась больше. Тщедушный молодой человек поднял ее, уверился быстрым взглядом, что человек в серой шинели находится в верных руках, торопливо почистил ее... Да, еще пенснэ?... Пэнснэ пропало... И тщедушный молодой человек, торопясь, искал пенснэ.

Тогда старик, тот, что складывал булыжник, угрюмый, поднял голову и сказал:

— Ну, подождите еще немного... мерзавцы!—и плюнул.

Молодой человек пришел вдруг в страшную ярость, его взгляд скользнул по мостовой и словно ножом впился в глаза Угрюмого.

Старик поднял булыжник кверху и усмехнулся... но как? И молодой человек попятился, побежал быстро-быстро, без пенснэ, к военному автомобилю, вокруг которого теснилась толпа...

В этот военный автомобиль втолкнули человека в серой шинели. Лицо его было в крови, но он не защищался. Все его движения, улыбка на бледных губах говорили ясно, что он и не думал оказывать сопротивление.

И вдруг, совсем непонятно, вдруг без всякой причины, один из двух усатых молодцов, втащивших его в автомобиль, ударил его бессмысленно, совершенно бессмысленно, быть может, только, чтобы отомстить за испытанное волнение,—ударил суковатой палкой человека в серой шинели.

— Стой, стой!—кричал, подбегая, тщедушный молодой человек в зеленой плюшевой шляпе, но было уже поздно.

Человек в серой шинели... каждое его движение, казалось говорило: вы видите, я не сопротивляюсь... вдруг со страшной силой ударил по красному усатому лицу, еще несколько раз взмахнул в воздухе рукой и выскочил из автомобиля.

У усатого пошла кровь из носа, и это отняло у него несколько секунд, но тут другой усатый быстро и решительно выхватил револьвер, и выстрелил. И сейчас же раздался детский крик,—он попал в маленькую девочку, а человек в серой шинели исчез в воротах отеля.

Сначала за ним бросилась зеленая плюшевая шляпа, потом стрелявший усач, потом усач с подбитым носом...

...Маленький пухлый господин разговаривал по телефону в приятнейшем расположении духа в фойэ отеля, положив одну толстую ножку на другую.

— Послушай, детка, так не позже восьми! И не забудь, пупсик...

Но тут он вдруг получил удар кулаком в грудь и молодой человек без долгих разговоров выхватил трубку из рук.

Военную полицию!

Перед отелем собирались толпы людей. Арест!.. Подстрелили в ногу маленькую девочку, спокойно гулявшую. Ну и дела! Нечего сказать! Рана была, правда, пустяшная, только царапина. Но подумайте только, вы идете по Ангальтской площади и рискуете быть убитым! Словно вы на фронте!

Тут подоспела новая сенсация. Люди бегут с тротуара на площадь. Они уставились в вышину...

— Невероятно!.. там!.. там..

— Да где же, скажите, где?!

— Да там же!.. там!.. разве не видите?!.

— Человек!

— Человек на крыше!!.

— Невероятно!!!

Действительно, между дымовыми трубами и вентиляторами показался человек, человек в широкой солдатской шинели. Солдат! Дома вокруг Ангальтского вокзала так же неприглядны и безобразны, как и в других частях города. Плоские шиферные крыши, а между ними крутые кирпичные кровли. По кирпичным крышам быстро скользит человек, осторожно балансируя на гребне от трубы к трубе. Местами он шагает, балансируя руками, как канатный плясун, по гребню крыши. Быстро взбирается с одной на другую, еще выше...

Снова балансирует, как канатный плясун... Высоко наверху, в ярких лучах солнца... лицо и руки белы, как мел... пылью покрыта шинель... На этот раз он пошатнулся... на площади вскрикнули, но вот он ухватился за трубу. Прислонившись к ней, он перевел дыхание, глянул своим белым, как мел, лицом в крови на площадь, пронзительно закричал что-то вниз, чего нельзя было разобрать, и быстро двинулся к следующей трубе. Видно было, он хромал.

Внизу на улице он спокойно дал себя арестовать, но как только его так бессмысленно хватили палкой, решил бежать...

Он уже наполовину перебрался через крыши и скользнул в люк.

Зрители вздохнули облегченно. «Он скрылся!».

Но через несколько секунд он снова показался в люке. Он скользнул до водосточного желоба и побежал по нему, буквально, как кошка. Возгласы замерли на губах; маленькие приказчицы прижимали руки к сердцу... И тотчас из люка вынырнула фуражка городового, встреченная смехом зрителей... Человек в серой шинели опять забрался на вышку брандмауера и побежал по крыше углового дома.

Тысячи любопытных собрались внизу. Пришли поезда, и путешественники стояли, щурясь и глазея, на площади. Вот Берлин! только приедешь, как уж есть на что поглазеть!

Кто не читал, что в Берлине часто дезертиры убегали с транспортов и часто даже прохожих убивали при этих происшествиях? Сломай себе шею, мошенник! да, это Берлин! Будет, по крайней мере, что порассказать! Еще на волосок, и он бы свалился!

Красные лица высовывались из вагонов трамваев, из окон окружающих домов. Кучера выворачивали шеи, кельнеры, парикмахеры, приказчицы выбегали из магазинов и дверей. Желтые, словно медь, блестели дома на солнце.

Городовые, солдаты... Остановилось движение. Только очень медленно могли двигаться трамваи сквозь людскую толпу...

Дети бегали, указывая на крыши, и кричали, как одержимые. Вон он бежит там!.. там!.. Вся часть города была на ногах. Из вокзального зала доносился оглушительный марш полкового оркестра; вот зазвенел и звонок пожарных!..

Автомобиль Хэди застрял в толпе и мог только шагом, беспрестанно трубя, прокладывать себе дорогу. Шофер отважился на фамильярность, движением головы указав на причину происходящего, и к своему ужасу она увидела высоко в облаке ржавой пыли человека, пыльного, бледного, как известь. Он бежал по крышам.

Хэди возвращалась домой с покупками: занавеси, материи, старинные вещи, — так трудно было теперь найти что-нибудь порядочное! Она обрыскала все магазины, все лавки... Автомобиль был доверху нагружен свертками; рядом с шофером блестело завернутое в бумагу серебряное зеркало — испанский барокко; немного попорченное, правда, но прямо волшебное, по ее мнению, — греза!

Сердце ее забилось. Видит бог, это тот самый переулок, где, когда-то летом, она устраивала прощальный ужин Отто!

— Да поезжайте же!

Какая-то газетчица, обливаясь потом, пробиралась в эту минуту мимо автомобиля с пачкой еще сырых газет подмышкой, крича пронзительно над самым ухом Хэди:

— Мы опять!.. сейчас, дамочка,.. перешли Марну!

— Опять перешли Марну!

Тысячи жадных рук потянулись к ней. Она еле успевала поворачиваться, вытирая рукавом пот.

— Сюда, дайте сюда!!.

— Мы опять!.. сейчас, дамочка... перешли Марну!

Ее крикливый голос заглушал звуки марша, доносившиеся с вокзала.

Автомобиль, наконец, двинулся... Хэди еле успела схватить газетный лист.

Она еще раз быстро взглянула наверх... Вдруг человек на крыше зашатался... разве стреляли?.. зашатался, взмахнул в воздухе руками, словно искал, за что ухватиться, и полетел вниз. На секунду тело его зацепилось за водосточный желоб, потом стремительно упало... Хэди закрыла глаза рукой.

Обливаясь потом, неслась к вокзалу газетчица и пронзительно кричала:

— Мы опять перешли Марну!.. опять перешли Марну!

Б. Келлерман.

В день первого мая

К нам, кто сердцем молод,
Ветошь веков — долой!..
Ныне восславим Молот
И Совнарком Мировой...

Боги былые истлели:
Нам ли скорбеть о том?..
Резких пропеллеров трели,
Радио мы воспоем;

Трактором разума взроем
Рабских душ целину,
Звезды в ряды построим,
В вожжи впряжем луну.

Новые дали измерим
Взором прожекторов — глаз.
Мы никому не поверим
В сказочный райский Шираз...

Здесь, на земле, будем биться,
В терниях, розах, крови.
Знаем, здесь загорится
Солнце Вселенской любви.

Что нам до мудрости тощей,
Пепельной пыли веков, —
Нашей бунтующей мощи
Нет и не будет оков!..

К нам, кто сердцем молод!..
Счастье возьмем борьбой!..
Ныне восславим Молот
И Совнарком Мировой...

В. Кириллов.

БИБЛИОТЕКА ИМУЗ. ТЕАТР. ИСКУССТВА

8,28
Р1 6812
(1987)